

580
ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ

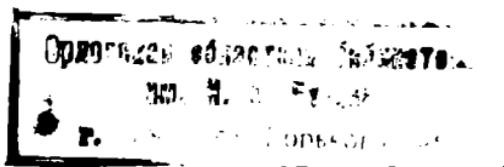
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

A 178945

КРАСНОЯРСКИЙ
2000



Орел
«Вешние воды»
1997

ББК 84(2р)
3—80

ISBN 5—87295—070—5

© «Вешние воды», 1997 г.

«Чистые пруды» — лирические, юмористические рассказы известного русского писателя Леонарда Золотарева. В чистой своей, влажной стихии любви его лирика как бы отталкивается сразу от двух других стихий — земной таинственности «Темных аллей» И. А. Бунина и высокой энергии «Вечерних огней» А. А. Фета. Поэзия нравственности и красоты — все это в лирике малой прозы, в углубленном, одухотворенном, свободном макро- и микрокосмичном пространстве рассказа Леонарда Золотарева.

* * *

Юмор — редкое качество. А здесь он — от иронии до настоящего, искреннего смеха. Над всем тем в нашей жизни, что, может, и не смешно, а порой даже и очень грустно. Смейтесь вместе с автором над самим собой, над тем, что всем нам мешает и жить и смеяться. А жить с полной грудью — это хорошо, это прекрасно, это что-то особенное!

Драматизм, даже трагедия жизни, ирония судьбы прежде не находили порой издательского понимания. Лучшее из этого, как и недавно написанное, также вошло в состав новой книги рассказов. Ранее в Москве и Туле появились «Берестяные песни», «Костровый пояс», «Перепелиное поле», «Шептун-трава», а также «Синие страны», «Зеленые стрелы».

Вот что об этом написано в академическом учебнике для филфаков университетов и педвузов (под редакцией профессора П. С. Выходцева): «Среди жанров прозы, в которых современность и современник исследуются прежде всего с точки зрения нравственных отношений, пожалуй, наиболее активную роль играет рассказ. К нему обращаются почти все писатели. В рассказе обнаружилось типологические для всей литературы черты углубления нравственно-философского аспекта исследования человеческих характеров. Особенно плодотворно работают в этом жанре С. Антонов, Ю. Нагибин, Е. Носов, В. Солоухин, Ю. Казаков, В. Белов, В. Личутин, В. Крупин, Г. Семенов, Г. Горышев, В. Лихоносов, Л. Золотарев и др.»

(«История русской литературы»).

Я выше их всегда.

Слеза и смех, —

Шарль Бодлер. «Красота».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВЕСЕЛАЯ СЛОБОДА



БАРТЕРНЫЕ ДЕВКИ



А корень всего — в букве «л». Эту букву Никита Петрович Картонов как «в» выговаривает. Да и мало ли всяких с дефектами речи, особенно с «р». Вон их сколько даже в Госдуме, на телевидении даже, Ильич и тот это самое «р» катал в горле, как шарик. А тут всего «в» вместо «л». Да и Картонов тебе не какой-нибудь деятель высшего ранга, а всего-навсего президент фирмы по торговле сантехникой: унитазаы, компакт-бачки, умывальники типа «тюльпан» и прочее.

Кричит Картонов в телефонную трубку:

— Да-да, привозите... бартерные-с девки, говорю... чего-чего... Ну сдвдки, сдвдки, говорю...

Это он про бартерные сделки так. Теперь бартер погоду делает. Это когда ты — мне, я — тебе, и все через товар, минуя деньги и палоговую инспекцию. Ладно, сидит, значит, Картонов после телефонного разговора и ждет результата. А сам деньги считает. С крупного на бытовщинку мелкую перенесся: пустячок, а приятно. Сколько же это он, не выезжая в тот же соседний Курск, сэкономил, пользуясь телефоном. Ну хотя бы, если бы на электричке ездил. Возьми и скажи про это своему заму — Альберту Митрофанычу (их у него двое — замов-то, братья родные, семейная мафия). Альберт ему и замечает:

— А ты, Петрович, и так должен ездить бесплатно. Как пенсионер.

Никита Петрович опешил, прямо-таки заперезживал. Телефонные счета повытаскивал, по калькулятору шлепает — копейка счет любит. А потом, думает, дай позвоню в справочное на железнодорожный вокзал, уточню. Позвонил, а те ему: тью-тью, льгота пенсионерам давно уже отменена... Выходит, ничего он и не сэкономил, оттого что не ездил, а звонил.

И вот уже позабылось про звоночек тот в Курск, как, нате вам, хоп — автобус загудел под окном, шум какой-то и смех. И дверь нараспашку: красотка, другая... четвертая, пятая... Одна в одну, рослые, писанные красави-

цы, белокурые бестии! В брюках и в ярких шифоновых блузках. Встали в шеренгу и вылупились на Картонова — босса.

— Что это? — шепотом спрашивает Картонов другого зама — Модеста, даже голос осекает.

— Бартерные девки,— тряхнул Модест рыжей своей башкой — бабник, младший из братьев. — Говорят, вы же заказывали... А там они у себя конкурс устроили, по всему городу. Одну в одну подобрали...

— Но у меня же не Дом моделей,— хватается Картонов за сердце.

Собирает Картонов свое заседание — всех этих заводов и завоёв: что будем делать? Альберт, старший из них, выдаст информацию: французы, говорит, к нам сюда приезжают по каким-то инженерным исследованиям в агропромышленном комплексе. И ездят, и ездят — одни мужики. Может, им этих девок подсунуть?

Модест смотался куда надо, в полдень докладывает Картонову:

— Глухо, как в танке. Не французы, а пуритане какие-то...

Картонов не стал входить в смысл его выражения, а выдает замам такое:

— Где хотите, там их и определяйте! Не то что получится: Курск — завод имени Серегина кожу откажется Липецку поставлять, а Липецк из-за этого Воронежу — холодильники, а Воронеж нам — ростовские «тюльпаны»... цепочка перервется... Это — на полном серьезе!

Думали-думали замы — ничего не придумали. Тогда Картонов им и говорит:

— Ну хоть сами, что ли, по одной разбирайте да еще завам отделами, помоложе кому, предложите.

— А сам-то что? — подхихикивая, толкает под бок его Модест Петрович.— Одна тебя прямо глазами ела.

— У меня жена, дети,— смущается Картонов.

— Натворили делов! — возмущается Альберт — старший из братьев.— А теперь — из-за твоей буквы «в» вместо «л» — не знаем, куда их сунуть.

— Да, вам бы такую жену,— тупо смотрит на запертый сейф Картонов.— Давайте, что ли, в Москву их порекомендуем — в Буден Морден.

— Да не в Буден Морден, а в Бруден Моден,— поправляет его Альберт.

— В Бурден Моден,— шлифует Модест окончатель-
но и предлагает как лицо явно заинтересованное: — А
давайте мы фирму дочернюю при себе создадим — из
этих вот якобы дочерей. Широта — от «тюльпанов» до
моды. Размах — они нам, как Япония после военного
поражения своими гейшами, дверь в любой рынок про-
ломают...

— Ну вот! — аж подскакивает Картонов. — А то
сидим и копейки на электричку считаем. А тут резервы
такие: Европа, Япония, мир нараспашку. Вишь, на ка-
кие масштабы выходим...

— Да, вот что такое башка! — поддакивает ему Мо-
дест — младший из братьев-разбойников. — Прямо ки-
бер тебе, а не голова! Европа плюс...

А сам думает, когда ж это день закончится, на ок-
на тень ляжет, чтобы приступить, наконец, к приятному
вечернему моциону. К аэробике. А то все Европа-плюс,
Европа-плюс, а как возьмемся за что — что из ихнего
плюса у нас получается?



ЛОШАДИНАЯ НОГА



Все пути ведут в Рим. А следователя Красноземского райотдела милиции Степана Берегового, как только дело к вечеру, — в село Тихая Сосна. К окну, выходящему в сад...

Ветка хрустнула под ногой у Степана, из окна хаты — такой дух жилой, так надышано, пахнет молоком и жареной рыбой. А за спиной — половинка луны. Коростель в поле качает ржавую доску. Степану приходит на ум, что в сенях у отца Веркиного, возле кадки, топор покоится...

Обычно Верка ложится головой к окну. Горячие Веркины губы и во тьме с ходу пахнут Степана, а пыльные Веркины руки тут же утягивают его к себе под одеяло.

На сей раз губы не втягивают, а руки не встречают. «Уснула», — решает Степан. И сам же, без Веркиной помощи, ныряет туда к ней, в теплышко. Угнездясь, ищет Веркины руки. И тут нащупывает что-то большое, даже огромное и — в шерсти.

Степан мертвеет от ужаса, мысли начисто из головы. Наконец, является одна: раскрыта явочка? Что же это ему тут подложили — овцу? Вроде рука... но какая-то лошадиная... Что это — Веркин отец залег тут вместо нее? Крупен мужик, рука, как у амбала. Да, но не до такой же степени... «Домовой, сатана?» — лезет в голову всякая чушь. Вспоминаются фронтовые рассказы деда — отцова отца, когда бомба летит со свистом, кажется, прямо в спину, рука сама подпрыгивает ко лбу, осеняя крестным знаменем. Но Степан еще числится членом профсоюза на заводе, откуда пришел в милицию, и не может позволить себе ничего такого...

Степан еще раз проводит по огромной ручище и замирает в дрожи: Вандомская колонна! Александрийский столп, что на Дворцовой площади, напротив Зимнего. И в шерсти, брр... И все же это живое, телесное... мамонт... снежный человек... Все в Степане трепещет, горит и перегорает, как в паровозной топке...

— Вера-а-а,— едва выдыхает Степан и не слышит своего голоса.

— Чего тебе? — отзывается кто-то Веркиным толом у него за спиной.

Словно обухом Степана по затылку тем топором, что в сенях подле кадки. Тело пошевелилось, и то, что только что было чьей-то невероятной, фантастической рукой, становится вдруг... ногой — обыкновенной, Веркиной...

А штука у Степана как вышла из строя, так и не входит в себя. А ведь при одном только виде обширного Веркиного торса, мощных Веркиных ног у всего райотдела подымалось хорошее настроение!

И вот как ни играет Верка свои заезженные пластинки, «ламбада» у них со Степаном теперь не получается. Никакого очарования. И ты уже не мужик, а мокрая курица...

— Да, вот что,— все же вносит Степан победную ноту, — кабы ты была негритянкой... я бы к тебе тогда тоже Вандомской колонной, или этим, как его, Александрийским столпом.

— Дурак! — отвечает ему полусонная Верка.— Темнота! Хоть бы у вас там, в органах, прожекторы, что ли, на них вешали...

С той поры к Верке Крутиковой ему как отрезало. Но вот об одном спросить ее, стерву, хочется: с чего это она в ту ночь легла к окну ногами, а не головой, как обычно? Вот что, канальство, заманчиво.



МУЖ КАК РАЗМЕННОЕ МОНЕТА



В квартире Рогачевых погас электрический свет. Ни одна лампочка не горит; ни холодильник, ни телевизор, ни пылесос — ничего не работает. Валентина Евлампиевна как раз собиралась стирать, гора грязного белья скопилась, а тут нате вам: и стиральная машина туда же. Нет тока во всей квартире! Валентина Евлампиевна — учительница, да еще классная дама, привыкла в школе своей к командной системе. И дома из роли не выходит: сама мужа зовет просто Валентин — он у нее инженер на заводе, а ее муж зови, как и в школе все, Валентина Евлампиевна...

— Свет включи мне — стирать! — строго сказала она Валентину.

— Как это включи, если сломалось, — возразил Валентин — ее муж. — Что я тебе бог Саваоф, что ли?.. Электричество все же, еще и током убьет.

— Ну из Дома быта вызови, из ЖКО!

— Так в ЖКО пьянь пьянью. Одного, говорят, на той неделе убило током... А службу быта — эту гордость района — двенадцать лет делали, а в один год развалили.

— Ты мужик! — отрезала Валентина Евлампиевна. — Вот и разберись, а свет в квартире чтоб был...

И Валентин «разобрался». Полетел этажом выше, к дружку своему Лепичеву Василию. Он тоже инженер, но на другом заводе. А получки и авансы вместе всегда отмечают. Когда у Валентина получка, у Василия — аванс. В общем, все у них не как зря — красный день календаря. Стопка торопка, а нос в табаке...

— А чего не сам? — удивился Василий.

— А-а, — махнул Валентин. — Изыскивать же надо... вскрывать внутренние резервы...

— Понятно, — смекнул Василий и бегом к Валентину вверх в квартиру, с пятого этажа на седьмой.

Раз-два, туда-сюда — вспыхнула «лампочка Ильича». Не зря Лепичева дома, как и на работе, зовут

то же самое Ильичом, Василием Ильичом. А жену — Василисой, просто Василисой, она у него в ОТК, контролершей.

— Вот молодец! Вот умница! — раскудаhtалась Валентина Евлампиевна и не знает, куда посадить пришедшего на выручку Василия Ильича.

А Василий Ильич стоит скромно этак, потупя очи, и не особенно реагирует на все ее женские ухищрения. Пока Валентина Евлампиевна не догадалась кинуться к кошельку. Хотела в задоре даже на пару бутылок отвалить, да Василий Ильич сам лично запротестовал: да вы что? да зачем это?!

Едва Ильич за дверь — Валентин за ним следом. На лестничной площадке состыковались и пошли себе вместе в торговую точку. А уж пили потом на нейтральной территории, дело не в этом. А в том, что на следующий день уже у Лепичевых телевизор не включился.

— Не включается, — развела руками Василиса — эта репа, недотепа такая, а еще в ОТК. — Включи, Василий Ильич.

Сунулся Василий Ильич к экрану, за экран.

— Не включается, — в тон жене сказал Василий Ильич. — Я же тебе не бог Саваоф...

— А включал ведь раньше, — упрекнула его супруга. — Из ателье, что ли, кого-нибудь пригласить?

— Да ты что! Обдерут! — выразил испуг Лепичев. — Рогачева позвать надо... этот мужик умняга, в таком деле артист...

Явился Валентин, подкрутил-подвертел — миг наладил, экран засветился. На радостях хотела ему Василиса дать на пару бутылок, да муженек удержал:

— Хватит с него и одной.

— Ух, какой ты экономист! — засмеялась добрая Василиса.

И когда в другой раз сломалась стиральная машина, она сама уже позвала Валентина и все же всучила денегат ему на пару бутылок — инженер все же. И когда Василий Ильич уехал в командировку, добрая Василиса позвала Валентина починить уже совершенно какой-то пустяк да за стол посадила. А потом и... ночевать оставила. Как он там дома после выкручивался — не ее дело...

Вот так и повелось. Чуть что — в этих квартирах ремонтировать всякое-якое кличут соседа. И расплачива-

ются натурой. Это все же дешевле в современных условиях, чем каждый раз вызывать мастера из телеателье, службы быта, из ЖКО. А эти мужья — ну ослы прямо, как сдурели, ни черта не умеют. Квалификацию потеряли. И за что только на работе их держат? Хотя, правда, все равно заводы стоят, зарплату выводят им минимальную.

А мужья, стыкуясь, отмечают такие дела где-нибудь на «нейтралке». Вот так и живут, посмеиваясь, как это они своих баб намахивают, действуют в пределах семейного бюджета, средства на сторону особо не разбазаривают. Ну и жены жизнь наладили по себе, расплачиваются, как умеют.

И так бы длилось оно и далее, да примечать стала Валентина Евлампиевна: что-то Валентин ее зачастил в командировки. То, бывало, в соседний Курск съездит, а ночевать домой возвращается. А то с ночевками стал командироваться даже тут рядом, в Нарышкино. И как-то после очередной командировки увидела она, как спускается ее дрожайший супруг сверху откуда-то, в своем подъезде, по лестнице. И рубаша плохо заправлена...

— Чего это ты? — ревность какая-то колыхнулась в Валентине Евлампиевне. — Ай этажи перепутал?

— Не этажи — жен, — ответил Валентин нагло и смягчил тон: — Да лифт, понимаешь, проскочил наш этаж.

Ага! А вверху, на седьмом этаже, живет этот Василий Ильич, который как раз обретался у нее в квартире: ремонтировал что-то там — не то холодильник в девятый раз, не то в двадцать восьмой — телевизор. Объявился Валентин в своей квартире и застал то, чего не надо было ему заставить. И понял то, чего не надо было понимать. И хотел было он сцену ревности супруге своей закатить. Но — узрел, как его дорогая Валентина Евлампиевна щедро расплачивается за ремонт телевизора. И ведь такса уже не бутылка. И решил Валентин преспокойненько удалиться на лестничную площадку и подождать там Василия Ильича. И пошли они, как всегда после этого, в магазин. Да и объяснились впервые друг с другом по-настоящему, по-мужски...

И остался Валентин ночевать у Василисы. А Василий Ильич, — куда деваться! — отправился в очередную свою «командировку» к Валентине Евлампиевне.

И когда наутро до Валентины Евлампиевны дошел, наконец, смысл их коварного замысла, прибежала она на седьмой этаж, звонит в квартиру Лепичевых. Открывает ей дверь Василиса.

— Ах ты, проститутка! — двинулась в сторону ее Валентина Евлампиевна. — Где мой муж, говорю!

— От кого слышу! — поставила Василиса руки в боки себе и закричала на весь этот бетонный подъезд сверху донизу, аж в ушах засвербело: — А мой где мужик, мой?!

— Ах, вот ты где?! — увидела Валентина Евлампиевна своего Валентина за широкой спиной Василисы и заорала на него как недорезанная: — А ну марш домой!.. Идиот, срок командировки истек, пора домой возвращаться!..

Валентин было кинулся к двери, повинувшись привычному окрику в командной системе, но, когда Василиса всхлипнула да стала что-то там слегка причитать — помолодому, по-девичьи, Валентина вдруг пружина какая-то изнутри разогнула.

— Не пойду! — сказал он решительно. — Не хочу!

Валентина Евлампиевна пожелала было оттеснить торсом от мужа своего Василису, но торс у Василисы оказался покруче. И тут снизу, с пятого этажа, явился, заметим, в рубашке одной — пузо голое, Василий Ильич и увел домой туда подругу свою — плачущую Валентину Евлампиевну...

И вот истек месяц-другой. И что интересно, так это то, что командировки у мужиков прекратились. И приборы в доме перестали ломаться. Наоборот, некоторые включились в работу с молодой, неопикуемой прежде, просто бешеной биоэнергией. А еще интереснее — то, что деньги в доме перестали тратиться почем зря. Сами все у себя теперь мужики ремонтируют. Открыли перед женщинами незаурядность таланта.

И ходят в гости они друг к другу теперь, дружат новыми семьями. Из бдительности и профилактики. Чтобы впредь приборы всякие не выходили из строя. А то ведь заводы неизвестно когда заработают, а зарплаты надоело уж получать минимальные.

Вот иногда что происходит в нашем мире невероятном, когда в квартире гаснет электрический свет.



В парикмахерских опять повысили цены. Не то что в салон «Элегант», но даже в обыкновенную городскую теперь просто так не сунешься. Заметили, длинные очереди в банях, поликлиниках, домах быта куда-то исчезли? Что же, люди вдруг оздоровели или приборы домашние перестали ломаться? При той, прежней системе мы как будто для того и рождались и жили, чтобы в конце концов прийти к парикмахерскую, отдать себя во власть стальных ножниц, которые обкорнают тебя, как барана, придадут видимость цивилизации. Освежат тебя дешевеньким одеколончиком типа «Полет» всего за какой-то полтинник: отправляйся, мол, в полет, дорогой, лети до сияющих высот. Так от полтинника к полтиннику и летишь, бывало, а жизнь сокращается...

А теперь мужики лохмачи лохмачами. И несет от них уже не «Полетом», а авгиевыми конюшнями, какие забыли когда и чистили. На днях президент Мексики издал указ: раз в месяц стрижься всем «кабальерам»... Но так это же в Мексике, а нас и царь-пушкой не загоишь под это самое зеркало — под ножницы. И за так не хотим, а не то что за наши кровные теперь уже тыщи...

Вот, значит, один доцент — зав. кафедрой одного местного университета по фамилии Пересыпкин обнаружил как-то, что волосы у него на уши нависли. Кабы замечание на ученом совете не сделали, ректор в последние полгода стригся уж дважды. Да и Восьмое марта на носу...

А тут как раз Вася этот — Василий Гуртовой, аспирант Пересыпкина, жох-парень. Экстрасенс, ясновидец. Мысли считывает, ситуацию с ходу сечет. Принес на кафедру ножницы, клацает ими — предлагает услуги. Студента одного постриг, потом еще аспиранта — бесплатно, из рекламных соображений. Попался Вася на глаза Пересыпкину. Хотел было прошмыгнуть, а Пересыпкин, как научный руководитель, на всякий случай, первым решил за что-нибудь прицепиться. Но тут Васень-

ка — Васька этот — Василий берет его под руку, отводит в сторону и шепчет на ухо доверительно, дьявольским шепотком:

— Восьмое марта завтра, «сабантуйчик» будет?

— Ну да.

— Домой спешите, пирог жене заказывать — «наполеон...»?

— Откуда ты знаешь?

Как в воду Вася глядит. Все сходится, сто к ста.

— А волосы у вас над ушами висят,

— Ну и что?

— А ученый совет, а ректор?

Все, подлец, понимает. Таковую бы пруть да в работе над диссертацией.

— Ну и что? — не сдается Пересыпкин. — Что дальше-то?

— А то, — лязгает Вася в кармане ножницами. — Стрижем-бреем первый сорт, «ондулясьон на дому».

— Ты, Вася, вот что, — делает ему внушение Пересыпкин. — Ты, это, на студентах учись. А вот когда научишься, тогда ко мне подходи.

— А чего мне учиться-то? — говорит Вася с апломбом, даже заносчиво. — Что ж я, по-вашему, делал до того, до аспирантуры? На флоте служил — весь крейсер был мой, команду стриг... Ну, не ректор главное — женщины! Соберемся завтра — по-другому глянет на вас какая-нибудь, по-женски, как на мужчину. Скажет, а чего это вы, Алексан Ксаных, не стрижены? Симпатичный такой, женщинам можете нравиться, а не стрижены. Не джентльмен!..

И тут Пересыпкин скололся.

— Ладно, — говорит, — понимаешь, стриги.

Уселся Пересыпкин в своем кабинете, в кресле своем заведующем. Усадил аспирант Вася своего научного руководителя поближе к свету, к окну. И вместо салфетки носовой платок свой ему на одно плечо, а на другое плечо — его платок, Пересыпкина. Клацает ножницами, сечет пустой воздух, все честь по чести.

— А я вашего брата клиента, — говорит, — о-го-го, перестриг сколько. Мы — профессионалы, мы к этому делу привычны... После флота я парикмахером работал даже в Москве! Правда, на одной из ее окраин... Вот вы — Пересыпкин, а то маршал войск связи был — Пересыпкин...

— Ты стриги, не отвлекайся,— подает голос из-под ножниц ему Пересыпкин, который не маршал — доцент. А самого заедает: «Неужто, стервец, и маршала стриг?» И внушает Васеньке уже мягче, доверчивее: — Ухо, гляди, не отсеки.

— Ваше дело — сидеть, наше дело — стричь,— важным таким, солидным тоном отвечает ему аспирант Вася.— Это нам раз плюнуть... Вот друг у меня, он таксистом был, по Москве гонял... Что вам, Алексан Ксаныч, «канадку» или «французский ежик»?.. Это нам раз плюнуть, я даже на районном конкурсе парикмахеров «Оскара» получил...

— Так «Оскар» где — в Америке,— замечает, уже совсем успокоясь, доцент Пересыпкин.— И дают его не парикмахерам за здорово живешь, а кинозвездам... из Голливуда...

— Им дают золотого,— уточняет аспирант Вася, делая свое дело,— а нам выдали простого, из папье-маше.

— Ты легче, легче,— морщится под ножницами доцент Пересыпкин.— Хоть и в Москве, а ведь на окраине, сам говоришь, работал. Или тут уже квалификацию потерял?..

— Да вы смиренно сидите, не ерзайте! — делает ему замечание Василий, начиная быстро-быстро работать ножницами.— Что ж мой друг по одним окраинам ездил? Мы — в Москве работали, мы — профессионалы, мы к этому делу привычны...

— А кусается, дергает — то возле виска, а то на затылке,— ежится Пересыпкин.

— Это цены кусаются, а мы, как всегда, на линии, у у нас, у таксистов...

И тут Васины ножницы ухватывают кусочек доцентского уха, Пересыпкин взлетает ввысь, платки с плеч падают ниц.

— В Москве работал! Профессионалы! Мать вашу так! Тебя и таксиста твоего... — говорит Пересыпкин рыдающим голосом.— А пол-уха, небось, снес, оттяпал! Отхватил, как и не бывало!

Пересыпкин поднимает платок, оттирает им свое ухо:

— Видал? Кровь!.. Твой друг-таксист, небось, в Москве по крови не ездил...

— Алексан Ксаныч, Алексан Ксаныч! — суется возле него аспирант Вася.— Да какая же это кровь для мужчины? На фронтах боевых действий в той же Чеч-

не, представляете? Какая же это кровь, пустяки... Мы сейчас се р-раз — и нету. Один секунд, сбегает в туалет...

Аспирант Вася возвращается с сырым вафельным полотенцем, оттирает ухо одним кощом, а показывает доценту другой.

— Во, ничего нет. Никаких следов, мифология одна, все в порядке... Как это в фильме «Подвиг разведчика», помните, Сан Саныч: «Спокойствие, мой друг, и ваша щетина превратится в золото»... Садитесь, сеанс продолжится...

Теперь Пересыпкин садится в кресло уже неуверенно, то и дело вздыхая, озираясь по сторонам.

— Ты, это, гляди,— косится он на ножницы в руках аспиранта.— На других деньги зарабатывать, а не на мне... Не экспериментировать, помни, братец, я все же твой научный руководитель...

— Да вы что... да Сан Саныч, отец родной... да мы в лучшем виде... да от всего сердца.. мы же профессионалы, мы на такси не только по окраинам, мы и по Красной площади, вдоль Кремлевской стены... где голубые ели, великие люди...

— Так то твой друг на такси по Москве разъезжал,— замечает Пересыпкин, укутанный теперь по уши в сырое вафельное полотенце.— А ты ведь стриг?

— Ну да, я стриг,— соглашается Вася.— Я стриг, но — купоны и с французским акцентом. «Оскара» продал — купил французский одекolon... и личный автомобиль «Жигули», ездил на нем, как хотел...

Все идет теперь как по маслу. Ножницы клещают, доцент Пересыпкин сидит в своем кресле, но обеспокоенно, дышит тяжело. Между тем аспирант Вася делает свое дело.

— Волосы у вас, Сан Саныч, ух, и трудны! — говорит весело он Пересыпкину.— Волосинка какая куда глядит. За каждой гоняешься... Ну и характерец! С детства, небось, все наперекор, стрижено-кошено...

— Да уж таким уродился,— подает голос из-под полотенца Алексан Ксаныч.— Меня в детстве Ежиком звали. А мягкими волосы были бы — съели...

— Кого?

— Да меня же. Такая жизнь. А то вот — доцент, зав. кафедрой, твой научный руководитель.

— Да я уважаю вас, Ксан Ксаныч,— юлит перед

ним аспирант Вася, клацая ножницами в воздухе, вхолостую.— Представляете, прямо не верится, что я вас лично стригу. Такую крупную научную единицу...

— Не подхалимничай, не надо, не опускайся,— останавливает его, успокоясь совсем, Пересыпкин.

— Приступаем к отделке, Ксан Ксаныч,— важно говорит аспирант. — Сейчас будем придавать вашей флоре форму шара — «французский ежик» называется. И моднюга ж прическа! Жена дома руки разведет, женщины завтра лягут...

— Это в каком же смысле, не намекай,— делает замечание доцент Пересыпкин своему аспиранту, и тут рука Васина возьми снова и дрогни.

— Осе-е-ел!!! — пулей слетает с кресла доцент Пересыпкин и стоит какое-то время как вкопанный. Затем, оттолкнув ножницы, бросается к зеркалу на противоположной стене.— Пол-уха, ей-богу, пол-уха снес!

Пересыпкин стоит, замерев, перед зеркалом, а Вася стоит за спиной у него, трепеща. Постепенно приходит в себя, оживает, начинает вертеться и так, и этак.

— Ну и что же оно, ухо-то? — говорит он уже новым, каким-то воркующим, прямо-таки голубиным голосом.— Да вот же оно, ваше ухо. Никуда не делось, на месте...

— А кровь?

— Что кровь? Мы вот так опять же ее полотенчиком, и все. Как и не бывало. А ухо на месте... Как у Клемансо.

— Почему это у Клемансо?

— А его всегда так рисовали. На портрете одно ухо сюда, а другого не видно...

Пересыпкин топчется посреди своего кабинета:

— Нет, я лучше пошел. Ну тебя к черту!

— Да куда же вы из своего кабинета? — говорит Вася разочарованно и добавляет для убедительности: — Нет, уж лучше меня вы в три шеи, лучше я отсюда уйду.

— Как это «уйду»? — застывает теперь Пересыпкин.— А кто голову достригать будет?.. Глянь, на кого я похож! Голову как испохабил,— чуть ли не плача, говорит аспиранту своему Пересыпкин.— Как же я на работу завтра пойду, соображаешь? А завтра ведь праздник — Восьмое марта. Что женщины скажут?

Аспирант Вася в растерянности смотрит на ножницы, потом берет и швыряет их в угол:

— Гадость какая! До чего дошли на производстве! Гляньте, какой зазор... Да разве можно работать такими профессионалу, мастеру своего дела! Они же дергают волосы, как репу. Ведь дергали, Ксан Ксаныч?

— Ну дергали, дергали!

— А чего ж вы молчали?

— Терпел-с.

— А зачем?

— Э, Вася, народ не такое терпит, на какие жертвы идет... И ты хорош! Мы — профессионалы, мы к этому делу привычны... Никакой научной серьезности в тебе, одна легковесность, импульсивность, воспламеняемость чувств. Мысли улетучились, одни эти ножницы у тебя и остались. Вот бери свои ножницы и давай топай отсюда назад в народное хозяйство. Иди учись на бараках, а не на доцентах, тем более на своих научных руководителях...

— Завод этот надо закрыть к чертовой бабушке! — гремит вместе со своими ножницами аспирант Вася. — Попаделали браку! Среднюю зарплату им так выводить — на кефир, но чтобы ножницы нам такие не делали... Господи, сколько же ими голов еще будет испорчено, светлых умов, гениев человечества?!

— Не подхалимничай! Все равно не прошу, — держит Пересыпкина на порезанном ухе сырое вафельное полотенце. — Вишь, какие рытвины, ямы — жуть... Зачем хоть тут отхватил — возле уха?

— А для памяти, Сан Саныч. В медальон. На груди носить буду. Как Тургенев прядь Пушкина — отрезал себе потихонечку, когда тот после дуэли лежал в своей квартире на Мойке. А потом эта прядь грела человека всю жизнь...

— А вот эти рытвины, эти впадины?

— Эти мы раздадим... по членам кафедры.

— Н-да, ты серьезно?

— Ну по музеям разошлем, по музейчикам. По краеведческим. Как во Франции: в каждой уважающей себя забегаловке — прядь Наполеона. Ежели все собрать воедино — не человек был, а мамонт, весь в шерсти, какой-то неандерталец...

— Больно много знаешь! Тут у нас твой Наполеон не пройдет, «но пасаран!»

— Нет, зачем же? Ну тогда это... как его... Ксан Ксаныч, ну тогда свалим все на Достоевского.

— Что ты, братец, что ты!

— Ну на Хрущева.

— А у него никогда волос не было. Он всегда был лысый.

— Ну, на Аллу Пугачеву, на Софи Ротару! У этих волос до черта.

— Нет, то женские волосы, тонкие.

— Ну тогда на Чарли Чаплина — во! Однозначно.

На такие слова Пересыпкин не знал что и ответить Василию Гуртовому — обессилел.

А назавтра к обеду собралась вся кафедра. Оживление, праздник же — Восьмое марта. Да что-то нет самого Пересыпкина? Но вот и он, ясное солнышко. Снял Алексан Ксаныч шляпу, ступил на свое место в головище стола — все так и ахнули:

— Сан Саныч! Да на кого ж вы похожи? Такие кудри были! И остричься «под ноль», «под Котовского»!

Поднял Пересыпкин свою гладкую, непривычно блестящую, бильярдную голову, провел синими, прежними своими очами по всем женщинам кафедры сразу, да и сказал свое золотое, вещее слово, со слезами смешанное:

— Это я вам такой подарочек приготовил! Думал-думал, чем бы это вас взять? Как сказать получше про микроклимат — про новую жизнь нашу, новые отношения?..

И тут из окна упал косо солнечный луч и аж заплясал на голове Пересыпкина. Аспирант Вася при этом зажмурился, даже утнулся. А все от души засмеялись.

Так и ходит теперь доцент Пересыпкин с головой, похожей на шарабан с задранными в виде бровей оглоблями. Вот оно как достается микроклимат-то руководителям нашим в наше горячее времечко.





Глава Глушковской районной администрации Локотко плотненько, как надо, сидит в кабинете бывшего предрика. За спиной его, на месте пятна от портрета, по салатного цвета стене растянута «триколер» — трехцветный российский флаг. А на столе все тот же набор цветных телефонов, все те же шкафы с брошюрками, в которые давненько что-то никто, кроме мух, не заглядывал. Под ногами все тот же ковер, по какому теперь, кроме того, ходят «новые русские», то есть предприниматели, жрецы обновленного времени.

Один из таких — Зелепукин — и стоит сейчас перед хозяином кабинета, препровожденный сюда самим начальником райотдела милиции. Начальник дожидается в приемной части Зелепукина, что ему с ним дальше-то делать — сажать или не сажать?

— Ты что же это, Иван Корнеич, — откидывается Локотко на спинку кресла, обращаясь к Зелепукину с увещательным тоном, свалился же, как снег на голову, — опять там творишь? Основы основ, говорят, подрываешь? Печать себе какую-то справил, куда попадая лепишь... Ну прямо-таки сепаратизм развел. Республику в Петушках у себя там провозгласил, президентом себя объявляешь. Вот и приходится тебя, такого ретивого, подвергнуть приводу. Ты хоть соображаешь, что за этим твоим суверенитетом стоит?..

— А чего там соображать-то, — переминаясь с ноги на ногу, стоит перед гневным начальством Зелепукин и отсутствующим взглядом смотрит в окно, за которым уж сюда, до третьего этажа, дотянулись своими макушками голубые ели. — Нас на «ковер» всегда вызывали, мы к этому делу привычны...

— Плохо тебя прежние власти учили, — вздыхает Локотко. — Мало били, шкуру драли с тебя... Неужто как бывший председатель сельсовета не знаешь, что такое печать? Это же инструмент государственной власти! Не лепил бы куда зря — до сих пор бы сидел... главой администрации, мы против тебя ничего не имели... А ты

тогда что сотворил, женщину опозорил — семью разбил, пришлось уезжать человеку за пределы района...

— Печать? Какую печать? — переводит взгляд сюда, в кабинет, Зелепукин и вздыхает шумно, как мерин, который стоит теперь некормленный там, перед милицией, вот уже вторые сутки. — Ту или эту?

— Что — «ту» или «эту»?

— Ну печать.

— Ну «ту» — сельсоветскую.

— Ах ту! — переступает с ноги на ногу Зелепукин. И тут глазенки его загораются, он делает шаг вперед и, перегнувшись через стол, переходит на шепот, первоначально подхихкивая: — А хошь, Ксаныч, я тебе все про нее как на духу... хи-хи... Дело прошлое... хи-хи... За что вы тогда меня с председателей вычистили...

— Ну давай, — выражает Локотко полную заинтересованность.

— Это же, как айсберг, Ксаныч. Вы знаете про то дело какую-то третью часть. А те, что меня вычищали, и сами в том споре участвовали...

— Ну кто-кто!

— А-а, — отмахивается Зелепукин. — Ну председатели, корпус председателей, теневой кабинет. По субботам в посадках собираются и обсуждают районные были, районом фактически руководят... Ну об чем говорят мужики, когда соберутся?

— Да, об чем?

— Попервах о делах, а потом, конечно, про баб... Вот я и ляпни по пьянке, — криво усмехается Зелепукин, — как с одной бабенкой, то есть с женщиной, тайно встречаюсь. Да, на полном интиме! С Зинкой Санниковой, библиотечаршей... «Да у нее, — говорят, — муж в районе начальником». — «Ну и что?» — говорю. «А чем подтвердишь?» — «А увидите...» И заспорили, и по рукам. В другой раз муж ее сам уже был с нами на кустовом совещании. И за грудки меня: «Ублюдок! Жену мою оскорблять?!» Ну и слово по слову, членом по столу. При всех, значит, я побожился. «А чем, — говорит, — удовлетворишь?» — «Потом узнаешь, скажу...»

— Ну и что — удостоверил? — не удерживается Локотко.

— Ага, на свою шею, дурак, — вздыхает Зелепукин. — Ну сделал я с Зинкой свое прямое мужское де-

ло и говорю: «Давай мы это самое дело оформим, как в ЗАГС». Задрал, значит, платье ей и близь этого дела печать — шлеп! — и хотел еще расписаться, чтоб скрепить наш творческий союз, да Зинка не разрешила. Хватит тебе, говорит, так шутить...

— И что потом?

— А потом — это уж все знают, — стоит, как святой, перед Локотко Зелепукин. — Мужик явился домой подвыпивши и к ней: «А ну-ка, — говорит, — подыми платье». — «Ты что, одурел?» — это она ему. А он ей твердо этак: «Нет, ты подыми...» В общем, сам поднял — а там печать. Прочитал: «Петушковский сельский исполнительный комитет»... Эти же мужики меня потом на бюро и сымали...

— Врешь! Быть такого не может! — откидывается Локотко снова назад спиной к креслу. — Для чего, интересно, ты все это мне рассказываешь? Личность свою отмыть? Эту печать свою хочешь юмором, печатью той, сельсоветской, прикрыть?

— Какой юмор? Чем прикрыть? — боком-боком к столу становится Зелепукин. — Сами знаете, без печати сейчас никуда, верно? Ты вроде и не человек. А с печатью ты кто?

— Начальник.

— Ну да. Только голову надо иметь...

— Ух, какой ты умный! — гневаясь, приподнимается Локотко и вверх-вниз телефонную трубку, туда-сюда. — Придурка все корчишь, вроде недопонимаешь!.. Страну разваливаешь, государство дронишь. С вас таких все и начинается. Если уж в каждом селе начнут объявлять республики, сажать своих президентов, что же тогда с какой-нибудь автономии спрашивать, с той же Чечни?.. Где хоть печать-то ты эту добыл?

— Какую? Эту... или сельсоветскую?

— Да ту ж у тебя отобрали.

— Новую отобрали, а старая осталась. Что ж я дурак, что ли... оставил на всякий случай.. как офицер при дембиле у себя пистолет... Значит, ту ай новую, эту — мою собственную, личную? Как вы говорите, «сепаратистскую»? Да вы сами мне ее и выписывали.

— Да что же ты это так... лепишь все напрямую, без зазрения совести! — вскакивает тут Локотко и начинает метаться по кабинету. — Меня теперь еще влетаешь в эту свою авантюру. Еще скажешь, что я твой

сепаратизм поощрял, Петушковскую республику создавал, тебя лично президентом назначил.

— А то кто же, — кашляет в кулак себе Зелепукин. — Да все это враги клеветают, противники нового. Мы в расчет их не берем, и вы не берите, чего их брать-то, они всегда против всего...

— Кто это «мы»? — сдвигает брови начальство.

— Мы — народ, Петушки наши, — показывает Зелепукин свои белые зубы. — За кого сейчас радио и телевизор только и долдонят ...финансисты, предприниматели, труженики села...

— Труженики села! — злится еще откровеннее Локотко. — Ты эту старую дурь-то, прежнюю терминологию, из головы выкинь...

— Вы же меня убрали из сельсовета, — продолжает Зелепукин как ни в чем не бывало. — А тут эти события... «Ну, Зелепукин! — говорю я себе. — Твое время пришло, мозгами надо шурупить». Взял и создал, как вы знаете, ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью, это как раз по мне... Вы же мне и бумагу подписывали. А печать потом сделать — раз плюнуть, в три дня... Только я ее маленько по-своему сконструировал, как покороче... Ну что это? Товарищество... с ответственностью, но ограниченной... А я привык пули грудью ловить, так?

— Пули лови! Но меня не втягивай, — все еще отгораживается от него Локотко. — Ну и что хоть ты сотворил, какую печать? Покажи...

— Начальник отобрал.

— Какой?

— Милиции.

— А зачем?

— А черт его знает. Она, говорит, тебе больше не понадобится. Скоро, говорит, указ президента выйдет, и мы вас, таких президентов — городских и деревенских, — всех за решетку упрячем. Осточертели все вы, сепаратисты! Это от вас, говорит, прет всякая уголовщина. Вы беспорядок наводите...

— Так и сказал?

— А еще, говорит...

— Слушай сюда, — вперяет взгляд в Зелепукина Локотко, — не опережай события, не опережай... Слушай, а что там у тебя на печати начертано?

— Я кратко, Ксаньч, короче нельзя: «ТОО. «Зелепукин». Президент».

— Ну вот! Объявляешь себя президентом.

— Так главой товарищества, с этой, неограниченной...

— ...безответственностью?

— ...ответственностью, под своей фамилией «Зелепукин». Так все теперь делают. Гляньте вон, даже своими женскими именами магазины по городам называют. Всем можно, а нам, деревенским, значит, нельзя под своей фамилией, да?

— Не дури, Зелепукин. Больно пряткий. Район мне тут на куски раскалываешь, всю страну, — останавливает сельского жителя Локотко. — У меня тут от вас, от таких художников, голова идет кругом... Сигналы на тебя отовсюду. Имя Хрущева зачем-то используешь...

— Какое имя? Кого использую?.. Ах, Никита Сергеевича? Что, и это нельзя?.. Все сидят под портретами, как и сидели, — и ничего. А мне, значит, нельзя... Все помнят, небось, как Хрущев проезжал к себе на родину в Калиновку Курской области через наше село. Посетил наше правление, посидел на стульчике, попросил водички. Старый председатель потом под это дело фонды и ордена выколачивал, это факт... А потом про это дело забыли, все заветрилось, иные пошли времена и художники...

— При чем тут Хрущев? Ух, Зелепукин! Как лиса крутишь...

— А при том. Правление новое построили, а старое здание забросили. А я для товарищества взял и выкупил и Хрущева реанимировал.

— Как это... реанимировал? Хрущев, слава богу, лежит себе на Новодевичьем кладбище.

— А так. Снова вывеску восстановил: «Здесь сидел Хрущев». И сам сел под эту вывеску. И еще портрет его за собой повесил — из пыли изъял, на чердаке валялся... И народ пошел. И идут, и идут ко мне, как к самому Никите Сергеечу. А я им по силе-возможности помогаю... А я что виноват, что они идут? У меня средства, товариществом на зерне взяли мы хорошо. Есть за что то бетонную трубу на колодчик поставить, то старушке материально помочь... А нынешний сельский глава Голобоков сидит в жо... в жолобе своего кабинета

та и фамилию свою отражает... Ну и злится на меня, Иван Ксаных, слухи всяческие распускает...

— Ну ты прямо ангел божий, — усаживается поглубже в кресло свое Локотко и нажимает на кнопку. — Н-да... Клавоочка! А ну скажи начальнику милиции, пусть войдет.

Входит начальнк райотдела милиции Коноплев.

— У тебя печать этого... субъекта федерации? — кивает глава на Зелепукина.

— Вот, — извлекает Коноплев из штанов печать и подает Локотко.

— Так, — разглядывает Локотко печать, подходит к окну, читает: «ТОО. «Зелепукин». Президент»... Ты вот что, — обращается он уже не к начальнику, а к сопровождаемому. — Ты это, брат, «Зелепукина» отсюда убери. Сделай как-нибудь по названию местности, что ли. Как во Франции, например, по департаменту, по названию рек. Или как у нас совпархозы были — Приокский...

— «Петушков» поставить, да? — охотно соглашается Зелепукин. — А то, может, «Хрущев»?

— «Петушков»? — строго смотрит начальник райотдела милиции на Локотко. — Да у них там полсела Петушковы. С одним морока, хлопот не оберешься, а то каждый будет считать себя президентом, представляете?

— Слушай сюда, — поворачивается к Зелепукину Локотко. — «Хрущев», понимаешь, тоже нельзя. При чем тут Хрущев?.. Ладно, пушай остается, как было. Но печать применяй только по делу, в целях экономики. Не лепи в корыстных своих политических целях... И язык придержи, не греми им как есть, напрямую. А то, думаешь, если Хрущев там у вас водички попил, так вам все можно... Ну иди, а мы о тебе тут подумаем...

— А чего думать-то? — медлит уходить Зелепукин. — Семьдесят лет думали — ничего не придумали. Хоть бы новые обои, что ли, поклеили, а то пятна, гляди, от портретов...

— Он же нас всех тут... под монастырь подведет, — стонет начальник милиции, крутя своей головой. — Всех нас пересаждает...

— Ладно, худоба, иди, — смеется нервно уже Локотко. — Идите оба отсюда, идите!..

— Близок Локотко, да не укусишь, — уходит из ка-

бинета Зелеспукин, стараясь выйти в затылок вслед за начальником райотдела.

Голубые ели, такие же, как и в Москве, на Красной площади, у Кремлевской стены, смотрят в окно сюда на Локотко. Глава районной администрации глядит задумчиво на эти кремлевские ели. Затем берет лист ватманской бумаги и с удовольствием, смачно лепит на ней печать. И крутя головой, подхихикивая, размашисто чертит крупными печатными буквами: «Глушково. Локотко-президент».





Настя Фастишкова что-то заплوشала. От постоянного сидения за телевизором будто черный кот в груди поселился. Скребет изнутри коготочками от недоверия к депутатам, которые то за Америку — то за Европу, то за город — то за деревню. А у тетки дети и там, и тут, как ей быть? У Кашпировского тоже не спросишь, — он только в одну сторону смотрит — на тебя. И душа разломилась у тетки на две половинки.

В таком настроении и застиг ее местный учитель Михеичев. Она и ляпни Михеичеву про черного кота. Учитель обозвал все это очередным мракобесием, хомутом на шее народа и посоветовал ей как свидетельнице эпохи от другого источника подзарядиться.

И поехала тетка в райцентр, в больницу, заодно и дочку проведать. Поехала на какой-то попутке. А когда приехала, узнавала свой районный городок и не узнавала, давно здесь была. Домяка какой-то новый посеред болота стоит, а перед ним на камне человек по грудь каменный — памятник.

— Соломон Моисеевич, — огласил ей прохожий строчку на пьедестале. — Пляши, мамаша, его имя носит район!

«Наш человек, с соломой связанный, — растарашилась тетка на пьедестал. — Да вот тот ли райцентр, сюда ли тетка попала?»

Вскоре зажглись уличные фонари и окончательно исказили картину. «Где хоть я, мать моя, уж не за границей ли? Кругом вывески, но буквы не наши, слова непонятные... Блуд напал на человека...» И черный кот выпрыгнул из теткиной груди и пошел впереди нее по улице. Зубы у тетки от жудости щелкнули: кто-то лежал на дороге — волком как бы обглоданный... и город какой-то чужой, в неизвестности... «В больницу скорее бы, — сжалось теткино сердце. — Вот где дают приют человеку».

Не дослушав ее, прохожий махнул рукой в пустое пространство:

— Во-он водокачка! Там и прилунишься.

Тетка Настя отворила дверь — в глаза ударило электрическим светом. За столом сидела женщина в ее — Настином возрасте, только в белом халате.

— Да милые вы мои! — так и выпала сумка из рук обрадованной тетки Насти. — Да сюда мне и надоть, радимыи-и-и-...

— «Надоть», «радимыи-и-и», — передразнила ее белохалатная. — Проходи, давай паспорт, как фамилие?

— Хвастишкова, — едва выдохнула тетка Настя.

— Хвастишкова? — повторила белохалатная, подозрительно взглядывая то на нее, то на личный ее документ.

— Хвастишкова, — нащупав почву под ногами, покорно сказала тетка.

— Эх, ты, корова, — вздохнула хозяйка комнаты, чему-то внутренне радуясь, подставляя ей засиженную табуретку. — Из каких хоть краев?

Тетка Настя икнула, задержавшись взглядом на белом халате. Черный кот выпрыгнул из нее и пошел, крадучись, далее по коридору. А коридор длиннющий, а по нему — дверь за дверью — палаты. Одно слово, — научная медицина.

— Не подумай, что я одета так... у меня и новое пальто есть, хи-хи,.. мы в деревне живем хорошо, — заюлила тетка перед дежурной регистраторшей. — Это тебе, — достала она банку с малиновым вареньем — специально сюда готовила. — И это тебе, — извлекла она из сумки творог в размокшей газете. — А это я для дочки, да ладно, где наше не пропадало.

— А куры есть? — заглядывала в теткины недра эта белохалатная.

— А как же! И индюшки, и овечки — всего полон двор. А коровку в последний годок держим, трудновато жить стало в нашем мегаполисе, — так и лила елеем тетка Настя, прогоняя черного кота от себя подальше, чтобы не возвращался.

Сели себе под самовар и сидели, пили чай с удовольствием: с теткинм вареньицем, с хозяйкиными банками.

— А в каком я районе-то? — настраивалась на хорошее тетка Настя. — И что это у вас в городе за человек на камне? Была я тут у вас или не была?

— На варежки б мне напяла, — внушала ей Александра Семеновна, хозяйка. — И на носки бы.

— Но мужик-то, ничего себе, с соломой связанный... наш человек...

— А носки-то свойские, вязаные, что печка... и мне бы самой, и впучке...

— А в каком я районе-то? — говорила тетка Настя прямо перед собой, в пустоту, не ожидая ответа, а сама думала, в какую палату ее будут определять, какое лечение назначат.

— И-эxxx! Богу рогу ногу!! — взорвались дальше по коридору, за последней дверью, рваные такие, будто пьяные голоса.

«О, господи! — аж пригнулась тетка Настя. — Вот человек мучается... под ножом у хирурга...»

— А в каком я районе-то?! — подтолкнула тетка Александру Семеновну, требуя к себе повышенного внимания.

— И в какой области? — тут же поинтересовались из-за приоткрытой двери.

— Кыш отсюда! — прогнала хозяйка черного кота от двери.

— Из Петушков мы, — наклонялась тетка Настя к Александре Семеновне.

— Пей, пей, подружка, — наливала хозяйка из кипящего самовара.

И тетке так захотелось уйти от всего, позабыть про плохое, что было вчера, сегодня, всю жизнь.

— Вот только младшенькая плохо живет со своим, — пожаловалась тетка Александре Семеновне. — Ходит вся в синяках. Я уж говорю: уходи от него, примем с дитем, воспитаем...

— Сучка, небось, дочка твоя, — поддакивала ей белохалатная. — Из-за порток ничего не видит, никакого характера.

— Сверхсрочник — так он себя называет, — ладил под хозяйку тетка Настя, — такой воитель! Дочку давно бы уж к стенке припаял, да мы помогаем им материально. Гусей, индюшек — все со двора. Гнишь, деревенька! Для чего и живем...

— Распустились! Эти — со льготами... Нету им окороту! — по третьей уже наливала хозяйка. — Помнится, я, девк, была уже замужем, молодойкой. Так возьму, бывало, гармошку под мышку и айда на «пятак».

Снжу — на гармонии играю, а потом как брошусь, бывало, в круг, как пачну дробить — пятки в задницу влипают...

— А в каком я районе-то? — тихим, вихлястым таким голоском спрашивала тетка Настя. — Прежде тут мужик не стоял... этот, с соломой связанный...

— Прежде-то? — вздохнула хозяйка. — Прежде стоймя стоять особо не разрешали. Те, что по трое сидели, и других сидеть заставляли... не любили стоячих...

— А этот — стоит... мужик-то... с соломой связанный...

— А в какой мы области, в области мы в какой?! Иехх!! — заскрежетали по коридору зубами.

— Да в любой, в любой! — крикнула в дверь им туда Александра Семеновна, повернулась сюда к тетке Насте. — Не бойсь, под нож я тебя не подведу. — И, заметив страх в теткинских глазах, хлопнула рукой по телефонному аппарату: — От нас милиция через квартал.

И тетка пила чай из самовара, а сама все ждала, когда же ей станут мерить давление и давать таблетки. Все в Петушках у них знали, что в больнице сначала меряют давление, а потом дают таблетки — от простуды, от рака, от сердца, от всего. И дочка про то ей рассказывала, которая в городе...

— А в области мы в ка...

— Да заткнитесь вы, госсеподи!! — наконец, рассердилась белохалатная и пошла дверь закрывать. — Да какая вам разница! Что в Мурманске, что на Сахалине... вот дом сумашедчий, ну чаю не дают попить...

— Европа — общий дом, Европа — общий дом, — запели из-за двери. — И валюты МВФ не дает...

Только тетка Настя собралась спросить Александру Семеновну, что такое хоть «МВФ» — «морской военный флот», что ли, да? — как тут о порог застучали сапожки, в комнату влетела молодая такая бабенка. Похожа на Александру Семеновну. Под пальто тоже в белом халате, вишь, и дочь в медицине работает. А когда та, выцганив у матери деньжонок, хлопнула дверь, ушла, тетка Настя с облегчением вздохнула: слава тебе! Эта вертихвостка разбираться не стала бы, тут же под лож зататарила бы. В ту дальнюю комнату, где сейчас все кричат, хрипят, гогочут на разные голоса, — в хирургический кабинет.

После этого тетке ужас как спать захотелось. Тело ватное, а голова свинцовая.

— Ты вот что, подружка, — наконец, обратила внимание на это ее состояние Александра Семеновна, — ты, того, не разувайся, иди так.

— Хорошо, ладно, — засмушалась тетка Настя.

— А одежду свою, — сделала голос покруче Александра Семеновна, — как войдешь, на пол положи! На стенку не вешай. А то стенки недавно обоями клеены, а ты мне обои угваздаешь... Так, — вспомнила Александра Семеновна о паспорте и раскрыла бордовые корочки. — Ага, мы сейчас заполним на тебя для милиции характеристику...

— Это зачем же? — замерла тетка Настя.

— Так положено. А может, ты какой-либо опасный преступник, скрываешься... Не подала сведения однажды, так они штраф мне пришпандорили. Преступников им тут ищи, свою работу на нас переваливают... Так ты, значит, Фисташкова? — сличала Александра Семеновна фотокарточку с оригиналом.

— Хвастышкова, — поправила тетка Настя, и черный кот перед теткой опять закрутился, полыхнул из-под стула зеленым своим телевизорным окном.

— А чего ж ты, это, мозги мне компостировала! — отпрянула от паспорта Александра Семеновна. — Ты же не из нашего района, из Петушков, ага?

— Ага, — едва выдохнула тетка Настя.

— Ладно, пошли, — глянула на нее свысока Александра Семеновна. — А поселю-ка я тебя в лучшем номере, где начальство ночует! И ничего с тебя не возьму!

И сама повесила теткин харпаль на стенку с новенькими обоями.

Лежала тетка Настя в свежей постели — отходили от тягости руки. Мылом, словно духами, тлелось, так дышалось легко, свободно, либо перед концом света, в рай, что ли, тетка попала? И стоял молчком в углу телевизор, глаз Кашпировского не давил. И черный кот как ушел от нее куда-то, так и не возвращался.

— Да в какой хоть мы области, в области мы какой? — доносилось все оттуда, из коридора.

И опять тут поблизости загрохотали, зафыркали, шлепнули о пол фуражкой либо, запели наперебой.

— Хирургический кабинет, — утвердилась окончательно в мысли тетка Настя и забилась в углышек боль-

шой деревянной кровати, чтобы черный кот до нее не допьялся.

Утречком тетка была совершенно здорова. Шмыгнула мимо «хирургического кабинета». Уже на выходе хотела было постучаться, поблагодарить Александру Семеновну — подружку свою, да передумала: пушай поспит себе, еще рановато.

На улице было чисто, грязь вчерашнюю всю мороз подобрал. Вывеска над головой была сизовата, белеса.

— Что это, милоч, тут на больнице написано? — остановила тетка прохожего.

— «Гостиница», — улыбнулся прохожий.

«Батюшки! — как пригвоздило тетку Настю. — А я-то... я-то... И мужик-то этот, прохожий-то, уж не с камня ль сошел — что с соломой связанный?.. Сколько же он просидел, бедный, на камне?..» Ощущенье здоровья не проходило, крепя тетку Настю перед днем предстоящим.

Тетка стояла, замерев перед постаментом: этот мужик и тот мужик в телевизоре — копия, это же Кашпировский! Только и слышно было, как с сухой теткиной обуви сухая грязь сыпалась, словно семечки.



КЛУБ ХОЛОСТЯКОВ

(Отрывок из романа «Два пророка в одном Отечестве»)



При обеспеченном тыле Трофим больше отдавался внешним сношениям. Тоська и утвердила ему дальний прицел: быть при начальстве, крутиться по складам, по базам, знать, когда и что поступает в район, во всю систему потребкооперации.

«Не жилами добрые люди планы вытягивают, — говорила она. — А сам знаешь чем: товарами. Это Бодраков все орет, уже начал хрипеть, скоро повалится, так на земли и растянется, и никто «спасибо» не скажет». — «Молодец», — поддакивал Тоське Трофим. И, вручив ей дополнительные деньги, квитанции, отбывал на Алатырь, в сторону перспектив...

С утра на железнодорожной станции помогал разгружать вагоны. Конечно, не в его годы крутиться-вертеться — это уже тяжеловато. Зато полная ясность — что поступило, что на базе сегодня имеется. И ты вроде тут не чужой, свой человек, состоишь в ихней партии. А поступила нынче и разгружали с ходу импортную мебель: два румынских гарнитура «Дана», два венгерских без названия и жилая комната в одном экземпляре «Югославия».

Трофим прикинул своим умишком: председатель райисполкома молодой, новый, недавно назначенный, и в райсельхозуправлении тоже все какая-то реорганизация, расширение кадров; стало быть, на гарнитуры, тью-тью, шансов нет, тоже туда уплывут, — по распоряжению. А вот на «жилую комнату» можно рассчитывать. И когда занесли ее, эту самую «Югославию», Трофим — тюк! — шифоньер об угол чуток, для уверенности. Оставил отметину, как бы расписался. Никому — только ему одному и понадобится.

Мужики сидели в багажном отделении и ждали, когда еще вагон подадут — с трикотажем. Была суббота, завтра, следовательно, выходной — заработанный, кровный, можно и передохнуть. В комнатухе собрал-

ся, надо сказать, цвет Алатыря: сам начальник станции, его дежурный помощник, два директора — мясокомбината и лесопромхоза, даже следователь один, даже автоинспектор, заместитель председателя горисполкома, ну и шушера всякая, мелкая сошка: из ДОСААФа, массовик-затейник районного Дома культуры, из сберкассы, слесарь горгаза. Компания, как понял Трофим, привычная, пригретая, постоянный костяк. Кроме, конечно, залетных, прикомандированных для разгрузки вагонов.

Как можно было догадаться (при живых-то женах), это был алатырский «клуб холостяков». Но вот во что никто никогда не мог поверить, так это то, что при обилии и вольной продаже спиртного во всех магазинах города они тут гоняли чай, настоянные на дикой смеси из зверобоя, липового цвета, душицы, перцовки и еще бог знает чего, что только могла выродить для них местная флора и фауна, а также областная промышленность.

Они гоняли чай и были чрезвычайно довольны жизнью, ожидая от нее еще большего результата.

Свой оптимизм они черпали еще и из электросамовара, принесенного сюда самим начальником станции Луниным. Чашки же дулевского фарфора сбегал и притащил из той же общественной точки — из вокзального буфета помощник Лунина — Лукин. А Тиганов Трофим, предусмотрев все это, иначе какой бы он тогда был бы заготовитель, извлек из своего сумаря трехлитровую банку меду, тоже, естественно, не японского. Именно на такой платформе, как местный патриотизм, при всеобщем угаре от импорта, и родился этот внеполитический клуб еще в те брежневские времена, не внесенный в интересы государственной безопасности в анналы истории. И душой всей этой компании был балагур и всеобщий любимец Ляпунов Гриша, в народе именуемый, если полностью, «Держязыкказубами», а короче — «Держи-держи», следователь районной прокуратуры.

Представляешь знаменитую англичанку Агату Кристи, а воображение непременно свихивается на Ляпунова, на наш российский, доморощенный вариант. Ибо по своему природному складу и пылкой профессиональной въедливости, связанной с национальными особенностями, во всем Алатыре не было другого такого человека, который бы столь глубоко и часто задумывался над тем, легко ли в неправом государстве служить

следователем, тем более быть писателем, хотя бы типа Юлиана Семенова, этого детектива.

Для начала Ляпунов с высоты птичьего полета оглядел столь высокое собрание — нет ли кого-либо из затесавшихся. Известные поручились за неизвестных, впервые присутствующих. Затем одному-единственному из впервые присутствующих — начальнику нефтебазы, за которого поручился директор мясокомбината Шуллер, Держи-держи задал мимолетно вопрос — это для удостоверения личности, сюда ли попал человек, а также для определения степени подготовки:

— Как вы думаете, зачем рука руку моет?

Это — семечки, из которых делают масло.

— Чтобы обе чистые были, — последовал мгновенный ответ.

— Допустим, — заключил Держи-держи, он же следователь, а не исследователь, и предложил уже мягче: — Садись, браток, кунаками будем, вместе будем сидеть...

А тут самовар поспел. Отмякали души, развязывались языки. И это — при следователе, не преследователе. Если бы не транзитные поезда, грохоча пролетающие, да еще не клиенты, как мухи, настырные — без конца названивали по телефону, черти раздирали их спрашивать про свои грузы именно в этот момент, то ничего, конечно, жить можно было бы, жизнь вообще высший класс, санаторий при ЦК какой-нибудь южной республики. После первой чашки все сидели и ждали удара юмора.

В двух словах Держи-держи очертил обстановку, изложил историю, на днях лично его потрясшую.

— Банальная, впрочем, вещь, — цедил он из себя, словно чай из алюминиевой кружки. — Муж с женой живут в коммуналке...

— Ляпи! — поддержали товарищи.

— Десятый год живут, — ожил Ляпунов, — а все ссорятся, даже дерутся, никак не притрутся. Приезжает брат жены из деревни, слышит-видит всю эту мелодию. Сидит вот так же, гоняет чайшко, пыхтит, ищет чего-то, что враз бы поставило точки над «и». «Ты вот с одной живешь? — воздыхает он, наконец, перед мужем своей сестры. — И то никак не уживешься. — И приводит, по его разумению, неотразимый довод: — А как же я? У меня их трое. И со всеми тихо, все довольны, никто нигде не возникает».

Кто тихо смеется в рукав. Кто крайне задумывается, особо руководители: как это одним хлебцем накормить тридцать тысяч голодных, это может только Христос. Тот, кто уже отсмеялся, встал и начал ходить по комнате, на глазах у Трофима разгибаясь из вопросительного в восклицательный знак. Вот что смех, елки зеленые, делает с человеком! И тут человек этот, слесарь горгаза, жвык-жвык-жвык ладонью о ладонь, даже искры между пальцев просыпались, но в пламечко не превратились, и делает всей честной компании такое заявление:

— А пусть новенький, южная нефтебаза, внесет свой вступительный взнос. Что-нибудь этакое расскажет.

— Естесственно, пуссь, — поддержал коллектив.

И повернулись все, ждали: кто — поезда, кто — счастья от жизни, а кто и начальника нефтебазы, когда же это он, стервец, свою нефтебазу закроет и перенесет куда подальше от города, и перейдет с цен на бензин, наконец, на чистые анекдоты.

— Конечно, овес нынче дорог, а что б вы от бензина хотели? — вздохнул этот Слащев и спрятал свои глазенки куда подальше, в свой кошелек. — Это что! Один горячий мужик на трех баб. А вот у нас один холодильник на двести горячих человек...

— Как это? — встрепенулась аудитория.

Отметим, что заседание происходило при обществе производства, а не потребления. Это ныне потребляют, а тогда еще только производили то, что теперь всю потребляют.

— А так это, — не упустил Слащев при этом свою главную мысль. — Вы все в городе, а мы на отшибе. Ваши женщины в рабочее время по магазинам шатаются, из спортивного интересу, а нашим куда? Мы в пяти километрах. Ни холодильника, ни цветного телевизора, ни даже утюга электрического — ничего нам не достается... Привезли на днях холодильник на работу — что делать? Стали решать: эти говорят — разыграть надо, другие — отдать передовикам. Начали обсуждать личные качества... Что же мне, если я, работяга, выпил вчера. маленько, и утюга, значит, мне не продавать? Чтобы я вдобавок и в брюках неглаженных после пьянки на работу явился? Вот на нефтебазе думали-думали и надумали написать куда следует: «Общества дефицита —

быть не должно такого!» И приписку сделали как бы от имени крика души: «Яти его мать!!»

— Молодец! Откровенный человек, — поддержал Держи-держи Слащева. — Я тебя за язык не буду уголовно преследовать, да. За такого рода приписки. Вот для чего, оказывается, нужна секретарша.

— Да си уже старый, — возразил задумчиво Тиганов Трофим. — Из него уж бензин льется.

— Из кого?.. Из бензовоза?..

— Нет, из Бодракова.

— Любви все возрасты покорны, — подмигнул всем остальным Ляпунов. — Ничего себе старый, а секретаршу содержит... этот, как его — кто?

— Да Бодраков же!

— Ну, Бодраков!! — потряс Ляпунов Гриша, следовательно, кулачищами. — Попадись только — запрю в одной камере с женщинами...

Грохнуло что-то, аж стекла задрожали — от проходящего мимо «литера». Эх, да при чем тут Бодраков, председатель ярищенский? Не врубился этот Тиганов Трофим, все Бодраков у него на уме — мелкая сошка, когда «литер» — главный калибр... Откровенно если, второй день уже совещаются пять соседних районов, подтянули резервы. Расставили кадры вдоль полотна через каждые сто метров, чтобы визуалью видеть друг друга, чтобы не дай бог что-либо, как прошлой осенью, скажем, случилось тут с товарняком. И эти дела поважнее — государственного масштаба, а мы, дураки, говорим «де-фи-циит...»

Один самовар оглушили, кипятили второй — широкие глотки. Только стал Ляпунов вытаскивать штепсель из розетки, как электролампа на потолке в 500 ватт дрогнула, поморгала-поморгала, нахалка, и сгнула. Сделалось темно, только и света, что через окно от столбов на пассажирской платформе.

— Коротнуло, — выразился кто-то во тьме.

Начальник станции Лунин привычно извлек из шкафчика свечку, чиркнул заготовленной спичкой. Вскоре свеча горела на столе, свеча горела.

— А у нас по три раза в сутки вырубают, — пожаловался начальник нефтебазы Слащев, только что принятый в творческий коллектив.

— Энергии не хватает, — пояснил ему Мурочкин, директор мясокомбината, у него всегда всего лично хва-

тало. — Скоро введут в Курске третий блок атомной — будет много всего на свете...

— Вот атомной этой,— возразил ему Шурочкин, директор мехлесхоза,— нам как раз и не хватает. Для наших пещер.

— Лавры — это хорошо, атомная энергетика — это третье тысячелетие, двадцать первый век, — возразил Мурочкин Шурочкину, а также и Лунину — как хозяину кабинета, начальнику железнодорожной станции.— Нашему брату Ивану только такую энергию и надо. На тепловую прут и прут эшелоны с углем, никак не навоятся. А на атомной, хоть десяток блоков вводи, топливо на спине, в рюкзаке, принести можно... Сиди, Ваня, себе на печи и поплевай в потолок, электричеством атомным бока себе обогревай...

— Не доживем до такого, — вздохнул Тиганов Трофим и вышел наружу, прикрыл за собой дверь осторожно, как бы в предвосхищение Чернобыля.

Теплая компания, «клуб холостяков»: начинают с холодного, доберутся и до горяченького. Пройдутся не только по Алатырю, но и по всей области, каждому косточки перемоют. Пенсионеры заслуженные! Компетенции хоть отбавляй, к тайнам были допущены, к грифу «совершенно секретно», а трепачи, как и все.





Деньги с Севера к нам сюда, в город, мешками везут. В основном те, что едут на заслуженный отдых. И все оседает в сейфах фирмы, что строит коттеджи, квартиры. А что население стареет, да чем пенсию после выплачивать в регионе, так это голова после болеть будет. И всех в эти края, как магнитом: яблоки ведь растут, соловьи распевают. Выросла уже целая слобода, такая веселая-развеселая...

Приехал с Воркуты со своим силикозом и сел тут на место бывший шахтер Ступиков Александр Васильевич. Подыскали ему усадьбу между ранее севшими. Ткнул Александр Васильевич в землю саженец и стал ждать, когда из оглобли вырастет тарантас. Но забыл одну мелочь: тут, в слободе, «прописаться»...

Взялся Александр Васильевич за кишку резиновую шланга «оглобли» свои полить... ну яблоню, яблоню! свою собственную... что потопаешь, то и полопаешь... а кишка-то мертва! Сухо, как в пустыне Сахара. Оказывается, сосед усадьбой выше, тоже бывший шахтер, но с Донбасса — Василий Александрович Карапетов, шланг ему перекрыл.

Пошел «северянин» к «южанину», а тот ему тысячу уверток, а воды не дает. Что ж ее, воду-то, самолетами, что ли, с Севера сюда возить? А «южанин», шутя, объясняет:

— Вода села, ушла на нижние горизонты.

Это так у них на Донбассе бывает. А на Севере воде деваться некуда, вся наверху — вечная мерзлота. И потому Ступиков как человек прямой не захотел понимать Карапетова. А решил действовать, как всегда, по поверхности. Взял и построил сарай на самой границе, а стоком туда — на Карапетова. А для усиления хозяйства сгородил еще и строеньице для поросеночка и стоком туда же — на Карапетова. Как дождь, так все туда, под уклон. «Северянину» весело — «южанину» грустно. Разные профсоюзы. А для воды Ступиков ци-

стерну пятитонную перед домом поставил, прямо на улице. Для впечатления независимости...

И тут голова заболела у Карапетова. Собрал он консилиум из ветеранов — ранее севших, что жаждали «прописки» Ступикова. И стали они решать, чтобы все было в пределах, культурно, а главное — весело...

Вот вроде как протокол того заседания.

Миша Кривой, по прозвищу Циклоп, и говорит:

— Надо шланг сунуть ему в цистерну и выкачать все к чертовой бабушке.

— Не пойдет, — отверг Карапетов его гнилую идею. — Нет фактора неожиданности. И совсем не смешно.

— Может, какую-нибудь пакость бросить? — делает осторожное такое предложение его автор — Курдюмов, хоть и с двумя глазами, но как у рабочего химфармзавода все «химия» у него на уме.

— Да ты что! — все хором к нему, представляя и свое потом светлое будущее.

— Сделать ему «кесарево сечение», — предлагает Акулов Иван Семенович, хирург.

— Это, значит, отверстие? — понимает его с полуслова Карапетов. — Нет, опять не смешно, еще не смешнее.

— Ну ты у нас больше всех анекдотов знаешь, — загалдели все. — Может, в них покопаешься... у чукчей или у Василь Иваныча? Что бы в таком разе сделал Василь Иваныч?..

— Шланг открыть надо, воду пустить, — подает мысль один старичок Никодимыч — старейший из жителей слободы, умная голова. — Вода пойдет — он цистерну и уберет, на кой ему эта цистерна? Глаза перед окнами мозолить... А потом мы водичку опять ему перекроем...

Так и сделали. А через день у Карапетова загорелась проводка и крыша вспыхнула. Сбежались все, даже женщины, дети. Даже «северянин» этот Ступиков со своим ведром прибежал, хоть и живет пока тут на птичьих правах, без «прописки». А ветер ведь жуть да вдоль улицы, вдруг по крыше начнет драть. В общем, пока бы дождались пожарной, полслободы бы слетело. Веселой бы слобода уже не была, не до смеха...

Очень даже цистерна Ступикова пригодилась. Как и личный его трудовой энтузиазм. Погасили пламечко в

самом зародыше. Тут же, на огороде у Никодимыча, перед черной, полуобвалившейся крышей дровяного сарайчика и присели это дело отметить. Хотел было Ступиков домой сбегать — вклад сюда свой, в общий котел, принести, но тут не только Карапетов, да и все мужики, вся Веселая слобода возразила:

— Тебе-то зачем? Вклад твой, товарищ, огромен...

— И это можно считать «пропиской», — заключил Карапетов.

Теперь представитель Юга всегда первым подает руку «северянину» Ступикову. Выйдя с утрачка пораньше, когда полслободы еще спит, они встречаются на нейтральной полосе, посерединке между ихними домами, и, усевшись на скамеечке, обсуждают дела житейские. К примеру, какую бы «хохму» устроить новенькому, приехавшему с Урала.

— Давайте-ка скинемся, — предлагает теперь уж Ступиков на правах действительного члена, — да самогонный аппарат ему купим или сами исделаем, что ли?

— Совершенно новый подход, — одобряет его Карапетов. — А зачем?

— А для смазки... Пока жены нет, заседания у него проводить будем...

Отныне вопросы скользят, как по снегу салазки. Ухо-хочешься! Вот что значит сверху, в руководстве товариществом, в мафии. Не до «сухого» закона, который нигде в мире, ни в каком государстве долго еще не держался. Вот что значит свобода свободой, слобода слободой, тем болес, если она у нас очень даже Веселая.



МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ



Плахову стало плохо. И врач «Скорой помощи» — молодой малый, приехавший на вызов, сначала сделал ему укол, а потом поставил диагноз:

— Мерцательная аритмия.

Жена ушла на работу, а Плахов сел на диванчик и стал входить в смысл сказанного кратко, но так бескомпромиссно: «Функционально, да!.. А что главное у человека? Это функция. Исполнение желаний. А если плохо с той самой функцией,— значит, вообще все плохо, ты вроде уже и не человек. Не то что полета фантазии, как, например, у Римского-Корсакова в «Полете шмеля», а даже на простое поддержание жизни у тебя уже сил не хватает. Выдохся, крышка!.. И сердце может в любую минуту, сейчас вот, сию секунду... и что наша жизнь?..»

Плахов сидел на диванчике и подводил себя к той самой бутылке, что стояла в серванте и была приготовлена на дело: если придут ремонтировать телевизор.

Походил-походил Плахов вокруг серванта и, пока жене явиться с работы, бутылочку ту и оприходовал. Жена на порог, едва повела носом и сразу к серванту:

— А, вылакал, кот! До доньшка, ничего не оставил!

— Слушай сюда, Ленок, слушай сюда!.. Ты же в курсе, диагноз какой: «Аритмия!» — старался держать на себе прискорбную маску Плахов. — Может, я всякую функцию уже потерял? Даже эту прямую мужскую... скоро узнаешь...

— Ха-ха, во дурачок, — засмеялась жена. — Да я уже звонила с работы. Насчет диагноза, этой твоей «мерцательной аритмии». Глянь хоть на себя, какой ты после серванта... сервантес... Завтра с утра уже будешь, как стеклышко...

Плахов уловил в тоне жены добродушные нотки и поспешил этим воспользоваться.

— Послушай, а не сбегать ли мне в магазин, да восстановим утраченное? На днях все же придут справлять

телевизор. А там что-то барахлит холодильник... стиральная машина...

— Э, нет, — засмеялась Елена. — Умники какие нашлись! Я твоего дружка из «Скорой помощи»... твоего собутыльника... больше тут чтоб не видала! Конспираторы... «мерцательная аритмия»... Сервантесы и Донкихоты...

— «О, божественная, божественная, божественная Валерия!» — сказал жене Плахов вместо римского диктатора Суллы. — Когда вера кончилась, пал Древний Рим.

— Ну не такой ты «древний», чтобы падать уже, — смерила взглядом Плахова жена его Елена. — Но в следующий раз все же закусывай лучше!





Собирался купить бутылку водки. Для дела, естественно. Прошлась жена вечером по магазинам и говорит, мол, водка дешевая в городе появилась — в магазине под вывеской с иностранными буквами, тут поблизости, на Октябрьской улице, напротив тюрьмы. Водка-то по две шестьсот. С зеленой этикеткой, с прыгающими буквами. Ага, вспоминаю, такая «андроповкой» или еще «коленвалом» тогда называлась.

Ну я утром туда, к латинскому шрифту. Все есть, а дешевой «андроповки» — нет. Расстроился, естественно. В кои века соберешься что-либо дельное сделать — и нате вам. И в расстройстве таком дай, думаю, по киоскам пройдуся, может, там еще что-то осталось. А ларьков этих тут теперь — тьма. Глянул — есть «андроповка», но уже, как и все, то три, то три сто, а то даже три двести. И над ней написано с гордецей этак, от руки, — «Орловская водка».

Но рядом — по две восемьсот. «Русская». Интеллигентная такая, в высокой бутылке. Хотя «Русская»-то всегда была дороже «андроповки». Ну я и купил эту самую «Русскую». Принес домой, глянул, а на белой жестяной пробке тиснуто «Нарткалинский лик.-вод. завод». И задумался я: что бы это значило? И почему хоть дешевле? Вспомнилось мне, что говорилось по радио и писалось в газетах про грибы, про спирт заграничный «Рояль». Мол, бывали случаи, вымирали, дескать, как отдельные личности, так и целые семьи. И стал я рассуждать здраво. Грузинскую водку видел в том месяце в магазине у железнодорожного вокзала — и бутылка зеленая, темная, и этикетка расплывчатая. Грузия теперь — сопредельное государство, если что — ведь не достучишься. Могут себе что угодно позволить. Фирменные магазины надо им тут у нас открывать. Как когда-то болгарский «Разград». И тогда стал мне ясен не только внешний, но и внутренний смысл фирменных магазинов...

Так, а эта откуда красавица? Где какой-то «Нарт-

калинск»? Другу звоню — выясняю. А друг — коммерсант, в таких делах дока. Это, говорит, возможно, с Кавказа. Привозят иной раз технический спирт, продают подешевле. Гляди — рискуешь. А покупай-ка ты лучше проверенную, «орловскую»!

Ага, думаю, ты коммерсант, корпоративные интересы отстаиваешь, а я — покупатель. Вам подороже продать — нам подешевле купить. И такая фантазия у меня разыгралась, мафии всюду мерещатся. Этак, думаю, и орловские на ликеро-водочном могут устроить. Выпустят, скажем, специальную партию, шлепнут партию с чужим названием. А когда дело дойдет до покупателя, вместе с прессой потом раскричатся о плохом качестве. А в итоге — покупайте, мол, нашу марку! Из патриотических соображений. Вот так, дорогой наш орловец, выбирай: жизнь или кошелек?..

Так, соображаю, будем дальше копать. И обсасывать проблемку со всех сторон. Ну, во-первых, карту достал, стал искать в европейской части этот самый «Нарткалинск». Естественно, взялся сразу же за Кавказ, — по своим российским автономиям прошелся, сунулся сразу в «горячие точки». Бесполезно. Пошел по Волге — Татарстан, Башкирия, Саранск, Чебоксары... Бесполезно... Назад на Кавказ возвратился. Ага! Вот он, голубчик, — не «Нарткалинск», а «Нарткала» — притулилась к самому Нальчику. Кабардино-Балкария! Спокойный район... И бутылка красивая, и жидкость прозрачная, и пробка нормальная, государственная этикетка. И почему это она должна быть хуже нашей «орловской», если она тоже «Русская»?

Это было уже что-то. Но — идем дальше. Звоню через «09» на санэпидстанцию. Через секретаршу попадаю в отдел «Питание».

— Есть случаи отравления водкой в Орле?

— Нет, пока слава богу, — отвечает мягкий такой мужской голос.

Хорошо, думаю. Идем еще дальше.

— Это общество защиты прав потребителя?

— Да.

Объясняю суть насчет «Нарткалы».

— Нет,— говорит приятный такой, очень уважительный женский голос. — Случаев отравления в городе нет пока, не зафиксировано. Но свои права надо знать...

— Ага, — говорю, — это значит, — говорю, — шей надо вертеть во все стороны? Покупая — не дремать?

— Конечно, — реагирует женщина с того конца провода. — И особенно, когда покупаешь что-либо в коммерческих магазинчиках — в «комках»... Для проверки мы можем дать вам кое-какие полномочия, советы. Во-первых, покупая, спрашивайте сертификат качества. Во-вторых, сохраняйте чек... К тому же при районных администрациях есть специальный отдел по защите прав потребителя...

— А в-третьих?

— А в-третьих, вчера к нам сюда приходил один покупатель, тоже с бутылкой. Не коньяк, а вода подкрашенная, оказалось. Проверили — сертификат качества отпечатан на ксероксе, расплывчат... Вот и все...

Так, соображаю, постепенно картина проясняется. Вода хоть, а не отравы, летальных случаев не зафиксировано.

Однако пойдем еще дальше. Примем и свои, дополнительные меры. Домашние, так сказать, заготовки.

И вспомнилось мне кое-что из собственной практики. Приехал друг ко мне позапрошлым летом — на дачу, в деревню. Садимся завтракать...

— А нет ничего? — смотрит друг на меня гипнотическим взглядом.

— Есть, — пожимаю плечами, — сливянка. В подвальчике, во фляге... Да ей уже лет пять в обед. Половину вылил наземь, а половину пожалел, оставил...

— Без косточек?

— За кого ты меня принимаешь?

— В пищевой фляге?

— Спрашиваешь!

Сели, продегустировали — прекрасная вещь. Сидим и смотрим в глаза друг другу — кто же первым из нас начнет загибаться?

А за обедом уже смеялись вовсю, и друг крыл меня почему зря: надо же вылить наземь добро такое! Это же преступление... В горах Грузии, в каменном ложе, лет пять тому открыли вино древней, почти тысячелетней давности. Видимо, укрывали вино от врагов, от набегов. Представляете, а? За тыщу лет что с вином произошло, какая ферментация? Направили вино на экспертизу в Москву. По газетам слежу...

— Ну и что? — живо интересуется друг.

— Смотрю газеты вот уже пять лет, — отвечаю ему, — но что-то о вине не попадалось...

— Прodeгустировали, значит, — хохочет друг под впечатлением всего лишь пятилетней, спасенной нами сливянки — нашей современницы.

Вот этот эпизод и вспомнился мне из собственной практики, пока я вертел в руках эту бутылку «Русской» нарткалинского разливу.

А все же, думаю, дополнительные меры не повредят.

Есть у нас во дворе один такой исключительный «алик» — дядя Сеня. Ас, высший пилотаж, прямо-таки рожден для всяческих дегустаций. По его же словам, чего только он не перепробовал. Такой у него желудок, все берет...

— Слушай, а нет у тебя «Алена Делона»? — спрашивает он.

— Шутить, что ли? — пожимаю плечами я. — Зачем тебе французский одеколон?

Ну вот звоню я ему: «Слышал, дядя Сеня, водка дешевая появилась». — «А гроши где?» Пауза. Думаю, переживаю. А потом: «Ну хорошо. Дам взаймы, приходи. Отдашь, когда, наконец, получишь».

И отсчитал ему ровно две восемьсот. И сказал ему, какая и где.

А сам после долго ворочался ночью. Не спалось все, переживал. А наутро, чуть свет, побежал к соседнему дому посмотреть на окно, за которым дядя Сеня жил в полном своем одиночестве. И что я вижу? Горит свет в окне неугасимо!!

Засмеялся я и — домой. А за чем? За своею бутылкой — «Русская» все-таки, для русского человека, хоть и нарткалинского разливу. Не «Рояль» какой-нибудь, какой неизвестно где разливается, а у нас тут, в России! И такая гордость меня взяла за эту самую Нарткалу, за Кавказ весь и стыдно так стало, что я о нем в целом так плохо подумал. Собственно говоря, и Европа с Америкой не насильно же свой «Рояль», своего «Распутина» и «Смирновскую» нам сюда в горло толкают луженое. Хочешь пей, а хочешь купи да поставь в ряд, да портреты на этикетках разглядывай.

И вот я звоню дяде Сене. И открывает дверь мне дядя Сеня:

— В чем дело?

— Да вот, — мотнул я бутылкой перед его глазами. — Пришел с тобой продегустировать.

Сидим и смотрим в глаза друг другу. Как тогда с другим другом в деревне. И хоть на санэпидстанции за-верили, что нет в городе случаев, а все же бродит где-то грешное в мыслях. А дядя Сеня, гляжу, наливает уже и по третьей — бог любит троицу:

— За твое здоровье, браток.

— Стоп, дядя Сеня, — говорю я и накрываю ладонью свою стопку, — мне хватит... Дело-то в чем, оказывается: в норме! Предки наши специально придумали эту вот «стопку»... Не из ведра же ты, дядя Сеня, пил свой авиационный бензин. А теперь вот к мазуту уже подбираешься. Еще и мазут такие, как ты, сделаете дефицитом. А в Карелии люди страдают без топлива, мазута им не хватает, дома скоро нечем будет отапливать...

— Твое здоровье! — наливает дядя Сеня опять себе в грашенный стакан. — Я в газетке читал, в Австралии один мужик съел по кусочку за год свой автомобиль, представляешь? Рекорд Гиннеса. И вот я думаю, не на сухую же он ел... всякие там железки и карбюраторы... А чем он их, подлец, запивал?

И делает вывод неоспоримый:

— Австралия — заграница. Мно-оо-огому в таких делах у них нам еще надо учиться!





Редкая у дяди Сени профессия: дегустация. А во дворе своего квартала, особенно в полукриминальных кругах пьющих и полупьющих слоев, где вращается дядя Сеня, за ним закрепилось стойкое имя — Дегустатор.

Дядя Сеня охотно делится фактами своей биографии и своим передовым опытом со всеми, кто этим живо интересуется. Причем рассказывает все с применением наглядных пособий, демонстрируя незаурядную технику исполнения тут же, на глазах зрителей.

— Я вам не какая-нибудь цаца из парфюмерии,— говорит он ссаженным голосом и делает при этом презрительную гримасу. — Во Франции на таком производстве... дегустатор ихний... два раза нюхнет и в отключку. А я — как собака, настроенная на наркотики. Я с ихнего одеколона, с «Ален Делона», лишь начинаю. Вот мой чуй, — вываливает он язык и тут же разувается, демонстрируя черную голую пятку, больше похожую на асфальт, чем даже на автопокрышку. — У меня интуиция, как у летчика-испытателя на новые самолеты. Сколько единиц я поставил на службу отечеству, все теперь пользуются. Вот мой репертуар по возрастающей шкале: денатурат, осветительная жидкость для чистки стекол, клей БФ — «Борис Федорыч», этот... как его, ну чем клопов морят... ну и все остальное, в том числе и авиационный бензин... Сейчас осваиваю новую продукцию японского производства: жидкость от колорадского жука...

— Да, у тебя биография, — с уважением смотрят на него собравшиеся во дворе, среди них молодежь. — Орденок бы тебе...

— Меня и так весь город знает, — заявляет дядя Сеня. — Даже на Семинарке, в районе желдорвокзала. Говорят, у них там свой человек объявился. Но против меня не устоит.

— Не устоит! Где ему! — подтверждает собрание. — Куда там ихней Семинарке против нашего микрорайона.

— Моя профессия такая, — обувается дядя Сеня в свои вельветовые ботинки и застегивает свои вельветовые штаны. — Минер ошибается только раз.

Все у дяди Сени вельветовое, даже шляпа — с маленькими такими полями, тоже вельветовыми. Даже нос весь какой-то вельветовый, в мелкую сеточку. Да и весь дядя Сеня какой-то вельветовый — из серого, в мелкий рубчик, вельвета, но широкой, несуконной души человек. В трудное время он всегда рад помочь человеку, даже ценой риска собственной жизни, у него всегда что-то есть: денатурат ли, «Борис Федорыч», даже малиновая эссенция — для особо впечатлительных, только вступающих на поприще или уже ослабленных пребыванием, а также для забалованных женщин.

Но дядя Сеня не бомж! У него нет семьи, зато есть квартира, то есть имеется определенное место жительства. Вон его окно во двор на седьмом этаже. Как ресторан «Седьмое небо» в Останкине. У дяди Сени была и работа, поблизости тут, на одном из заводов, но, в связи с последними новациями в стране, все в черте города, тью-тью, ухнуло. И вот теперь дядя Сеня, освобожденный по сокращению от бремени то ли слесаря — то ли пекаря, то ли токаря — то ли лекаря, сидит теперь больше дома, то есть на этой скамейке. И ждет от жизни еще большего результата.

Он жаждет гонцов, заказа на дегустацию, такая уж у него работа! Его слава вышла далеко за пределы родной Монастырки и давно гуляет по всему городу, а хочется верить, и мы в этом уверены, — будет гулять и по всей стране. И подрастающему поколению дядя скоро станет легендой, реликтовой недосыгаемостью, навсегда останется славной страницей нашего прошлого.

Дядя Сеня сделал себе во дворе из фанеры собачью будку — «комок»; как и все порядочные коммерсанты, повесил над будкой в качестве рекламы пустую бутылку и сидит в своей будке, как в городках «бабушка в окошке», коротает время за байками со своими «однодворцами». И ждет соответствующего заказа. Глядит на снизившееся по отношению к горизонту солнце: что-то заказчик нынче задерживается. И вот, наконец, — гонец! Из 16-го училища, что на Полесской.

— Что ж ты, итить твою мать, тут сидишь, — начинает он еще за шагов пятьдесят, — а там люди мучаются!

— Изложи.

— Канистра, жидкость — спиртом пахнет, а вроде не спирт.

— Твой заказ принимается как срочный, — оживляется Дегустатор.

Он подвижен, он гарцует, смеется и похохатывает, это — работа, которую он себе сам нашел, без всякой там биржи труда. Дядя Сеня достает из недр своей будки свой инструмент — стакан. Смотрит через дно на солнце, нюхает внутрь для приличия — остается доволен, опускает стакан в карман.

Стакан этот — реликвия. Лет десять уже, как перетянут он суровой ниткой по краю, — так стянута трещина, полученная по неопытности, когда дядя Сеня закатал в лоб одному «тюфяку». С тех пор дядя Сеня себе этого не позволяет. И работает по дегустации, как и всякий мастер своего дела, только со своим «инструментом».

На место происшествия дядя Сеня является вовремя. Мы не какая-нибудь пожарная часть или милиция — прибывают, когда от фермы остались одни голловешки, а от человека — останки. Нам это не позволено дозволить, в следующий раз не позовут. А там без него может случиться самое непредвиденное, даже «летальный» исход.

— Ну вот и Дегустатор! — облегченно вздыхают собравшиеся у ведерной канистры.

Это семеро смелых, но не совсем. Тоже мастера, но из другого цеха. Совершили какую-то работу, и кто-то за это им и оставил вот эту канистру.

— Спиртом пахнет, а вроде не спирт!

— Проверим, — делает Дегустатор наружный осмотр.

И возится с чемоданчиком, никак не может открыть, замок заедает. Эх, кабы делали его профессионалы, а то черт знает кто — любители из парфюмерной промышленности. «А «тройного одеколончику» нету у вас случайно?» — спрашивает Дегустатор сгрудившихся вокруг. И, получив отрицательный ответ, — а какой же еще! — срывает с близстоящего американского клена одинокий листок и тщательно протирает орудие своего производства. Бросает помятый листок, ищет вокруг...

— Что ты ищешь, дядя? — не выдерживает самый молодой.

— Счастье, — вздыхает дядя Сеня, выходя на момент, словно солнышко из-за плетня. — Протираем лопухом или подорожником — нам это без разницы, мы — специалисты, мастера своего дела. Если позвали — идеаем...

— Ну так пробуй же, черт побери! — не выдерживает самый старший из них.

— Вы — это самое! — щелкает Дегустатор по кадыку. — А мы — люди тверезые. Я вам не указываю, когда вы свои дела делаете. Думаете, пить всякий может, как и книжки писать, если письма пишет раз в десять лет...

— Да пей же, пей, пробуй, черт побери! — чуть ли не за грудки берет дядю Сеню старшой.

— Ну хорошо, — спокойно засовывает Дегустатор стакан обратно к себе в чемоданчик и собирается уходить.

Дядя Сеня — артист. Это все опять входит в его программу. Он все понимает, не хуже собаки, обученной на наркотики. Знает, как они тут до него у канистры крутились. Как сначала бросили и думать о жидкости, часа три ходили кто где, чтобы позабыть о ней. Но сошлись все в одно время возле нее, треклятой, — единомышленники. И долго еще потом ходили кругами вокруг той самой канистры, боясь подступить. Пока не догадались о жребии, и кто-то вытянул короткую спичку. И они уже смотрели на него, как на «смертника», делающего себе «харакири». Но в последний момент испугались и послали за ним, Дегустатором...

Вот и насчет уходов. Это у него разработано. Станет уходить — будут оставлять. Опять уходить — опять оставлять... Семь «уходов» было даже у Сталина... Уходил, а его, отца родного, все просили якобы общественность, трудовые коллективы... его — «отца всех народов»...

«Семь уходов тут не понадобится, — соображает дядя Сеня. — Тут, вижу, вроде как хлипкая интеллигенция».

— Не подумайте что! Моя профессия — извините меня — еще царская, древняя! — делает заявление Дегустатор, а они уже присмирели, обмякли, согласны на все. — На Востоке ханов — престолонаследников с детства ядом прикармливали, чтобы на престоле после не враз могли отравить. А у Наполеона волосы в каждом

музею Франции. Так анализ спектральный сделали — в волосах мышьяк обнаружен. Врач при Наполеоне на острове Святой Елены, оказывается, мышьяком его потчевал...

— А это, — показывает Дегустатор на канистру, — это нам семечки. Мы от процента работаем...

— Да бери ты хоть полканистры! — вскинулись алчущие.

— Полканистры не надо, а баночку эту нальете, — извлекает Дегустатор стеклянную трехлитровую банку из бездонных недр чемоданчика.

Для пробы налили ему половину стакана. Дядя Сеня посмотрел на небо, обвел взором собравшихся, поднял стаканчик, оттопырив изящно мизинец, сломанный еще на заводе, на токарном станке. Шумно втянул в себя воздух и медленно-медленно задвигал кадыком. Булькающая, неизвестная влага падала в дядину прорву...

Дядя Сеня поставил на чемоданчик стакан. Рыгнув, крутнул головой. Осмотрелся, закрыв глаза, постоял. И так же медленно, как и пил, побрел за кирпичную стенку дома — в сад, где, извините, уже шумели деревья.

Остальные, отступя шагов на десять, также медленно двигались следом. Молча, сосредоточенно, ловя каждое его героическое движение.

Дядя Сеня походил между яблонями с уже налитыми яблоками, но не сорвал ни единого. Сделал еще пару проходов. Набрал воздуху полные легкие, вздохнул облегченно. Подошел к мужикам, усмехнулся:

— А налейте-ка, братцы, еще!

— Э нет, — засмеялись клиенты. — В очередь теперь, как и все!

...И опять с утра на скамейке ждет Дегустатор у себя во дворе клиентуру. Как ворон крови, жаждет затруднительных случаев. Ибо слава всегда впереди человека катится. И вот проходит мимо тот — старшой, из училища.

— Жив-здоров, дядя Сеня?

— А чего мне.

— Говорят, на биржу ходил, на работу устраиваешься.

— Н-н-нда-а... уж как две недели... А на работе ихней еще не был ни разу.

— А чего?

— А это что у меня — не работа? — щелкает дядя

Сеня себя по кадыку. — Дегустация эта — редкая профессия, высшая квалификация... Иду с утра, как обычно, к чайной, что по дороге на Болхов. Ну, там закусываю, значит, как все. И на работу обратно же курс держу. Иду по левой уже стороне, а клиентура мне навстречу — все, амба, до работы я уже не дохожу... В другой раз перехожу на правую сторону — и тут моя клиентура, опять-таки не дохожу до работы...

— Рискуешь,— сочувствует дяде Сене этот — старшой.

— Ну дык, — пожимает плечами дядя Сеня. — Такая профессия... не для слабых... А космонавты, а журналисты?

— Слушай сюда, а чего у тебя рожа черная, как у негра?

— А-а, — машет рукой дядя Сеня в прострации, неопределенно. — Из-за этой-то рожи вся и морока. Клиентуру свою потерял, сижу на мели. Фирмачи ополчились, мужиков теперь не подпускают... Я под «крышу» было пошел, надо же как-то на хлеб зарабатывать...

— Ну и как?

— А в подвальчике одном коньяк французский — «Наполеон» делали... Вызывают меня для дегустации, значит, как авторитет, чтобы дал им добро на массовое производство. «А автол, — говорю, — клали?» — «Нет, не клали. А зачем?» — «Для смазки, — говорю. — Чтобы в горло со свистом шло»... «И чего она, жидкость, — спрашиваю, — у вас такая-то черная?» — «Для естественности», — отвечают. «Даже букашке со сломанной ножкой жить хочется», — замечаю им неодобрительно.

— Вот я им и... продегустировал! Выявил: морилку, окаянные, подливали! — делает четкое заявление дядя Сеня да погромче, в рекламных целях, чтобы все слышали во дворе. — Вот я выпил, значит, крякнул, губы обтер: вам лично можно, говорю, а в массовое производство нельзя!

— Их хитрости, да? — смеется старшой. — Денег чужих жалко стало?

— Правду надо говорить людям, истину! Какой бы горькой она ни была, — говорит дядя Сеня. — Работа такая.

— Да-да, у него работа такая, — приближаются, рассаживаются по скамейке старушки — божьи одуванчики. — Он здоровье на этом деле себе потерял, а

людей — русский народ не дал уморить, отстоял! И, вишь, теперь рожа какая? А никто ему за такое дело и в ладонь-то не наплевал.

— Я с бедных не беру! — говорит дядя Сеня, поднимая гордо мучнистую голову. — Каждой букашке пить хочется, да не у каждой есть на это талант!

— Не у каждого, не у каждого, — подхалимничают старушки.

— С рожей такой теперь никуда, — говорит огорчительно дядя Сеня. — Ни сюда не несут, ни туда не приглашают... Думаю, все же к Шведову, на биржу труда, наконец, пробраться. Слышал, офицеры отставленные из соображений безопасности в черную Африку — в ЮАР поуводрали? И неплохо через биржу устроились. Вот и мне, думаю, с рожей такой африканской там самое место. Или хотя в Соединенные Штаты. С такой профессией хоть где нужен, не пропадешь.

А солнце садилось где-то за Орликом. Красное, квадратное такое, похожее на канистру.



У Фомы Котельникова, механика Клепиковского спиртзавода, как в доме появится что-нибудь вкусненькое, так дай ему кого-нибудь из приятелей. В шубе, конечно, стеклянной. Вот и на этот раз подвалил он кабанчика после первого зазимка, разделал тушу — побежал к Уюнникову, участковому, позвать его на печенку. Печенка, конечно, только предлог. По пути заскочил Фома в магазин, взял бутылочку беленькой. Подошел к дому, глянул, а дверь в сени пастежь, а из кухни запахи, уфф, текут слюючки.

Поставил Фома бутылочку на лавку в сенях возле ведра, чтобы охолодилась, и стал помогать Зинаиде картошку чистить. Мирррово, когда на сковородке не просто печенка, а еще и с картошечкой! И вот как зашкварчать на плите сковородке, тут шаги под окном и раздались — редкие, увалистые, медвежьи. Это — участковый Уюнников, по-уличному, в просторечии — Селиверстыч, человек важный, солидный, косая сажень в плечах. Как какого-нибудь хулигана возьмет за шкуру, несет, бывало, из очереди или из клуба одной левой, тот лишь ножками в воздухе дрыгает...

Селиверстыч двинул носом, улыбнулся внутренним своим мечтаниям, затем решительно двинулся в сени и тут словно на стенку наткнулся: перед ним на лавке стояла бутылка! Селиверстыч пожевал воздух пустыми губами, и глазенки его замаслились. Хотел было сунуться он за кружкой к ведру, но рука, привыкшая к реквизициям, сама потянулась туда, за ведро, и тут же ощутила в кармане скользкую отпотелость.

— Милости просим, милости просим,— запела, бросаясь в сени к нему Зинаида.

— Шапочку, шинелочку, шапочку, — вертелся возле него сам Котельников.

— А мы к вам со своей, — улыбаясь, вытягивал Селиверстыч из кармана бутылку. — Со своим керосинчиком-то, Зинаида Степановна.

Селиверстыч вытирал носовым платком обнаженную

лысину, мигал на свет своими маленькими, хитроватыми глазками.

— Да вы зря это, зря, — сказала гостю Зинаида уже из кухни. — На что-что, а уж на это Фома мой догадлив.

— Ну и как вы тут располагаетесь? — все еще улыбаясь, шагнул Селиверстыч из передней в главную комнату. — Говорят, купили цветной телевизор?

— Купили, Матвей Селиверстыч, купили, — кинулся Фома тут же искать газету с программой, а она, чертяка, на грех не попадалась.

Шли соревнования по фигурному катанию, изображение прыгало.

— Вышка, — сказал Селиверстыч авторитетно. — Опять они там... на вышке... своими делами занялись...

— Квалификации никакой, — попытался вставить слово свое Фома.

И вот тут Зинаида вплыла в комнату с огромной, пышущей жаром, только раз в году и используемой, специально для этого дела, сковородой.

— Ого! — застыл Селиверстыч, как монумент. — Ничего себе поросеночек!

Зинаида метнула на Фому испепеляющий взгляд, и он тут же кинулся стелить на скатерть клеенку, на клеенку кинул подставку, наконец, Зинаида смогла поставить сковороду и раздышаться. Улыбнулась кокетливо, так что ямочки обозначились на щеках, углубились и на руке, выше пальцев, когда подставляла она рюмашку.

— Под такую закуску проскочит — не заметишь как, — сказал Селиверстыч опять же авторитетно и насадил на вилку кусок, какой покрупнее.

— Да вы на этот счет не волнуйтесь, — успокаивала его Зинаида. — Мы на этот счет позаботились, бутылка нам, что муха...

— Ну-ну, — сказал Селиверстыч, сам подумал: «Наготовили, небось, как на свадьбу!»

После первой рюмки, усмирив аппетит, Селиверстыч откинулся на спинку дивана, кивнул солидно на телевизор:

— Нет, в наше время ноги так не закидывали. А теперь и ихние, и наши от зарубежа не отстают, голяком...

Зинаида наклонилась Фоме на ухо, что-то спросила. Селиверстыч насторожился, только и услышал: «...а на лавке». «Вспомнили», — догадался Селиверстыч и стал

дождаться дальнейшего. А дальнейшее пошло развиваться в чрезвычайно высоком темпе. «Не нашел», — развел руками в дверях Фома и сделал большие глаза, сказал вслух Зинаиде:

— Как и не бывало в природе. Может, ты куда определила?

Зинаида кинулась в сени, загремела ведром. Пома-нила Фому.

— Ты, паразит, вылакал? — слышал Селиверстыч в приоткрытую дверь голос разгневанной Зинаиды.

— Ей-бо, как сон, как утренний туман, — слабо оправдывался Фома.

— Ты! — решила Зинаида. — Небось, еще по дороге с кем-нибудь трахнули, не утерпели... У-у, злыдень! — намахнулась Зинаида, чтобы врезать супругу по щеке, как в комнате что-то загремело, она кинулась: Селиверстыч собирал остатки салата в тарелочку, упавшую под ноги.

— Телевизор этот, — усаживался снова на свое место Селиверстыч, — настроение приподнял... А я думаю, как он будет выкручиваться?

— Кто? — уставилась на него Зинаида.

— Тренер ихний, — махнул Селиверстыч туда, в цветной телевизор. — Как он будет у них там облизываться, когда мы тут выпиваем...

Последнюю треть бутылки пили теперь экономно. Зинаида даже другие рюмки из серванта достала — так, одно баловство, с наперсток, ликерные.

— А что, — засмеялась она, — хватит, мужики, стаканами садить, попробуем пить культурно.

Фома такую «культурную» рюмашку пропустил с огорчения мимо. Селиверстыч тоже пропустил, но по самому центру. Улыбнулся при этом, подмигнул Зинаиде: вот, мол, как мы теперь пьем культурненько.

— И заметьте, под какую музыку танцуют эти, из Германии... под нашу «Калинку», — вертел Селиверстыч в пальцах пустячок этот — рюмашку ликерную, а сам думал: «Да, ну как же, милые, из положения-то будете выходить?»

— А наши некоторые... под ихние фокстроты, — полез было со словом своим Фома, но Зинаида тут же бросила на него убийственный взгляд:

— Чья б корова мычала...

Селиверстыч читал ее по глазам: всегда не хватает

маковой росинки. Важно бутылку поставить, чтобы стояла. Ну, Фома, ну, чертова глотка! А сидит, как святой. Завтра же по селу полетит, как Котельниковы пригласили на «сухую» печенку...

Перевел взгляд Селиверстыч на Фому, и на том все яснее ясного написано: как же я, дурак набитый, так оплошал? Куда же я ее, стерву, сунул? Точно помню, поставил на лавку возле ведра... Может, крысы? Может, детишки забежали со двора? А может, кто-либо из соседей зашел потихонечку? Нехорошо грешить на людей, да ведь стеклянная, государственной выделки, не ангел же божий, чтобы крылья иметь, не летает.

— Не ангел ведь божий в самом деле, — сказал вдруг ни с того ни с сего Фома.

— Ну, дорогие хозяева, пора и честь знать, — поднялся из-за стола Уюников. — Спасибо за хлеб-соль, хороша печеночка, хороша.

— Вы уж, если что не так, извините, — суетилась вокруг него Зинаида и совала в руки сверток с куском парной свинины.

— Извините... что не так, Матвей Селиверстыч, — топтался целовко Фома.

— За что извинять-то? — хитровато шурился Селиверстыч. — Вы меня не провожайте, не надо, я сам.

Надсвая шинель степенно, с достоинством, Селиверстыч внутренне улыбался: «Пить надо в меру, братцы, знать норму. А то бутылки нам уже мало... Завтра же Зинаида прибежала бы: помоги, Селиверстыч! Христом-богом молю: не оформляй... Он у меня хороший, он у меня в первый раз... И это у нас профилактика называется...»

— Читали, что пресса про это дело пишет? — сказал Уюников хозяевам вместо прощанья.

— Читали, читали, — обрадовались Фома и Зинаида. — А про какое дело-то?

— Ну бывайте, — вздохнул Селиверстыч и быстро вышел в сени.

Пока Фома собирался, а тут еще пальто оказалось на вешалке под Зинаидиной дошкой, Селиверстыча и след простыл. С пальто, надетым на один рукав, Фома выскочил в сени и замер: на лавке возле ведра, на том самом месте, стояла она — родимая! Фома даже глаза протер: бутылка стояла!

— Зин, — позвал он жену. — Что видишь?

— Молодец, — засмеялась жена и потрепала его по щеке. — Вот это я понимаю! Просыхать стал, экономистом сделался, с таким муженьком не пропадешь.

— Какое там экономистом, — поднял Фома голову выше. — Просто норму стал знать, вот и все! Презумпция невиновности...

— А что хоть это такое? — живо спросила его Зинаида. — Презумпция-то...

— А черт ее знает, — усмехнулся Фома. — Это все его слова, Селиверстычевы: «профилактика», «презумпция невиновности...» Ветеран милиции, голова!

Далеко по улице катились собачьи голоса, так собаки встречали печатный шаг Селиверстыча.





Когда Котелкина в детстве спросили, кем бы он хотел стать — моряком, летчиком, футболистом, маленький Котелкин уже тогда удивил больших дядей.

— Хочу стать парикмахером, — четко выговорил малыш. — Папа говорит, надо, сынок, стричь купоны. Сейчас все, говорит, стригут эти... купоны. Что же они все парикмахеры, да?

— Да-да, — сделали дяди вот такие глаза.

Парикмахером Котелкин не стал, оттого, наверно, и развил в себе неудовлетворение жизнью. Хотя зарплата вроде приличная даже по нынешним временам, все же один из лучших механиков-сборщиков на заводе. Но дети есть дети, трое — сам пят, какой бюджет устоит? А тут, как на грех, прежнее рухнуло, грянули рыночные отношения, пошла расташиловка. Кто по-честному, кто по-жульнически покупают машины, вплоть до «Вольво» и «Мерседесов». Парняга из соседнего цеха ушел в коммерсанты, купил «БМВ» — пришел похвалиться, катал всю бригаду.

И Котелкин крайне задумался: что мотоцикл, что мотороллер, чем владеет он лично сейчас? Много ли на них с поля кроликам привезешь? А на «Жигуленка», скажем, хоть полвоза навьючивай, сделай на крыше приладу и вьючь. У них на заводе ребята и дерево к железу приварят.

И так стало муторно на душе без этого стервеца «Жигуленка». Вроде ты и не человек, дефективный какой-то. Кругом вон их уж сколько, «иномарок» этих, а у тебя нет и отечественной. И ночью лежишь — думаешь, и на утреннюю смену идешь — думаешь, и со второй — поспешаешь домой, чтобы по хозяйству в палисаднике похлопотать, — опять-таки думаешь. Переела мозги растреклятая железяка.

И, решившись, начал Котелкин все с гаража, хотя ведать не ведал, за что, собственно, будет покупать сам автомобиль.

Первым делом сломал дровяной сарайчик, навозил

красного кирпича. В цехе сверж положенного теперь не задерживался. Летал со смены к своему строительству сломя голову.

Гараж сладили быстро, ребята из цеха пришли — дело магарычевое. Встал перед ним Котелкин, закрыл собой амбразуру, и так ему сделалось хорошо: кирпич рубчик в рубчик, все честь по чести — с подвальчиком, ямой, сварными воротами. Взглядом прошелся по лицам прохожих: как реагируют? И уперся в «Вино-водку», по шпалере ларьков прошелся со всевозможной заграничной продукцией типа «Распутин», «Смирновская», «Наполеон»... Интересное дело, слова наши, а продукция ихняя...

Иные из покупателей отходили в сторону и, если горело уж, тут же ее, родимую, и дегустировали.

— Страдают мужики, — сочувствовал Котелкин тем, у кого была натура послабее, кто не мог, как они. И тут его осенило...

На другой день после смены все любители скользнут по «шпалере» и дальше, валом велят к автобусу, а профессионалы задерживаются, стоят — ждут с бутылкой в кармане или за пазухой свой номер автобуса, не знают, как к бутылке той подступиться.

— Вам метр, ребята? — подает голос Котелкин из гаража и возникает с граненым стаканом.

— Во циркач, во иллюзионист!

Назавтра уже все знали дорожку в гараж. Изобрел Котелкин свое «окошко» в коммерции. Даже бочку выставил с краю, а на бочку — жестяную миску, а в миску — прошлогодние огурцы.

— Бери, бери, ребята, культурно обслуживайся, — стоит Котелкин в качестве «нового русского», героя новых рыночных отношений, в черном квадрате за бочкой, физиономия — во, раскраснелась. — Бери, коли не брезгаешь, все равно скоро выкидывать, солить новину, не рукавом же закусывать.

А пустую бутылочку — раз! — в угол. Бутылочку — два! — в угол. Бутылочку — три! — в угол. Под фанерку, под мешочек. Стоит и считает, из скольких бутылочек состоит «Жигуленок»? А «Волга» если? А «Мерседес»? А если дом еще перестроить?.. Если первый взнос в банк коммерческий положить, покрутить за хорошие проценты?.. И такое в душе Котелкина уяснение жизни: зачем работать? Зачем каждый божий день подыматься

в этакую рань и тащиться в цех на завод? А там маслом горелым в нос, там краны-балки над головой, там начальство, бывало, орет-разоряется, нормы, планы, бывало, им выполняй — дневные, месячные, ежеквартальные, встречные-поперечные. Так под прессом вся жизнь и прошла. Правда, теперь приосели, не так возникают, но все равно прежнее выпирает и до-олго еще выпирать будет... А тут бутылка средняя ходовая, плывет темная семисотграммовая, плывет зеленая четвертинка. Плывет винная, плывет водочная... Да кто ж ее, бутылку-то, в город сдавать повезет, тут об угол где-нибудь и расколют. А он вот благо содеял, сбор посуды организовал...

— А это тебе, дядя, — прерывают его размышления, оставляя бутылку и еще маленько на донышке. — Приложись, на здоровье.

— Да уж потом, опосля, — сверлит Котелкин каждого своими узкими масляными щелками и берет, оставляя эти бутылки отдельно, за ящик.

Держит Котелкин «метр» наотлет. Гони, братец, обратно стаканчик, а то знаем вас, ушел раз стаканчик, под забором едва отыскался. Вот вас, алкашей, где держать надо — в жмене. А то бутылку или куда зря швырнете, или с собой унесете. Такому человеку не то, что граненый дать, а и плюнуть вслед жалко.

Вчера подсчитывал, дело с осени сдвинулось. Ларьков вон сколько понаставили, алкоголь на каждом шагу продают. И бутылка отечественная — по цене не дороже ихних, заграничных, — доступная. А насчет приема посуды в городе и не подумывают, пункты стеклотары позакрывались. Вот он, Котелкин, учел, наладил, согласовал — с транспортом и заводом.

Вот бутылочка по бутылочке — все в гараж, все к Котелкину.

— Небось, уж на пирамиду наскреб? — подмечает Котелкину мастер из их цеха Никодимов — язва, желчный старик, никак не уходит на пенсию. — Если сложить, повыше будет этой... пирамиды Хеопса.

— Да ты скажешь, Кириллыч, — подает и ему «метр» Котелкин. — Скажешь, тоже мне, выше Хеопса.

— Ты, это... желтый себе покупай или красный, — говорит старик Никодимов неестественным голосом. — А зеленый не покупай, для езды цвет хреновый. Не сам врежешься, так в тебя врежутся. Потому сливается с фоном. Ибо когда частник ездит? Летом, понятно?

— Это точно, у частника лето самый сезон, — радуется перемене тона Котелкин. — А я уж смотрю на станции: эшелон стоит. Конечно, красный цвет самый лучший.

— Ма-а-а-аленькая бутылочка, — уходя, вертит четвертинку за горлышко старик Никодимов, а большого человека делает... — Котелкин выпячивает грудь, — поганью! — завершает старик Никодимов и швыряет в угол свою четвертинку.

Котелкин стоит как вкопанный: вот она, благодарность людская...

К весне Котелкин оплатил «Жигули». Мастер Никодимов стоял против того, чтобы развивать в человеке «чуждые инстинкты», а начальник цеха сказал ему: «Не твое дело, Котелкин — наш золотой фонд, а у тебя прежние, застарелые позиции». И сам помогал оформлять Котелкину ссуду. И достался Котелкину синий автомобиль марки «Жигули».

— А кому нужен синий, тому, небось, продали белый, — делился с пришедшими, как обычно, за «метром» Котелкин, жалуясь, как обычно, на пороки прежней системы, от которой тоже сейчас остались «родимые пятна».

Котелкин закрыл от едкого глаза ворота, встал и провел ладонью по синему боку, по сверкашкам-блестяшкам. Открыл дверцу, плюхнулся на сиденье, так в нем и утонул. Включил приемник, откинулся, мужской голос говорил что-то о новых возможностях, рыночных отношениях. Котелкин прикрыл глаза: и костюм теперь нужен новый, и рядом посадить кого помоложе...

Открыл глаза, праздник с души не сходил. Захотелось «Жигуленка» испробовать, выехать хоть из гаража. Глянул в заднее стекло — никого. Выжал муфту сцепления — что-то заело, отпустил — «Жигуленок» прыгнул назад, как козел.

— Стой!!! — закричали не своим голосом.

Обернулся Котелкин и обмер: на одной ноге прыгал районный автоинспектор Касьянов. Руки у Котелкина так и отвалились.

— Лучше бы ты в столб влепился, — осуждал он Котелкина. — Только вылези у меня из своей дыры! Я тебе вылезу, элемент несчастный, пирамида Хеопса!

И Котелкин дал от него полный газ. Машина рванула вперед и понеслась. Она неслась прямо в столб,

который выросал перед ним с неописуемой быстротой — шершавый, мощный такой, просто великолепный, с капельками красной краски, рассеянной по нему, словно кровь. Котелкин был просто зачарован им, этим бетонным столбом, и совершенно забыл, как хоть останавливают машины, где хоть у них эти чертовы тормоза...

Он врезался в столб со звоном. Сидел неподвижно, как статуя, не соображая, жив ли или уже нет, не живой. Котелкин глядел на грудку стекла и металла прямо перед собой: налез же на него этот дурацкий бетон!.. Еще не ездил, а, бог мой, сколько времени теперь с долгами расплачиваться...

— Небо благодари, — в белых крагах подкатывал сзади на мотоцикле автоинспектор Касьянов, — хорошо людей хоть не подавил...

Котелкин дико захохотал. Его иллюзии относительно светлой жизни превращались в прах. Он приподнял кусок от капота, откинул в сторону:

— Машина, ятить твою мать! Не металл, а бумага...

Оглядел все эти поля, перелески, мертвую уж как месяца полтора заводскую трубу, магазин напротив с вывеской «Вино-водка» и только тут заметил, что в ней не хватает двух первых букв. И плюнул он себе под каблук. Сказал сквозь рыданья в голосе, наконец, осознав, что живой:

— Делают же из этой бумаги... на этих заводах... паделали на нашу шею!..

И растер свой плевком каблуком.



ГУСИ, КОТОРЫЕ СПАСЛИ РИМ



(Следственный эксперимент)

Встретились мы как-то с давним приятелем в электричке. Перебирать стали годы и имена, словно струны гитары. И такой игрой случая, таким духом антоновских яблок потянуло из прошлого, от городка нашей юности, затерянного где-то между Орлом и Курском... Оба старые футбольные болельщики, оба — «московские динамовцы». А я так и вовсе из древних, из ископаемых «мамонтов». Еще с тех времен, когда сразу же после войны московское «Динамо» ездило в Англию. Как мы, пацаны, тогда ловили каждое слово Вадима Синявского с помощью самодельного приемничка, представляете репортажи из жестяной кружки? И потом уже, позже, в том же степном городке чуть ли не «международный» турнир на приз имени прославленной летчицы Марины Чечневой, и клуб динамовских болельщиков, и однажды после финала кубка вечерний костер — в сосновом бору, у поселка Онегино...

Ты не танцуешь, Ленский?

Чайльд Гарольдом стоишь каким-то...

Что с тобой?..

Но история-то про гусей — совсем о другом. О том, как, взрослая, выходили мы в люди. И «футбольный характер» помогал нам, как мне помогает, стоять на ногах по сей день. Эта история не столько даже и про гусей, которые, как известно, спасши Рим, не спасли, однако, нам друга — кумира нашей футбольной юности, игра которого была столь блистательной, что, по нашему мнению, могла бы оказать честь любой из команд мастеров, в том числе и «Динамо» (Москва)... Наш друг погиб от нелепой случайности. И я пишу как бы про него и в то же время, применив этакий «финт» футбольный, описываю его под совсем другим именем... и все равно именно он, молодой и упругий, как футбольный мяч, катится передо мной...

Его направили в райотдел милиции по комсомольской путевке. Еще вчера секретарь райкома, молодежный вожак, а сегодня — следователь, оперативник. А за спиной всего два курса заочной учебы на юридическом факультете. Ну почему так — первым делом, которое поручается молодому следователю, является это: установить, кто спер ночью курицу? Именно на «курах» проверяется характер, что ли, квалификация, да что угодно... Я сам лично участвовал в такой операции в Курске, куда из Москвы, по окончании юрфака МГУ, приехал мой друг — тоже семя с одного со мной футбольного поля в нашем Малоархангельске — Володя Ефремов.

Не будем говорить, каким Шерлоком Холмсом стал он потом. А сначала сигнал поступил из Казацкой слободы, где кур тех, наверно, уже утопили в супе и съели. А друг мой, прибыв на место происшествия, приступил к операции. Я просто умирал со смеху, как все это он делал. Перед толпой любопытных, среди которых был, вполне вероятно, и злоумышленник, он страшно шевелил губами, совершенно немисливо морщил лоб, наконец, совершил отсчет шагов своими невероятными, складными «жердями» — метрами от курятника до забора. А когда тех шагов получилось тринадцать, он решительно перемерил расстояние, чтобы вышло одиннадцать. И на крайней точке взял пробу — щепотку земли. Понюхал ее — очевидно, чтобы установить, не пахнет ли курами. Затем, к удивлению зевак, толпившихся чуть подалее, положил на зуб, поднял голову к небу и начал тщательно пережевывать. Все просто офонарели, но только не я... я понял, для чего это и к чему.. Пенальти! После этого он показал на центр футбольного поля... так надо, таков футбольный обряд...

У нашего Феди Никулина случай был совершенно иного свойства. В одном из малоархангельских сел, а именно в пригородном Костюрино, украдены были не куры, а — гуси! Два гуся. Крупная птица, большой летательный аппарат. Однако, не в пример курам, гуси — умная птица, просто так от хозяев не улетают... И быстро съесть гусей невозможно, поскольку крупны, а автобусы тогда в село не ходили. Если принять оперативные меры, среагировать незамедлительно, можно еще и

застать «спасителей Рима» в живых! Так пачальник Феде и заявил...

Кинулся Федя по соседним поселкам и деревням — в Мамошино, Серебряный, Афанасовку, Арнаутово, Окопы. Все обежал своей легкой футбольной трусцой: машина была в райотделе одна — у начальника, и он бер ее, как облигацию в Госбанке, никому не давал.

И вернулся Федя домой только к ночи. А надо сказать, жилье ему дали как молодожену с подселеньцем. Вернее, выделили комнату в двухэтажном кирпичном доме напротив кладбища, в двухкомнатной квартире. Эту квартирку специально держали — для реабилитации бывших эков, в общем, для исправляющихся. Концепция тогда была: исправлять «горбатых» в тихих таких городках. Не хрена им дремать — городкам тем, не то так в дреме век и пройдет. Вот сюда-то, за трехсотую «милю» от Москвы, и принялись слать пачками такого рода «умельцев». А то в Москве такого добра навалом, а тут дефицит, надо разбавить народности для разнородности...

Вот, значит, одного субчика из этой квартиры отправили за хорошее дело снова в тюрьму и, наверно, уже расстреляли. А молодой Фединой семье город дал освободившуюся площадь: поживи, дескать, а там будет видно... Вот Федя тут один и живет. Поскольку жена его Лидочка уже на пятый день пребывания угодила в реанимацию. Ибо во вторую комнату из Ливенской колонии усиленного режима сюда, к своей матери, вернулся ее блудный сынок... Вот такая предыстория, значит...

Итак, появился Федя домой после спортивной пробежки аж к ночи. Открыл своими ключиком дверь культурненько, туфли в руках несет, чтобы не побеспокоить. А кого беспокоить-то? Жена Лидочка после больницы сюда не вернулась, третью неделю у своей матери. А сосед этот пьян всю дорогу — все с дружками своими отмечают его освобождение. А мать его, Дмитревна, вечно в трепете, ни жива ни мертва...

Прилег Федя на постель свою холостяцкую, подложил руки под затылок. Дает команду себе: спать, спать надо, завтра силы будут нужны! А не спится. Глаза в темноту сами таращатся, ухо ловит всякие звуки. А мысли длинной такой струей летят из тебя, как от жвачки...

Бормочет сосед через стенку, ворочается. Жаргончик, конечно, свой употребляет, словечки тюремные, а какие ж еще? Ну не в этом дело, а дело в судьбе человеческой. Мать уж не знает, что с ним, паразитом, и делать. От пенсии, что скопила на гроб, ничего не осталось, последние вещички из дому дотаскивает. С утра как наведет к себе сюда своих боевых «соратничков», так до вечера дым коромыслом...

— Сынок, — обратилась к Феде как-то эта несчастная Дмитриевна, — вы бы хоть куда Сашку опять, что ли, определили? Они же на него насели, как коршуны.

— Так работать Сашке не хочется, мать, — ответил ей Федя. — Ну прямо не знаю... ну есть служба такая у нас, спрошу...

Вот храпит в той комнате этот бабкин сыночек! Песни носом выводит, как проваливается все туда к нему, в горло, как в прорву, — просто жуть. Замирает весь организм — как бы помирает. Как в погреб ухаает, опускается за огурцами вроде бы на самое дно. И опять заводит, опять то же самое... но теперь уже без огурцов... просто так, рукавом закусывают... стаканы едят, стекло аж рыпит на зубах...

Федя вздрагивает, насторожась, дрема сходит; посторонний звук какой-то за стенкой, опять этот звук. Шевеление крыльями... хм, гуси, что ли?.. они... во дела... «И откуда они у них, эти гуси?..»

Так и лежал до рассвета Федя, не сомкнув глаз. А когда рассвело, — глянул в окно: прекрасный вид на кладбище открывается, да!

Встал и пошел умываться. А дверь к соседям всегда нараспашку. Мать не ночует сегодня, а Сашка во всю свою постель растянулся, и руки крест-накрест. А гуси белые ходят по комнате и уже на полу нагадили...

— Иди, иди, милый, иди сюда, хороший, — приоткрывает дверь Федя пошире.

И тут же мелькает в голове его планчик. Надо сказать, что родом Федя сам деревенский, в гусях толк знает.

Вот он гуся одного — хоп! — и в мешок, на горбюку его, и айда. И бегом до Костюрино. Бегом с мешком — вроде на тренировке. Только цель теперь у него иного качества, сами знаете, какая, если он следователь или оперативник...

Еще до Костюрино не добежал, а уже на Беленьком,

у ручья, гуси встретились — стадами ходят, пасутся. Выкинул он гуся Сашкиного из мешка, тот голову гордо этак поднял, крылья расправил и загоготал от расправившего его удовольствия — рад, что снова живет, видит небо, простор, эту воду в ручье возле себя, гусиное стадо...

Как ни гонит, ни подгоняет Федя Сашкиного гуся к этому гусиному стаду — ничего не выходит. Только Сашкин гусь сделает шаг на сближение, как вожак тут же вытягивает гордую свою, без того длинную выю и давай гоготать, хлопывать себя крыльями да змеино шипеть. То же самое за ним делают все остальные... Не подпускают — чужие, значит!..

Это и надо было Феде узнать. Федя гусака того подмышку и к другому стаду — тут же на Беленьком, только подальше. Та же картина. И третье стадо из Костюрино идет сюда, на подходе, — Федя к нему. Гусь из Фединогo мешка к стаду — стадо молчит на сей раз, не гогочет. Федя гусака того обратно в мешок и бегом обратно до самого города.

Вошел в квартиру на цыпочках. Сашка дрыхнет все так же. И другой гусь от одиночества тоже прилег, сунул нос себе под крыло. Вытащил Федя гуся из мешка, ткнул под бок тому — в пару и побежал на работу.

«Следственный эксперимент!» — тут же эта крылатая фраза облетела весь райотдел. Начальник Семиглазов ушам своим не поверил — недоверчив был этот многоопытный, бывалый начальник!

— Ты хоть думай, что говоришь, — внушал он лейтенанту Федору Никулину. — Второй день работаешь в нашей системе, а уже и раскрыл?.. Это же преступление нераскрываемо. Такие никто никогда еще запросто не раскрывал... Куры, гуси, утки — это тебе не корова...

— Ну да, конечно, — стоял перед подполковником, переминаясь с ноги на ногу, лейтенант Федя. — А кто говорит, что корова?

— А то, что корову не враз-то съешь, — рассуждал бывалый начальник. — А курицу — р-раз! — и нету. Концы в воду, вещдоков не бывает...

— Дак он же не ест, потому как лежит лишь да пьет, — возражал Федя. — И ничем не закусывает...

Вскоре милицейская машина подкатила к Фединому дому. Сашка еще спал, когда в комнату ворвалась ве-

ликолепная четверка — представители закона, обутые в сапоги.

— А ну вставай! — приказал Сашке сам Семиглазов.

— Куда, пала? — вскочил одурелый Сашка, собираясь бежать.

— В телевизор тебя показывать! — строго выразился начальник. — Как ты этих гусей воровал, тащил сюда из Костюрино... Едем ставить эксперимент...

— Обижаешь, начальник! — закричал, запричитал Сашка, заламывая руки и закатывая глаза, желая биться уже головой о спинку кровати, о стол, шкаф и даже о пол.

— Бери гусей своих и пошли! — приказал невозмутимо начальник как наивысший тут представитель.

— Эти гуси наши-и-и,— однако, привыкши к командам, Сашка тут же спешно натягивал штаны. — Мать их сама выхаживала-а-а...

— Следственный эксперимент, слышал про такое? — чуть задержался в дверях подполковник из соображений гуманности. — Это как очная ставка, но только между гусями. Вот сейчас мы его и проведем, этот эксперимент...

— Что — опять бить будете? — насторожился Сашка.

— Во дурак, — засмеялся начальник. — А на что нам голова дадена, мозги — серое вещество?

В Костюрино они приехали двумя машинами к обеду, как раз гуси пришли с Беленького, с ручья. И лежали по лугу, перед своими дворами, дожидаясь подкормки, — гуси-лебеди, белые паруса.

Люди высадились из машин. Сашка едва коснулся ногами земли, начал орать благим матом на всю деревню:

— Карраул! Грабють — убивают — что вытворяють!.. Гусей у меня своих отымають — дело шьють — в камеру назад загоняють!.. Ой, начальнички-начальнички! Нет справедливости, просветы узкие — горла широкие...

— Сымай мешок, — тронул его за плечо начальник райотдела Семиглазов и кивнул лейтенанту Никулину и всем остальным из прибывшей свиты. — Следственный эксперимент начинается!

— А ну скидай! — потребовал лейтенант Федя, ссаживая мешок с гусями с Сашкиного плеча.

Сашка вывалил мешок, и гуси, жестяно кыгыкая, охлопывая себя крыльями, уже вытягивали шею змеино, как будто хотели дотянуться отсюда до самого Рима, до его древней истории, чтобы опять же спасти «вечный» город от извне нападающих варваров.

— Ой, начальнички, начальнички!..

Два Сашкиных гуся драли голову в небо посреди луга — белые среди майской зелени, не успевшей одеться в серую, тверезую пыль. Федя взял хворостинку и погнал их к стаду, что прикорнуло возле колодчика, в тени развесистой черемухи. При приближении Сашкиных гусей хозяйское стадо всполошилось, подняло гам, а вожак все вытягивал шею по самой земле и шипел, их не подпуская.

— Чужие!.. Чужие!.. — возопил Сашка, радуясь жизни. — Не видите, да? Ведь чужие!..

— Неужели чужие? — съязвил подполковник Семиглазов, весело глядя на Федю.

— Эй, хозяин! — позвал Федя кого-то там на дворе, а когда тот вышел, спросил: — Гуси на днях у вас не пропадали?

— Не-ет, — протянул растерянно мужчина в короткой солдатской шинели, отхваченной по коленки.

А баба уже гнала его, как гусака какого, палкой на огород — от греха подальше, мало ли что. Язык-то не распускай, не вишь, понаехали тут на машинах...

Федя пугнул Сашкиных гусей далее, к следующим белым парусам, сникшим под крупной сизой ветлой. То же самое — полоса отчуждения, гуси друг от друга в разные стороны.

— Ну вот! — аж плясал Сашка, торжествуя над Федей. — Ой, начальники-начальники!.. Ай, начальники-начальники!..

— А теперь глядите! — кивнул Федя Семиглазову и всем остальным, следующим за ними по широкому деревенскому лугу.

И направил этих двух гусей хворостинкой к небольшому стаду в тени крапивы, у хатенки, последней на этом юру, на околице. И Сашкины гуси летямя туда. А те гуси отпрянули сначала, зареготали. Ихний гусак поширял-поширял клювом воздух перед пришельцами — Сашкиными гусями, а когда те признали его превосход-

ство, возглавил гусиную цепь. И Сашкины гуси пристроились к ним и один в один, в той цепи, направились к себе во двор, прямо в распахнутые ворота.

— Митревна! — крикнул Федя туда им. — Ты тута?

— Тута, тута, — отозвалась старушка, выходя в обрезанных валенках сюда, на свет божий.

— Митревна, — спросил ее Федя, — гуси у тебя на днях пропадали?

— Пропали, — живо сказала старушка.

— А сколько?

— Да два же... Ах, боже ж мой! — всплеснула она коротенькими ручками. — Да вон же они — отыскались...

— А перья были в носу у них или нет? — едва спросил ее Федя.

— Были, были, — как тут же радостно сообщила старушка.

— Вот, — поймал Федя Сашкиного гуся и показал коллегам. — Вот и перо в носу, только обломано.

Начальник райотдела Семиглазов обернулся ко всей своей свите. И сказал как покруче, чтобы было слышать по всему Костюрино — и ныне, и во веки веков, аж туда, до тургеневской Вревской, родом тоже из Костюрино этого самого. А может, и до самого Малоархангельска слышать было, за три километра:

— Видали, что такое следственный эксперимент?

И железные кольца наручников тут же шелкнули вокруг Сашкиных запястьев.

Вот и все. На следующее утро Федя задержался в постели. Но как он ни прислушивался, посторонних звуков через стенку уже не различалось. А когда восходящее солнце полоснуло по стенке, он подумал, потягиваясь: это хорошо, что в той финальной игре с «Динамо» (Орел) он не забил пенальти. А Митя Самойлов не догнал его все же и уцепился, стянул с него перед всем честным народом трусы. Иначе бы учиться ему, Феде Никулину, в институте совершенно другого профиля — институте физкультуры. И не лежал бы он сейчас здесь, прислушиваясь к этим звукам за стенкой, к голосам этих «спасителей Рима», но не слыша уже ничего.

— Что наша жизнь — игра! Добро и Зло — одни мечты, — замурлыкал под нос себе Федя, выглядывая в окно и находя кладбищенский пейзаж напротив очень даже красивым.





У писателя Ивана Чужова мимо вся жизнь проехала. Шутка ли, пенсия уже, а он ни черта не умеет. Прозу возьмется писать — обрезки одни, коротышки какие-то получаются. А за поэзию и не берись, недосыгаема. И вот пенсия назначается, исходя всего из трех минимальных окладов, а он-то всю жизнь на высоких должностях. Обидно, на что укладывал свои годы?

Умные люди подсказали. «Ты, — говорят, — Иван Кириллыч, к медицине обратись. Вспомни старые болячки, в больнице недельки три полежи. Глядь, на вторую группу и натянешь. Или хоть льготы какие-никакие оформишь...»

Огляделся Иван Кириллыч и видит: сколько же, в самом деле, ихнего брата чиновника проходит «по вышке» и после в креслах продолжают сидеть. «А мы что, рыжие?» — решил Иван Кириллыч и для начала пошел к участковому врачу.

Участковый врач послушал его, нашел сердце ужасно истомленным от долгих лет злоупотреблений. И, как змеюку какую, навесил на шею ему хреновину, вроде как у милиции, — биостимулятор. Ну чтоб ритмы записывало и от вина отвлекало.

Ни хрена себе процедура! Иван Кириллыч выбросил из чехла ихнюю требуху и положил туда рюмку и четвертинку. Ходит по улицам да по конторам и посмеивается. Во дураки они, думают, что это у него биостимулятор, а у него тут она, родимая, всегда под рукой. Просто одно удовольствие.

Так. А, во-вторых, для ускорения дела Иван Кириллыч попер сразу в высшие сферы — к приезшему медицинскому авторитету. Из Курска. Из медицинского университета, — так теперь институт у них называется.

И написал ему этот профессор за его, Ивана, кровные денежки целый трактат рекомендаций. Когда профессор писал, у Ивана Чужова прямо-таки глаза на лоб вылезали. Сам-то он хоть и писатель, а давно впал в

жанр вдвое короче. И как это можно столько писать? Откуда хоть слова у людей берутся?

Главное, что выловил Иван Кириллыч из профессорского трактата, так это, ну, как его... «душ по-йоговски». Именно этот душ должен снова сделать его человеком.

Пришел Иван Кириллыч в свою поликлинику с трактатом под мышкой, явился на процедуры. А сестра ему и говорит: «Раздевайся», — он и разделся. Сестра говорит: «Сейчас будем делать тебе душ не Шарко, а по-йоговски. — И разъясняет: — 70 притопов по часовой, 36 притопов — справа налево, напротив».

И начала водить сестра по его истомленной груди поливалкой то справа налево — горячей водой, то слева направо — холодной. То горячей, то холодной. То горячей, то холодной... Иван Кириллыч стоит, ежится, аж приплясывает: то холодно — то горячо, то горячо — то холодно... Аж трясет всего, черт знает что! И в самом деле нервы ни к черту, как расшались. «Дай, — думает Иван Кириллыч, — я эту бабу ушлю куда-нибудь с глаз долой. И сам тут как-нибудь разберусь».

— Контрастный душ по-йоговски, — поливает сестра, приговаривает: — Тут горит, и там горит...

— А котлеты по-пожарски, а котлеты по-пожарски, — бормочет Иван Кириллыч. — А котлеты по...

— Где? — спрашивает она.

— А шел сюда, сам видел, в буфет привезли.

Сестра сунула ему поливалку — и в дверь. А Иван Кириллыч сбегал в предбанник за трактором, встал в позу и заявляет на всю процедурную:

— А теперь устроим себе щадящий режим!

Это согласно рекомендации. А сам думает: «Да разве бывает режим щадящий?» И включает один кран еще горячее, а другой кран еще холоднее. Вода свистит, как из пожарного рукава — из бранспойта, а Иван Кириллыч действует им вокруг себя, как поливалкой, — слева направо, справа налево. И кричит для собственного воодушевления. По часовой ведет — «Я — большевик!» — кричит. Наоборот, справа налево — кричит: «Я — коммунист!»

Да так в раж вошел — невозможно просто. Топочет ногами, глаза закатывает, пена на губах показалась. Но чует уже, что не различает, где холодная вода, где горячая, — ему все равно. Отстранил он от себя поливалку и говорит:

— А чего я так нервничаю? Надо сделать корректировку.

И сделал воду в одном кране еще горячее, а в другом — еще холоднее. И давай поливать себя, но теперь уже с учетом корректировки. В два притопа, в три прихлопа. Справа налево ведет по касательной, кричит:

— Я — большевик!

Слева направо ведет — кричит:

— Я — демократ!

И давай орать во всю глотку:

— Я большевик — я демократ! Я большевик — я демократ!

Так понравилось, так разошелся. Уж ни шума воды, ни тела своего — ничего не ощущает. Материя прямо-таки исчезла, одно только тело осталось:

— Я демократ — я большевик!

И тут Иван Кириллыч критически взглянул изнутри на себя: «Какой же это я большевик, если веду слева направо? Наше дело правое. Это демократы были слева всегда, еще с времен Французской революции».

И давай опять поливать себя. Ведет поливалкой справа налево — «Я большевик!» Обратно, слева направо — «Я демократ!» Опять в раж вошел. Чтобы не запутаться, справа налево — орет на всю процедурную:

— Я большевик — я демократ! Я большевик — я демократ!

А сам притопывает, аж приседает, доски под ним прогибаются. Помнит, что сказала ему профессура: 70 притопов по часовой, а 36 — напротив. «Но, — думает, — что-то не то опять, не стыкуется!» Большевиком-то он должен быть 70 раз, а демократом — 36. А у него и того и другого уже, наверно, по триста... А ну ее к тэттому — ихнюю йогу! Будем делать по нашей системе, по-русски...»

Взял и выключил горячую воду, сделал оба крана холодными. Как дома у них обычно. Это из «детки», по системе Иванова. Иван Кириллыч про нее где-то в журнале вычитал.

Тут, правда, «справа налево» — «слева направо» стали совпадать, зато притопов больше теперь получается. От холода ноги сами о пол колотятся, зуб на зуб не попадает. И кричит Иван, как заело:

Сначала: — Я большевик! Я большевик! Я большевик!

Потом: — Я демократ! Я демократ! Я демократ!

Начал горячую воду включать — не включается, пропала совсем. Распсиховался Иван Кириллыч до невозможности. Наливает в ведро ледяной воды. Вспомнилось, как деверь его на Алтае в трескучий мороз выбегаёт из бани да прямо на снег или в озеро головой. И, одурев от всего, Иван Кириллыч хватает полное ведро и опрометью в дверь. А навстречу ему сестра — котлеты жуёт, улыбаясь вовсю:

— Ну как?

И он, не раздумывая, бух ей на голову ведро с ледяною водой...

Очнулся Иван Чужов на кушетке. Врачи собрали консилиум, решают, куда его определить — в вытрезвитель или сразу в психоневрологический? А потом плюнули: ну его к черту! Ненормальный какой-то. Другие такие же — солидный народ, и через душ по-йоговски пройдут себе преспокойненько, и в больничке потом свое отвалятся. А этому надо так вот, не по-человечески. А ещё писатель, и был когда-то на должностях.

Но дали все же то, что просил, — вторую. А ему теперь и этого мало. Опять повесил на шею этот... биостимулятор. Но уж тут, извините-подвиньтесь, первую группу у нас получают такие, кто забыл, когда и стоял вертикально. Лежачие — кому душа уже, извините, не надо. В гробу видали мы ихние эти самые души. Такая-то процедура!



ПАРДОН, НО ГДЕ ЖЕ БЛЫНСКИЙ?



(Литературные портреты)

После спектакля по очерку Лескова «Воительница» в местном театре с участием народной артистки Веры Васильевой у меня проснулись творческие силы. Вечерний чай в обществе друзей побудил меня поведать другую историю — по мотивам рассказа Виктора Некрасова. Та же ситуация, те же ассоциации, но в условиях европейского общества. Речь шла о нашем офицере, коменданте одного небольшого городка в порушенной мировым потрясеннем послевоенной Германии. Вот его суть...

— Я — король, — предстал пред очами офицера невзрачный, тщедушенький такой человек.

— Коро-о-оль?? — привстал офицер, зная монархов дотоле лишь по романам Дюма.

В самом деле, это был не опереточный — настоящий король, из 1918 года, бывший владелец всех этих земель и замков.

Не обладая монархическим складом мышления, но располагая определенным тактом и человечностью, представитель армии-победительницы принял участие в судьбе королевской чсты. Помог обрести им средства к существованию, так сказать, приватизировать шляпную мастерскую. И как-то посетил своих протеже — пожилых немцев, их магазинчик.

— Кажется, вы говорили, ваша жена шатенка? — спросил важно король.

— Да, — кивнул офицер.

— Амалия, — обратился король к королеве, и та услужливо приоткрыла шляпную коробку. — Это как раз то, что нужно вашей супруге.

Растроганный офицер прошел с коробкой до самой двери.

— Герр офицер, с вас пятьсот марок, — остановил монарх его на пороге.

Немая сцена, тушите свет! Да, вот что такое Евро-

па, рынок, Германия — этот «шляпный король». И вот что такое Восток, Россия — этот наш офицер, который как встал, так и стоял бы столбом до сих пор, если бы не пора было, наконец, возвращаться вместе с частями домой...

— А вот, — сказал я жене, — фактик из нашей, местной действительности. И хотя, конечно, мы не короли, не Николаи Семенычи, но также в некотором роде воители, герои нашего времени.

Это я о братьях-писателях и писательской организации, поселившейся не так давно в новом особняке старой постройки в Орле, на Дворянском гнезде.

— Так вот, зашел я дня три тому в писательский особнячок. И вижу: на полу, у самых ног, в тяжелом багете, три портрета великих писателей — Толстой, Лесков, Бунин. И шум, гам в помещении, не рынок — базар, как всегда.

— А было пять, — говорю я со знанием дела.

— Маяковского с Куприным писатели растащили, — объяснил мне тогдашний Руководитель.

— А этих что, не успели? — глянул я выразительно на трех богатырей, оставшихся после экспроприации.

— Этих тоже подготовили к выносу... Вон грехи его покрывать, — кивнул Руководитель на прозаика Долинина.

Тот, как обычно, зареготал по-жеребчиному и попятился. Лягнул каблуком маленько Толстого, зацепил легонько меня.

— Толстого захотел стоптать и Толстого? — съехидничал я.

И какие грехи прозаика следовало покрыть? Только что звонили из района, и Руководителю пришлось извиняться перед председателем, извиняясь за первых лауреатов премии Блынского, которые денежки-то прикарманили, но палец о палец не стукнули, чтобы выполнить обещание. Это насчет помощи с открытием музея на родине поэта.

— Я приеду, я напишу о вас очерк! — кричал в трубку прозаик Долинин.

— Мы приедем, вы будете довольны, — перехватывал Руководитель инициативу. — Довольны будете, Борис Владимирович...

— Владимир Борисыч, — доносилось из трубки.

— Э, Владимир Борисыч... мы готовим вам достойный подарок.

Этим «достойным подарком», призванным заткнуть, так сказать, «брешь» в творческом союзе труженников села и первых лауреатов, и должны были стать эти самые литературные портреты.

В новом помещении потолки вроде бы низковаты, великие не вмещаются, вот их взяли и списали. Хотели еще и стол дубовый, за которым заседают «рыцари полукруглого стола», подвести под ту же строку, но тут женщины из аппарата восстали. Давно здесь сидят. Так привыкли к реликвиям. Списывали портреты — ветхость вообразили. А когда списали да узнали, что Маяковского унес домой первый лауреат, жалко добра стало. И все согласились: лучше уж подарить будущее музею, лучше Блынскому, чем этим... живым...

Глянули всем коллективом, а портреты, действительно, старые, блеклые, как такие дарить? И прозаик Чижов внес конкретное предложение: прежде обратиться к художникам-энтузиастам Юре Козленкову и Рачику Осипову:

— Эти ребята черта своротят. Да-да, под Рафаэля сработают... да-да, Блынского уважают, для Блынского все исделают, да-да-да... на шефских началах...

И вот портреты только что из-под кисти вернулись в писательский особняк. Между тем творческие муки терзали душу Юры Козленкова и Рачика Осипова в их художественных мастерских. Даже краски на натюрмортах просохли.

**Вам возвращая ваш портрет,
Я о любви вас не молю-ю-ю...**

Портреты они возвратили. Но критическая ситуация сама собой не рассасывалась. И тут ангелы с неба послали им еще одного небожителя в виде Чужова, писателя.

— Есть предложение!

— Нет возражения!!

Через полчаса прозаик Чужов подкатил к ответственному Руководителю как посланец народа:

— Ребята пришли.

— Ну и что?

— Как что? Кто сейчас за здорово живешь что-либо

делает? Рынок же, рыночные отношения. А тут художники, генофонд нации все же...

— Амчанина тебе во двор, пусть платят первые лауреаты! — отрезал было Руководитель как прозаик, но тут же скис как фигура, зависящая от выборов.

И согласился оплатить труд художников. И вот вам в конце концов «королевская шляпа». И вот один, другой, третий — «литературные портреты». И это еще до того было, как писательская организация расщепилась, будто амеба, на две далеко не равные части.

И вот, пока они едут на родину поэта — первые лауреаты, мне видится там, в «Заветной мечте», председатель. Заинтригован до крайности, поджидая братьев-писателей. Вот они подкатывают к правлению. Сдерживают с багетов простынку — смотрите!

— Пардон, но где же Блынский?! — воскликнут, возможно, Владимир Борисыч, а за ним и все остальные — земляки поэта, труженики села.

Ну что им на это скажешь? Может, такое?.. Вот они, классики, а то они — их живые наследники. Народ ангажированный, откликающийся. Один в таком смысле все выражался: у меня это, да, заветная мечта — премию Блынского получить. А потом еще сильнее выражался: да-да, заветная мечта — Бунина получить... да-да-да, я второй Бунин, но тот, какой еще в молодости, в неопытности...

А теперь вот и к третьей букве «Б» подбирается. И кто бы это еще на «Б»?.. Ах, Брюсов, Блок? Но эти уже не земляки, земляков на «Б» больше нет... Бодлер? Заграница. Бельмондо?.. Вообще не из той оперы... Ну что делать? Либо букву менять, либо заветную мечту к чертовой бабушке...

— Герр офицер, с вас пятьсот марок, — остановит Бунин лауреата. — Как за что? А за «шляпу» в виде оскорбления моей личности, за имитацию — за второго «Бунина» надо платить...

Да-да, вот что такое рынок, «шляпный король», и эти портреты.

А багеты висят, пусть висят, стенки не провисят. Мертвые не кусаются.





Все восемь лет в школе Шурик Дрынкин проторчал на «камчатке». А когда стали всех выпускать и все собрались куда-то бежать из своих Синих Двориков, Шурик буркнул себе под нос, что никуда покуда не собирается. И тогда вдруг учителя стали хвалиться им — перед всеми, перед всякими начальниками, перед одним каким-то даже с перевязанной щекой из районо, даже перед друг дружкой. Какой он у них сознательный, умный да передовой! Не олух царя небесного, как раньше, не баламут, по каким колония плачет, а лучше отличников. Завтра в школе будут вручать свидетельства, и он, Дрынкин, должен будет сказать что-нибудь по этому поводу...

Шурик ввалился во двор, швырнул сумку под насест курам, взял в хате на подоконнике косоватый осколок зеркальца — из туманной серости вытарасился на него безбровый, какой-то облезлый пацан, нос с красноватыми подкрыльями. Шурик хмыкнул, подмигнул своему отражению и решил устроить праздник себе — пирушку. Пошарил рукой за иконой, достал туго замотанную картонную коробку.

Заявилась с огорода бабка, учуяла — малый конфеты жует, качнулась к иконе, бумажными пальцами перешелестела. А какая ей разница, бабка-то слепая, лишь бы по штукам сходилось. Бабка тут же и успокоилась, но все же спросила с ехидцей:

— Чего это ты, Шурк, конфеты по зря, без чаю жрешь?

— Премия, — отмахнулся от нее Шурик. — В школе выдали за успехи и примерное поведение... Во конфеты! В бумажках. «Полет» называются... Лети, гырят, ты, Дрынкин, от нас на все четыре стороны. Мы тебя выучили, а теперь ты лети.

— И куда вознамерился? — покосилась на него старая и украдкой сунула за пазуху четыре конфетки. — Вон Витька Гундосик, дружок твой, к геологам подается.

— На автобус иду, — запихнул Шурик в рот себе тоже сразу четыре конфеты. — К бате с мамкой ска-таю, спрошу, что в школе хоть мне говорить. А то при-стали, держи, Шурка, речь да держи.

Шуркины родители уже два года, как не жили в Си-них Двориках, перебрались в районный городок, где и работали на элеваторе. Похвала учителей смутила Шу-рика. Может, и вправду есть в нем что-то такое — выдающееся, а чего же тогда двойки все годы ле-пили?

Шурик потянулся к печурке, достал заветную свою похоронку — часы. Отцом подарены. Завернул в тряпи-цу и эти часы, и оставшийся троячок и все это сунул в карман.

В городе дул жуткий ветер, секло жестким песком. Шурик медлил выходить из автобуса, а когда вышел, прямо перед собой увидел парня лет двадцати пяти — в расстегнутой на животе малиновой рубахе, в тупоно-сых матерчатых туфлях.

— Ты у меня, падла, часы украл? — взял парень Шурика за грудки. — Мы с тобой вчера пили, — пояс-нила малиновая рубаха.

— Сроду ничего еще не спирал, — оробел Шурик.

— Сроду не спирал, а у меня спер, — сказал парень и приказал: — Идем-ка за угол.

И повел Шурика в столовую при автовокзале.

— Садись, — сделал парень широкий жест. — Будем пить чай. За мой счет, за твои деньги.

Батины часы жгли Шурика.

— С чего ты взял, что я спер? — после первого глотка осмелел Шурик.

— Часы-то? — усмехнулся парень. — Да вон они у тебя в тряпочке, в заднем кармане.

Шурик чуть ли не поперхнулся.

— Да знаю я вас, деревня, во как вижу! — озлился парень. — Видал? Во! — снял парень фуражку и обна-ружил при этом наголо остриженную голову. И вдруг ни с того ни с сего стал расспрашивать про Шурикову деревню.

Шурик рассказывал, а сам думал: знаем мы вас, тюремщиков, пальцы вам в рот не клади. И рассказы-вал про самое неинтересное, как у бабки вчера сдохла зашибленная бараном курица и что завтра им выдадут в школе свидетельства и ему держать речь.

— ...а все восемь лет просидел на «камчатке», — вздохнул в конце концов Шурик.

— А я здесь у вас в Шахово... три, остальные простили, — ответила малиновая рубаша. — Меня Плугом зовут, я же землю пахал. В передовых ходил. Делегации всякие — с каждым выпей, пить научили. Трактор в соседнюю область за бутылку махнул...

— А мне завтра слово дадут, — вздохнул Шурик. — Говорят, ты в школе у нас передовой, а сами держали весь век на «камчатке».

— Ну и скажи ты им пару теплых, — хлопнул Плуг его по коленке. — Я вот чего надумал: а не переночевать ли мне у тебя в Синих Петушках...

— В Двориках.

— ...в Синих Петушках.

— Конечно, можно, — сказал радостно Шурик.

— Слушай сюда, — положил Плуг на плечо Шурику чугунную лапу. — В общем, все речи пишутся так. Перво-наперво международный вопрос, как мы выглядим, понял?

— Понял, — шмыгнул посом Шурик.

— Ладно, понятливый, — сбил парень кепку себе на затылок. — А теперь вези к бабке в свои Синие Дворики.

Бабке Шурик сказал, что это, мол, батин дружок, вместе с батей работает на элеваторе, приехал сюда порыбачить. С утра они торчали на речке, после обеда собрались в школу. А в школе все еще гостевало сельское руководство, тут же ходили начальники из города, может, и не уезжали домой после вчерашнего. Девки из класса — прониры такие — развели у уборщицы тети Клавы, что документы заполнили еще вчера и что Шурика Дрынкина перепутали с Александрой Дрынкиной, отличницей, поставили ему в свидетельство не его, а ее оценки. А ей тогда хотели поставить его, нехорошие оценки, но классная руководительница Элеонора пришла как раз, раскричалась, что ж вы, дураки, делаете. Вместе начали думать-гадать, как же выйти из положения, махнули рукой, ладно, мол, Александра всегда была исправного поведения, эта смолчит, а вот как быть с этим чертовым Шуриком. И тут выбежал от гостей директор Сергей Петрович: да ладно вам, не мелочитесь, пусть Дрынкин у нас речь держит, раз уезжать из деревни покуда не собирается...

Шурик вошел в торжественный класс, Плуг держался за ним.

— Вы к кому? — подлетела к Плугу Шурикова классная руководительница, вся раскрашенная Элеонора.

— Кореш я вот его, — отодвинул плечом он Элеонору и прошел в первый ряд.

Элеонора подсела к Шурику с другого боку, сунула в руки ему тетрадный лист, зашептала на ухо:

— Это тебе читать.

Плуг перегнулся через нее, взял у Шурика лист, пробежал глазами:

— Это мы с ним читать не будем.

— Как не будете! — вспыхнула Элеонора.

Председатель держал речь. Он говорил о делах хозяйственных, решенных и еще не решенных вопросах. Вобрав голову в плечи, парень в кепочке косился на Элеонору. А в окна веяло ветром с полей, привычным запахом солянки, стрекотом трактора «Беларусь».

Наконец, на трибуну вызвали Шурика Дрынкина. Шурик повертел-повертел листик, уткнулся в него, начал читать: «Мы, учащиеся... э... нашей Сине-Двориковской школы, как и всех школ района... э... все, как один, решаем остаться в родном селе, чтобы... чтобы... этими молодыми, этими золотыми...»

— Нет, дальше читать мы не будем, — шагнул Шурик к столу и положил листок. — Перво-наперво надо про международный вопрос. — Парень в кепке с первого ряда кивал ему утвердительно. — Вот он, — показал Шурик на парня, — что вы думаете, тоже ездил на тракторе. А бабка наша ругается: соколики ясные, на тракторах ездите, в космос летаете, а со свеклой ни черта не справляетесь...

— Да, механизуем, механизуем. — приподнялся из-за стола президиума председатель.

Повскакивали учителя, Элеонора махала Шурику: давай слезай, уходи! Сергей Петрович, директор, показывал в дальний угол властным перстом:

— Давай, Дрынкин, к себе туда, на «камчатку»!

И тут загалдели ребята, зашумели родители. Перекрывая гам, раздался зычный голос парня в малиновой рубаше, из первого ряда:

— Одобряю Дрынкина, верно!

— Да вы кто, откуда? — подскочил к нему школьный директор.

— Я? Оттуда... Механизатор широкого профиля, очень даже широкого... Ша, наездился, сыт по горло. Дайте мне хоть какой-нибудь тракторишко... — Голос парня осип, сбилось дыхание, он повернулся к директору. — А парнишку не троньте, зачем вы его? Все на «камчатке» держите, все двойками давите, у него же душа...

— Подойдите с утра в контору, — отозвался из президиума другой председатель, какой повыше, — районный.

Со свидетельством на руках Шурик Дрынкин двинулся к выходу, в бумаги и не заглядывал, знал: оценки особым разнообразием не отличаются.

— А ну покажи, — остановил его в дверях бывший механизатор. — Ого! — воткнулся он в гербовый лист и перевел взгляд на Шурика. — А говорил, на «камчатке» держат, замучили двойками.

Шурик глянул в свидетельство и остолбенел: по всем предметам сплошняком стояли пятерки.

— Что — амнистия нам с тобой, братец? — рассмеялся новый приятель Шурика. — За все разом простили?

И тут же, изловчась, ухватил за бок промчавшуюся мимо раскрашенную Элеопору. Ветер с полей лихо трепал Шуриковыми пятерками.





Завтра чуть свет на рыбалку. Потому ночью у дружков Клопа и Римки, близнецов-братьев. Они как две капли воды: крепыши, лицом в луну, почти без ресниц. Правда, если приглядеться, Серезка весь в конопатинках — «клопяных семечках», одним словом, Клоп. Римка немного помельче, худее, сговорчивее, подбрее. Мы лежим на рядне, под рядом солома, лежим под открытым небом в раскуроченной машине-броневичке. Лежим и считаем звезды. Броневичок-«козел» уперся носом в сарай и зарос лопухами: он полагается Римкиному и Серезкиному отцу — инспектору по каким-то там заготовкам.

Вон их батя, больше всех слышен в открытую дверь. Сегодня его провожают на пенсию. Эх, как рванет: «Когда б имел золотые горы!» — так весь базар за столом и смолкнет. А после трень-брень, трень-брень стеклом по стеклу. Кто-то, спасибо, догадался захлопнуть дверь — тут же далеко забрехали собаки, загудели, зашелестели ветки в саду, заморгала Большая Медведица...

— Эй вы, лодыри-гладыри! — гремит кто-то над ухом. — Вставай, собирайся на рыбалку!

Иерихонская труба, дядя Вася.

Рассвет едва брезжит. А Клоп и Римка уже стоят навтыжку перед своим «уполномоченным отцом».

— Руль куда, чертенята, дели? — гремит батя. — Вчера еще был, а сегодня уж нет. Чем я буду отчитываться, олухи царя небесного?

Клоп и Римка стоят не дыша.

— Римка руль оттащил кузнецу, — шмыгнул носом Клоп. — Тот машину себе собирает.

— А кто баллон на рогатки порезал? — вспылит Римка.

— Да что ты детей обижаешь! — выскакивает на порог Римкина и Серезкина мать — непричесанная, прямо в халате.

— А-а, — машет рукой дядя Вася и, шагнув к две-

ри, чуть не сталкивается с выходящим из нее дядькой — длинным, тонким таким, как слега.

— Ладно, Петрович, не хлопочи, — басит благодушно дядька. — Поедем на моем мерине.

Пока запрягают мерина, я рассматриваю дядин Васин «козел». С позапрошлой осени, когда привезли да бросили, его не узнать: фары выбиты, колеса до половины в земле, ни стекол, ни дверей...

Братья-разбойнички, как мыши, сидят на дрожках позади всех. Екая селезенкой, мерин трусит по разъезженному проселку, на ходу справляя большую нужду, из-за маленькой стоит долго, терпеливо, прижимая уши. Резко бьет потом, бока у мерина отсырели, над ними начинают виться крупные мухи, овода. Лишь изредка мерин покручивает коротким темноватым хвостом да вздергивает такую же темной гривой. Мы едем навстречу алеющей полоске у самого горизонта, она все крупнее, загорается ярче, воздух прозрачнее, зато мутнеют в придорожье будылья лебеды, шиповника; поля навстречу бегут и бегут; мы едем на речку, на выселки, к этому дядьке — длинному, хилому, солома в поясе, вот-вот переломится; едем на Майскую Зорьку. Дядя Вася на руководящем месте, с вожжами.

Слега сидит рядом.

— Н-но, гнедой! — сдергивает мерина после малой нужды дядя Вася. — Не застаивайся, работай. Оправдывай, милай, кормочек, оправдывай.

Дрожки трясет раздраженно, вызванивает чека.

— Едем и едем, — не выдерживает чужой дядька. — Все гнедой ему да гнедой, а какой он гнедой?

— А какой же он тебе? — поворачивается к нему дядя Вася.

— Игреньевый, вот какой.

— Ну да! Я тебе гнедого не знаю. Коричневый корпус при темном волосяном покрове ног, гривы, хвоста.

— Да какой же он темный — дымчатый.

— Ну да! Ты грамотный, ты все знаешь, а я нет. Техникум когда-то кончал, век в сельском хозяйстве...

— А конь не гнедой, а игреньевый, Василь Петрович. Ясно вам? Игреньевый. Вон грива и хвост дымчатые. У нас на конюшне таких еще три. А если темные грива, хвост, ноги при желтом корпусе, то буланая масть. А если желтый при белом хвосте — соловый. Вороной с рыжими подпалами — значит, каракровый...

— Ну да! Ты мельник и ты в лошадях профессор,— крупное лицо дяди Васи краснеет. — А я, извините, дальтоник: темного от дымчатого не отличу, и все, заметь, на руководящей должности, и я неграмотный, я ничего не знаю.

— Может, в железках, машинах то исть, вы и разбираетесь, — уклонился от спора Слега-Соломинка, — а в лошадях вы, извините, ни бэ ни мэ.

— Ты — мельник и ты профессор, а? Ты думаешь, что говоришь!

— Да что ж я, лошадей не видал? В молодости, Василь Петрович, я был не мельником, а жокеем. По ипподромам раскатывал. Мерин-то мой гнедой, а не игреневый, тьфу ты, господи, наоборот! А вы и вожжи-то держать не можете.

— Нá, руководи! — сверкнув глазами, дядя Вася бросает вожжи на колени хозяину.

И опять едем, но уже побыстрее. «Гнедой-игреневый» почуял руку: чека вызванивает веселее, протяжнее.

Спускаемся к мельнице. Подходит народ:

— Ефим Матвейч, молоть новину будете?

— Не видишь, — начальство привез! — раздражается мельник.

Гремит замшелый сток, падает вода с зеленых досок в бучило. Дед один давным-давно мне рассказывал: главное в этом деле — вода. Со всех полей стечет, изю всех ключей вытечет и сюда, в речку, а из речки на лопасти, завертит-закрутит то один, то другой камень — вальцовочный, крупорушный. Вот так попади меж камнями рукой — перетрет, перемелет. Как ссыпят в ларь зерно — новину, так из желоба током бархатная, блинная мука или же поглубе, а то и вовсе битое, «драное» зерно для свинофермы. Потечет в ларь просо, гречка, а из желоба — крупа в мешок толстопузый, а из мешка — в котелок и на кашу. Была новина, было зерно — нет новины, перетерли и съели... Хотели, говорят, переводить мельницы на электричество, да пока — рассудили — водицы хватает, пусть работает.

Гремит сток над ветлами, падает обломно вода в кипящую прорву, в бучило. А у стока сидит деревенский дурачок в газетной пилотке, с выщипанной бороденкой, рядом с ним стопка учебников ботаники. Ребяташки бегают вокруг и кричат:

— Булим, а Булим! Час горбачим, два едим.

Булим отмахивается от них, словно от мух, сломав лозину, сдергивает с нее узкие листья, кидает в течение, следит, как тянет их под колесо, швыряет струей в бучило; уставившись в него, Булим что-то бормочет: жалуется воде. Дня четыре назад утонул в бучиле учитель ботаники, все обшарили — не нашли, позвали его, Булима, — лучшего ныряльщика. Пообещали одно, а дали в десять раз меньше. Купил он ученикам вон сколько книжек, а они толкаются, дразнятся, читали бы лучше ботанику.

— Боле не буду таскать мертвяков, — вздыхает он горько, — нехай себе там в воде и сидят.

Из дверей мельницы с пузатым мешком под мышкой показывается дядя Вася, швыряет его на дрожки.

— Сгодится курам, — подмигивает нам он.

— Прокурор, говорят, в правленье проехал, — отрывается от своего дела Булим. — Не наш, откуда-то присланный.

— Не твое дело, дурак, — появляется на пороге мельник и отряхивает от мучной пыли руки. Только сейчас, как следует, и разглядел всего. Брови косматые, какие-то блеклые, щеки бархатные — от муки, что ли? Да, длинен и нескладен, с загребастыми, по колени, руками. Хлопчатобумажный пиджачок висит на нем, как на палке, правый сапог с пятки стоптан до голенища — косолапый какой.

Мельник кладет рядом с Булимом ковригу домашнего, духовитого хлеба и, кивнув нам, движется стежкой на камыши. Мы должны срезать путь: пересечь камыши, выйти низиной на закраек села, к мельниковой хате.

Движемся гуськом, затылок в затылок. Солнце уже высоко, без движения воздуха в камышах нечем дышать. Топко в трясине. Все мелькает правая пятка, стоптанная до голенища. Вильнула по стежке налево, вильнула по стежке направо — ловкая, неутомимая. Дядя Вася без конца перекручивает портянки. А мельник все наддает, наддает ходу.

— Ишь, тяжко ему, — ворчит он под нос себе, — пуза здорова стала. Бредень дай да еще, скажет, в речку лезь, а на кой мне такая мелодия? Мой мерин гнедой стал — это ж надо, а? Всю жизнь был игреневый, а теперь ему, значит, гнедой.

— Чего там бормочешь? — гудит сзади Иерихонская Труба.

— А ничего, — бодрится Мелодия. — Как сказал Пушкин, и тяжело и грустно в родной стороне.

— Лермонтов это сказал, Лермонтов! — кричит сзади Римка.

Камыши неожиданно обрываются, мы почти упираемся во внушительное, поднятое на фундамент, пятиоконное, под железной крышей строение — мельников дом.

— Бредень давай, а то прокрутились на мельнице, по холодку не успели, — садится в тень клена дядя Вася и опять крихтит, переобувается — стер окончательно ногу.

Хозяин гремит на веранде, похоже, кружкой о бачок, исчезает надолго, появляется с бреднем. Ведет нас теперь куда веселей, без конца похохатывает, а идти особенно некуда: тут же за огородами и знаменитая Акулькина протока.

— Как сказал Пушкин, — сбрасывает бредень с плеча Мелодия, — вот оно и место нашего прилунения. Здесь, у осоки, когда карась на бой идет, жутко стоять — кишмя кишит.

Вода холодна, обжигающая, ключами сочится весь берег. Течение развевает водоросли, уводит взгляд в донную темноту. Акулькиной протоку называют давно, с той поры, как сестрица с мужем утопили тут приживалку Акульку. Заткнули рот, в мешок ее и сюда, под ключи.

— Ты давай там, руководи, — кивает мельнику дядя Вася и, крихтя, садится в тенек под ракиту — снова переобуваться.

— Вы давайте там, располагайтесь, — машет мельник нам на протоку и ворчит под нос себе: — Ключи ледяные, еще чирьи высыпят, а на кой мне такая мелодия?

Он поднимается на бугор, привалившись спиной к камню, сидит, смотрит сверху — на нас, на приречную луговину, всю в татарнике и конском щавеле, на усадьбу свою, на все выселки — дворов семь на закрайке села, на всю свою Майскую Зорьку. Взяв в зубы веревку, мы с Римкой плывем на ту сторону, на ключи, Клоп заводит бредень с этого бока. Переплыв, крутимся у куста, сидящего наполовину в воде. Хитер же окунь, так и ищет лазейку. А голавль тот еще хитрее: видит сеть и суется между нею и берегом, даже на берег вы-

скакивает. Римка таскает голавлей из ила, из-под ко-
ряг и бросает на траву. Попрыгав на траве, они угора-
ют, вытаращившись одурело на солнце, пижние пла-
вники блекнут, зато серебристые бока начинают отли-
вать розовым. Окуня загоняем обратно в его стихию —
усатые водоросли, поднимаем бреднем его повыше, к
карповой залежи. Залечь эту мы почувствовали тогда,
когда несколько рыбин перемахнули через край сети и
плюхнулись у нас за спиной.

— Уходи! Держи бредень ближе к краю!! — кричит
нам дядя Вася и бегаёт, мечется по берегу. — Гони ее,
Серег, на бредень. Болтом, болтом гони! Да вставай,
иди.

Клоп лежит на траве и не думает двигаться — за-
мерз, говорит. И правда ведь, покрылся гусиной кожей,
трясется весь. Римка наступает на что-то скользкое и
падает, конец бредня выскальзывает из рук, уносит те-
чением.

— Раззявы, — спускается с наблюдательного пунк-
та Мелодия и снимает штаны, обнажая белое тело.

— Видал! — кричит он через минуту радостно. —
До чего хитра бестия: носом в ил да под бредень, под
бредень. А Мелодию, брат, не обманешь, Мелодия сам
десять раз кого хошь.

Вскоре он подводит свой конец к нашему, подтяги-
вает мошну к самому берегу, выволакивает на мель.
Мы уже чувствуем: в бреденьке что-то есть. Мошна
пахнет резко и остро: гнильем, ржавым железом, ры-
бой. Первыми в речку вымахивают лягушки, затем спох-
хватываются карпы, но летят не в воду — на берег,
чмокаются, ухают грузно, один в один, сытые, каждый
ладони по полторы. А вот золотистый сазан. Краснопе-
рые окуни суются полосатыми шершавыми боками в
зеленые водоросли. А с ершами просто беда — расто-
пырились, не выдерешь из бредня, искололи все паль-
цы.

Дядя Вася делит улов: тебе — себе, тебе — себе,
себе — себе, тебе — себе, себе. Последнего самого круп-
ного карпа кладет тоже себе. Мелодия только посмеи-
вается в косматые брови, объясняет охотно:

— Здесь, в нашей речке, рыба с верхних прудов.
Там она слабо держится: то замор подо льдом, то пень-
кой ее. Так она весной вся сюда, в Сучью — и глубоко, и
проточно. А все наша мельница, все плотина. Улов этот?

Для хорошего человека, Василь Петрович, не жалко. Знаем, сколько взято, знаем. Да и плотину скоро чинить, спускать воду.

Возвращаемся той же стежкой, луговиной, межей к дому мельника. Меняя плечи, тащим с Римкой отяжелевший бредень. Клоп и тут объехал нас: напросился нести ведро у Мелодии. Основной улов в руках дяди Васи.

Дядя Вася сбрасывает ношу под клен. Мелодия передает свою долю жене.

Проходим в прохладные, с потолком, сенцы. У двери, справа, бачок, хозяин прикладывается к нему мимоходом, одобрительно крякнув, ступает дальше, в переднюю. В горнице уже накрыт стол. Выделяется исходящая паром на огромной сковородке картошка, в тарелках мощные перья лука, яйца и помидоры, желтеет горка блинов, в двухлитровой стеклянной банке на окне светится мед.

— Кушайте, дорогие гостечки, кушайте, — суется старушка. — Медок свежий, дня три как качали.

— Ну-ка, мать, нацеди медовухи, — приказывает Мелодия.

Старуха долго гремит на веранде, все терпеливо ждут, не начинают. Наконец, она появляется с алюминиевой кастрюлей. Ставит на стол, хлопчет, наклоняется на ухо к дяде Васе:

— Говорила-то председателю: где коров прогонять в луга будем? Агрономша взяла и засеяла. А теперь зелеными нельзя гонять, надо кручей, раздерутся коровы.

— Ладно, мать, — поднимает кружку хозяин. — Как сказал Пушкин, пей и ешь, пока рот свеж. А как завянет, ни на что не глянет. Ваше, Василь Петрович, здоровьице.

Полное молчание. Только поскребывают ложки о сковородку, тарелки да работают челюсти.

— Рыба, разве же это рыба? — нарушает хозяин молчание. — В мою молодость здесь ее центнерами брали... Всякое дело надо уметь, да. Помнится мне, приехал один с разрешительной бумагой на Сучью. Десять тонн на Акулькиной протоке сделал, а поймал ерунду. Только воду замутил. За ним Антон, прежний мельник наш, пошел по мутной водичке — воза полтора взял. Так они как схлестнулись. Тот, с бумагой, на мельника: ты

мою рыбу забрал, ты супротив печатей. А Антон ему: мокрое дело мне не пришивай. Рыба, что она тебе, молодайка? Целовать ее, что ли? Целую, если сама ко мне лезет.

— Скажешь тоже, целовать, — краснеет, давится от смеха дядя Вася. — Целовать, тоже мне, понимаешь, бр-р, холодную, склизлую.

Кастрюля уже наполовину пуста.

— Да вы не стесняйтесь, — нацеживает еще дяде Васе Мелодия. — Божья пчелка в этом году нас не обижает, помаленечку носит. Да я вам еще и с собой положу... На моем игренево, бабка говорит, в Подкопаево к тестю уехали.

— На каком игренево, на гнедом?

— На игренево, в Подкопаево! Мерин-то мой, Василь Петров, старый. А под старость масть иные меняют, например, серые становятся белыми...

— Ты мне зубы не заговаривай, — трезвея, смотрит на него дядя Вася. — Как же я все поволоку? Ты мне своо гнедого представь.

— Как сказал Пушкин, при всем уважении к вам, — трезвеет теперь уже и Мелодия, — вы меня, Василь Петрович, обижаете. Конь-то гнедой, а не игрневый, то исть игрневый, а не гнедой. И представить его не могу: ушел в Подкопаево.

— Заявляю со всей откровенностью: гнедой. Гнедой, понял?!

— Это вы своей босоте рассказываете, а я был жокеем. По ипподромам раскатывал.

— Ну и дурак, — горячится дядя Вася, — а гнедого от игрневого не отличаешь.

— Это вы... Это ты... Василь Петрович, дурак! — вспыхивает Мелодия. — Я покамест в своем уме, в своем доме. Слышали про метод субординации: сегодня ты начальник, я — дурак, завтра ты начальник...

— Да ты что, с цепи сорвался? Я — дурак, да? В дверь туда-сюда, сто раз мимо бачка и все причащаешься. Да где ж тебе, дураку, трезвым быть?

— На свои пьем, трудовые, не то, что иные, некоторые.

— Это ты на кого намекаешь? — теперь густо краснеет дядя Вася. — На кого намекаешь?

— А то на кого ж. Вы на понт меня не берите. Привык горлопанить. Стерлись зубки-то: кого вчера прово-

жали на пенсию? Думаешь, у нас тут на выселках дураки одни, да?.. Гнедой ему, а не игрневый! Ты бы, Василь Петрович, лучше бы за машиной своей углядывал. Спросят с тебя еще за нее, оттерпужишь.

— Ноги моей здесь больше не будет!

Дядя Вася летит пулей к двери — бежит мимо кле-на, к стежке на мельницу.

— Человека обидел, — ворчит жена вслед на Мелодию.

— А чего ж он? — огрызается тот незлобиво уже, как-то растерянно.

Незаметно проскакиваем камышами. Выходим к мельнице. У бучила все тот же Булим. К двери мельницы привален мешок, сняли с дрожек.

— Боле не буду таскать мертвяков, — говорит Булим дяде Васе, — нехай себе там в воде и сидят.

— Ясно, ясно, — отвечает ему дядя Вася и отходит в сторону.

Возвращаемся в городок по горячей, пыльной дороге на той же телеге. Дядя Вася постарел как-то весь, пригорбатился.

Солнце в самом зените — так ярко, болезненно глазу. Все высвечивается насквозь.

— Игрневый ему, тьфу! — поворачивается дядя Вася. — Нашел себе пару, а? — оборачивается он к нам. — Ну, мельник! Я т-те покажу, какой он у тебя, — игрневый или гнедой!

Уже перед самым городом дядя Вася спрыгивает с телеги. Ловит полной грудью ветер свободы — воздух с полей, деревенский, сам думает: «Ну люди, как распустились! Красные кони Петрова-Водкина...». Тут же, в своем дворе, он видит раскуроченную машину, и воздух свободы сжимается, сходит с него, как с проколото-го баллона. За все, братцы, надо платить, за все. Кабы своя была, а то ведь чужая — го-су-дарственная машина!



К станции со свистом подлетела утренняя электричка. На платформу из первого вагона посыпались блестящие металлические ящики, смятые от бесконечных падений. Это привезли орсовский хлеб в пристанционный магазин. И разноперый пристанционный народ — обходчики, грузчики, рабочие хлебоприемного пункта, просто жители — мужчины и женщины, дети и старики — скопом ринулись к ящикам. Ухватились каждый за свой ящик и по двое, а то по трое стали тащить их к тележке — грузной, вихлястой такой колымаге. Стоя поодаль, за всей этой процедурой наблюдала зав. магазином — женщина с такой же, как и тележка, грузной, усадистой фигурой. На ней была шерстяная серая шаль, обкрученная по груди, как вроде бы красногвардейскими пулеметными лентами.

Вслед за ящиками на платформу спрыгнул белобрысый молодой человек с бумагами в руке — документацией.

— Так, — сказал белобрысый, хлопая бесцветными, как у поросенка, ресницами. — Это какая же станция?

— Как какая?

Все оторопели от таких слов, услышанных от него, совершенно нового человека. Привыкли к экспедитору Ермилову — мужику кряжистому, хозяйственному, под годами уже, навроде ихней Акинтьевны — заведующей магазином. А тут этот жидкий — сопля, оглобля. Но голос, как и у всякого «бугра», зычный, привыкший к команде.

— А почему хоть «Акурок»? — глянул безресничный парень на «кокошник» вокзального здания.

Все подняли головы следом за ним и удивились: надо же, правда! Хотя уже с месяц несколько букв из названия выпали и кто-то из шутников влез на крышу и составил это вот слово, которое и являлось теперь названием станции.

— Бог мой, «Акурок»! — замечали уже больше месяца проезжавшие мимо в сквозных поездах, на элект-

ричках, но только не «акуровцы». Эти-то никогда ничему не удивлялись: ни тому, что часы станционные уже лет пять как показывают в сутки дважды правильно — без четверти не то день, не то полночь. Ни что половина сарая, полкомбайна тут же стоят раскурочены. Ни что яма на подъезде к вокзалу такая, что машине под крышу, а кого встречать — лучше уж приезжать на тракторе, понадежнее. Так вот ничему этому не удивлялись «акуровцы» — притерпелись. А тут — удивились: надо же, «Акурок»! Ну и что, ну и пушай себе...

«Акуровцы» было схватились за ящики, чтобы грузить по привычке и тащить тележку в магазин, где и будет им продан — уже официально — доставленный через систему рабочего снабжения хлебушек наш засушенный. Но новый человек, этот безреспектный, остановил зычным голосом горячий народный порыв:

— Погодите! Разберемся. Что-то мне первая ваша буква не нравится. Грамотно если — «Окурок».

Местные жители от косности потупили взор.

— Нет, это дело так не пойдет! — решительно сказал безреспектный. — Это надо поправить, какая-то анархия! С такой буквой станции быть не может... Давайте полезайте на крышу, исправляйте дефект.

— Да где же лестницу брать-то, — загудели голоса.

— Где хотите берите, — стоял на своем безреспектный. — А я отоваривать вас не буду.

— Черт знает кого прислали, — забурчали самые пожилые, заслуженные железнодорожные рабочие. — И откуда хоть ты такой на нашу шею свалился? Ермилов ездил, и было все хорошо...

— Ермилов уехал тещу хоронить и меня попросил, — сказал парень. — Съездий, говорит, Леш, Алексей Петрович... это он мне... Христом богом прошу... Что же людем без хлеба, что ли, от этого оставаться...

— Да-а! — закричала, запричитала самая толстая баба в серой милицейской шинели. — У меня хлеб подбилси-и-и, уж три денечка сидим без засушеньково-а-а..

— Врешь, два только, — поправлял ее рядом стоящий хмурый такой, длинный, тощий мужик с целлофановым мешком из-под удобрений. — Позавчера толечко брала, цельный мешок притащила.

— Не твое дело, баламут, алкоголик несчастный, пьяница! — тут же осадила его толстая баба. — Я пла-

чу деньги. Сколько хочу, столько и покупаю... рыночные отношения...

— Блат навел с продавщицей, — сказал ехидненько кто-то сзади. — Ей на лапу кладет.

И тут загудели все, загамели, готовые, как всегда у нас, к бессмысленному русскому бунту. Но тут уж вмешалась стоявшая на страже порядка продавщица, обкрученная шерстяной шалью, как пулеметными лентами.

— Да перестаньте же вы перед чужим человеком срамиться! — осадила она земляков.

А кто-то из ребятишек уже сбегал в соседний двор, притащил лестницу. И как свергали их, путали — все эти буквы, так теперь и водружали на место. — «Оурак». Все это было сделано мигом, пока тут шла перепалка.

— Так, — сказал безресничный парень, ощутив взором новое сочетание букв. — Хорошо-о! — кашлянул он в кулак для солидности. — Ну-ка, глянем теперь в документацию, что тут у нас?.. — И впился в соответствующие бумаги, трепещущие у него на ветру. — Ну-ка, ну-ка, — оторвал он свой взор от бумаг и поднял глаза на «кокошник» вокзального здания. — Что же это такос? «Оурак», а тут у меня значится как станция назначения груза «Куракено»... Не сюда попали, граждане, извиняюсь...

— Да сюда, сюда, — раздалось голоса, вмешалась и сама продавщица: — Сюда-а...

— Акинтьевна, да куда ты глядишь! — подталкивала в бок своего завмага та баба, что была в милицеевской шинели. — Да ты вхожа всюду, как гвоздь...

— А ты что — в лесу, что ль, родился? — подступили к безресничному мужики. — Что станции нашей не знаешь? Да ее полстраны знает, кто — на Крым, на Кавказ... царь и тот знал...

— А я вот не знаю, — стоял на своем безресничный. — В лесу родилась елочка, я приехал к вам сюда из Сибири... Вам в три горла, значит, а соседней станции шиш с маслом?..

— Давай, ребята, грузи ящики на тележку! — командовал длинный, тощий мужик с целлофановым мешком.

— Ну-ну, осади! — оттолкнул его от ящиков безресничный. — Да ты кто такой?!

— Я? Почетный железнодорожник. Я всю твою Сибирь бесплатно туда-сюда... когда хочу... А ты кто такой, шмукодявка?! Что исделал хорошего для народа? От горшка два вершка... А я и БАМ строил, и на Железнодорожск тут путя пролагал...

— А я ответственен за груз! — оттолкнул его парень. — Мне поручено...

— Не отталкивай его, не отталкивай! Он же тебе по годам отец, — вмешалась Акинтьевна, завмаг. Солидность и с нее соскочила, и она стояла возбужденная, красная, как бурак.

— Отцы и дети, преступление и наказание, — констатировал парень.

— Акинтьевна, иди звони... зови участкового... опять эта интеллигенция, средства массовой информации...

— Ах, так? Сейчас вот обратная электричка, грузу ящики и назад в ОРС, а вы тут у меня оближитесь. Грамотен, «Акурок»! Газетки у меня почитаете... от корки до корки... Я — сибиряк! Мы, сибиряки, в войну Москву отстояли и вашу область освобождали. Нас на понт не возьмешь! Мой отец на пузе прополз вашу область от и до, а я приехал не куда-нить, а сюда к нему на могилку...

Пауза. Молчание.

— Так бы и сказал... по-человечески... — слышались голоса. А толстячая, в милицейской шинели еще и поинтересовалась: — А где ён у тебя похоронен, сынок?

— Под Алексеевкой.

— Где и мой, — вздохнула завмагом Акинтьевна.

— Земляк, — подошел к нему ближе длинный, тощий мужик, что с целлофановым мешком, наклонился и зашептал на ухо, но так, чтобы слышали все: — ...в гости ко мне... есть чем пока угостить...

— Не мылся к нему и ко мне, сынок...

Обстановка менялась прямо-таки на глазах. Потеплело что-то на улице. С востока, от Сибири, что ли, из широких просторов России, подул теплый ветер. Пацаны уж опять смотались за лестницей и уже ходили по крыше вокзального здания, составляли на «кокошнике» новое сочетание букв.

Поглядел на «кокошник» парень — «Курак...но». Соответствует документации. Правда, буквы одной не хва-

тает. Ну и хрен с ней! Этим парень, ладно уж, пренебрег.

И когда к станции подлетела обратная электричка, парень в нее не сел. Без него просквозила далее на Орел обратная электричка.

И на работе он отыскался только на третьи сутки. И некому было возить хлеб на станцию все это время, пока не приехал Ермилов, похоронив свою тещу. Но никто этого особо и не замечал. Всем давала в долг или просто так, под ей-богу, та толстючая, в милицейской шинели, наташив насущного до того домой к себе на целую неделю. И все эти три дня парень этот передавался со двора во двор, как выпел какой, как знамя какое переходящее, если вообще все эти дни он способен был как-то ходить.



БОТИНОК ОСИРОТЕЛЫЙ



Мужчина средних лет, уже с серебром на висках, постучал в дверь отдела писем редакции.

— Войдите, — сказала женщина — газетный работник.

Мужчина ступил за порог.

— Вот, — подал он махонькую вырезку из газеты. — К вам в поисках высшей справедливости.

— Так, «По следам наших выступлений», — важно прочитала женщина. — Действительно, было такое. Ну и что — меры приняты.

— А вы прочитайте и вдумайтесь...

И женщина стала читать вслух:

— «Гражданин Окомелкин сдал в ремонт в мастерскую № 5 ботинки. Один ботинок был при этом утерян. Гражданин обратился в редакцию, в мастерскую было направлено письмо, после чего ему была возвращена стоимость утерянного ботинка».

Женщина поправила золоченую дужку очков, строго взглянула на Окомелкина:

— Ну и что, собственно?!

— Как что? — стоял перед ней столбом Окомелкин. — А вы прочитайте, прочитайте внимательно...

— Чем вы недовольны, спрашиваю?! — сняла женщина золоченые очки и надела другие — с черной, специально для посетителей.

— Вот, — поставил Окомелкин ботинок прямо на стол. — Это что не утеряно. И вот, — положил он деньги рядом. — То, что дали мне за утерянный.

— Ну и что?! — закипая, сказала женщина. — Меры же приняты, деньги возвращены.

— Да, но всего на один ботинок.

— А вы бы чего хотели — на два?

— Ну а как же.

— Ну а вам-то один потеряли.

— Да один же не продают... Что ж мне ходить в разных ботинках?

— Слушайте сюда! Не морочьте мне голову. Что мне — милицию вызывать?

— При чем тут милиция! — сказал в сердцах Окомелкин. — Милиция голову вам не приставит.

— Конечно, — перешла женщина на тон помягче, все же газетный работник, — вы рассуждаете здраво, а как к делу, такой непонятливый... Если вы, лично вы потеряли ботинок, что ж вы, лично вы два будете отдавать?

— Ну, конечно.

— Ну, а если вы, например, потеряли пиджак? Что ж вам два пиджака отдавать?

— Пиджак — нет, а ботишка — два.

— Ну, знаете ли! Что у вас крыша, что ли, поехала? Или мне позвонить вашему начальству... Забирай свой ботинок и отваливай, дядя!..

— А где кабинет вашего редактора?

— А что редактор, что кабинет? Ух, какой упорный попался!

— А если вы потеряли голову... — с грустью вздохнул Окомелкин, — то она не ботишки... в одном экземпляре...

И развернулся к двери, уходить.

— Гражданин, гражданин! А ботинок, а деньги? — летело в спину ему.

— Подарите вашему мужу-у-у...

С того дня в отделе писем редакции ботинок — во-он где — висится на шкафу. А деньги кнопкой к стене приклеены. В знак исключительной честности и прозорливости.

Нам чужого не надо!





В Швеции прошел референдум, и она перестала быть, наконец, нейтральной. Шведы вступили, куда и все европейцы, — в ЕЭС (Европейское экономическое сообщество).

— Ну вот, — огорчился отец семейства, — теперь Швеция к 2000-му году останется без яиц.

— Почему? — насторожилась жена.

— А потому что потому, — отвернулся муж, глядя в окно просто на двор, а не куда-нибудь в Европу. — Потому что параллельно ими принят закон о содержании кур не в клетках, а в вольерах. Представляешь, сколько это им станет?

— Что же шведы — с ума сошли, что ли? — удивилась жена. — Оставить свою Швецию без яиц. Куда смотрит ихний король!

— А в Англии так и вовсе общество это по защите животных... Судили, в общем, хозяина за плохое содержание собаки...

— Нам до этого далеко, — рассмеялась жена. — У нас и права человека-то не выполняются...

Диалог этот состоялся вечером, после «Новостей-плюс», по программе «Останкино». А утром, когда муж пошел выгуливать Рекса — молодого, веселого пса, приобретенного специально для дочери Вареньки, чтобы она свободно, под его защитой, могла выходить и гулять по улице, к ним во дворе подошел человек. И вручил «черную метку»: штраф в размере двух минимальных окладов. Таково свежайшее постановление отцов города, принятое, как всегда у нас, под давлением общественности.

— Что ж мы делать-то будем? — ахнули дома родители. — Мы уж по два месяца сами зарплаты не получаем.

А окраина города, где они проживали, была, как нарочно, придумана для выгула всяческой живности: незостроенные пустыри, царство лопухов и крапивы. Это тебе не Москва, не Нью-Йорк, ни даже Япония. И вот

эта самая живность обязана была теперь нести тяжкое финансовое бремя или исчезнуть с лика земли. Как, например, яйца к 2000-му году в этой несчастной Швеции.

— Ну и что дальше? — заседал вечером семейный совет. — Отвезти собаку куда-нибудь, усыпить?

И Варенька расплакалась, всю ночь не спала, представляя, как в ветеринарной лечебнице длинной, страшной иглой будут усыплять ее друга — веселого Рекса.

Попробовали отвезти пса в деревню — прибежал через пару дней. Вспомнили, что в городе существует собачий приемник, служба такая. В отпуск ли уезжаешь, в больницу ли ложишься — плати деньги и будь спокоен. Так и сделали. Взяли и отвели туда Рекса, заплатили за месяц вперед. И справку получили, что не имеют собаки — для предъявления, чтобы не беспокоились.

А через месяц, думают, дела поправятся. То ли зарплату выдадут, то ли реформы пойдут куда надо. Но на той неделе стал безработным сосед, а на этой — и отец Вареньки. И то на Курилах землетрясение, а то Северную Осетию переименовали, как в древнейшие времена, в Аланию. А то и вовсе с Чечней началась заваруха... И Варенька ночи не спит, со страхом ловит по телевизору каждое слово. И каждый денек считает, когда же они пойдут выручать Рекса.

А вчера пришла веселая мама: получила, наконец, зарплату за целых три с половиной месяца. И говорит: а Рекса знаете, мол, куда я устроила?

— Ну куда, куда? — кинулась к ней измученная Варенька.

— Ни за что не догадаетесь, — посмотрела внимательно мама на папу. А потом и говорит дочери: — Я устроила Рекса... артистом на телевидении!

— Артистом?! На телевидении?! — аж запрыгала Варенька.

— Видите, реклама? «Педигрипал»... И пес каждый раз бежит по экрану и после ест корм специальный, собачий — такой сбалансированный, замечательный. Рексу там хорошо.

Теперь Вареньку не оттянешь от телевизора. Единственный, наверно, в стране человек, который так любит рекламу. Все подряд готова смотреть, дожидаясь, когда же, когда, наконец, побежит по экрану собака. «Рекс! — зовет она. — Рекс!» А он все не сходит с эк-

рана, а она все надеется, ждет. И смотрит, каждый день смотрит этот рекламный клип «Педигрипал».

— Только уши у него почему-то длинные, — замечает Варенька маме.

— Ну так время идет, подросли.

— И пятно белое на спине.

— Ну так это... что, отец?

— Специально для телевизора, — находится папа. — Гримируют Рекса, он же артист.

И теперь нет проблем с воспитанием Вареньки в «мире животных». Каждый день по сто раз пробегает по телевизору Варенькин Рекс. И бежит к ней, бежит ей навстречу, помахивая хвостом, прямо с экрана. Но, черт возьми, эту Швецию и Японию! Япония делает плоские телевизоры, из которых ничего не сходит сюда к нам с экрана. А Швеция создает себе кризис с яйцами, которые тоже, кажется, кладут в этот самый «Педигрипал». И, значит, Рексу и там, в телевизоре, скоро нечего будет есть.





Дело было давно, где-то после войны. Заметитель редактора районной газеты «За изобилие» Сероплеков Виктор Иванович — человек солидный, повоевавший, и молодой, еще необстрелянный литсотрудник Сережка Неведров возвращались из однодневной командировки. И на дармовщинку парезались. По причине весенней распутицы единображники колтыхались в двуколке, влекомой куцым редакционным меринном Васькой, и млели от взаимной симпатии.

— Вот ты мне скажи, наука, — затевал Виктор Иваныч серьезный такой разговор, — кто, по-твоему, хуже — Гитлер или Чай-кан-ши?

Сережка повернул во рту пересохший язык и выпалил, ни в какие ворота не влезет:

— Чан-кай-ши.

— Н-ну? — изумился Виктор Иваныч, устремляя на Сережку тяжелый такой, цыганистый взгляд.

Сережка понял, что попал не в ту степь, но, поворочав жерновами, решительно тряхнул рыжей башкой:

— Чан-кай-ши!

— Да почему хоть не Гитлер-то? — с сердцем выговорил Виктор Иваныч. — Ведь подумай: кто самый паразит на земле?

Васька тянул, двуколка падала в ледяные промоины, так и ухало в животе.

— Гитлер кто для народа? Самый главный вражина, — вразумлял юного друга Виктор Иваныч. Голова у того вяло взмахивалась на тонкой шее, но не вывихивалась почему-то, висела. Черные брызги из-под хвоста плюхались то на грудь, то на правую щеку под глаз вознице. — Сколько он крови из людей выкачал, а? Сколько книжек хороших пожег.

— Н-да, ихх,— икнул на ухабе Сережка. — А Чай... а Чан... кай-ши хуже.

— Да чем... чем хоть хуже-то? — уже чуть не плакал Виктор Иваныч.— Ить хуже быть-то не может! Гля,

шрамина какой, брюхо мне пополам расхватил, паразит.

— Это тебе его сателлиты, — стоял на своем Сережка. — А Гитлер в это время коньяк садил в бункере...

— Сателлиты! — огрел Виктор Иванович мерина Ваську вожжой. — А Гитлер что тебе? Правая рука не знала, что делает левая? А Дахау, Заксенхаузен, а Освенцим — всякие там лагеря? Где чужой да и свой народы мордовал он, кровопивец! И во времени кровь все жарче горит... Эх ты, деревня-матушка, хучь и с университетским значком. И чему вас там, в университетах-то, учат? Хуже Гитлера нет на земле злодея, нет!

Виктор Иванович сжал зубы, аж желваки побагровели. Ну да ладно, чего там. Не хлебнул хлопчик сам, все по книжкам...

Вертелись поля, перелески, в синих проталах плыли белые облака. Вот жизнь — ни тебе «мессеров», ни артобстрелов. Солнцу — радуйся, весне — радуйся, травинке, вон она выскочит скоро на солнце, — радуйся. Живи!..

Мерин тянул, двуколка падала в ямы, глухо ухало в животе.

— Нет, Виктор Иванович, — твердой рукой взялся за грядку Сережка Неведров, — а Чан-кай-ши все хуже вашего... ик... Гитлера...

— Давай отцеда, — решительно остановил мерина Виктор Иванович. — У тебя что — затемнение? Давай, давай, отцедова. — Всегда так, когда волновался, диалекты так и перли с его языка.

Слез с двуколки Сережка да и пошел себе по обочине. Смешно смотреть было, как на заду у него крутилась прилепленная грязью солома — виль вправо, виль влево. Лисий хвост. Спорщик нашелся, молоко еще не обсохло. А туда же, натуральный, с характером.

На подъеме Виктор Иванович тоже сошел с двуколки, пристроился к Сережке Неведрову.

— Чему хучь вас там, в университетах-то, учат? — откашлявшись, подал мирнее голос Виктор Иванович. — Знаешь хоть... кхи... что такое «нонпарель»?.. А «петит»?..

Виктору Ивановичу и самому «нонпарель» не так давно только перестала казаться женщиной с таким странным именем, зато «петит» до сих пор представлялся, как

урезанный «аппетит». Работал в начальной школе, пописывал, правда, в «районку» заметки. И тут нате: школенку закрыли, и вот он, Виктор Иванович Сероплеков, фронтовик бывший, орденоносец, старший лейтенант даже, подтирает теперь носы в редакции таким, понимаешь, как этот мальчишка Неведров.

«Тоже мне, Гитлер ему еще ничего, а вот Чай-кан... тьфу ты... а Чан-кай-ши, — тщательно выговорил про себя Виктор Иванович, — а вот Чай-кан-ши ему, видите ль, хуже... Тебя бы, сопляка такого, в окопчик на месяц в самый мороз! Да на бревнышко под пулеметы Днепр форсировать! Водички кровавой хлебнуть... Чего это я? — остановился он вдруг. — Чего это я несу? Он же мальчишкой ведь был еще... Интересно, а чем все-таки Чай-кан-ши ему хуже?» — снова вспыхнуло в нем ревнивое чувство.

— Почему хоть тот... с востока... хуже тебе, а не Гитлер? — спросил он опять же Сережку.

Виль соломинкой вправо, виль соломинкой влево. Ладно, черт хвостатый, садись.

— Почему Чай-кан-ши-то, а?

— Как почему? — уже сидя в двуколке, сказал Сережка совсем трезво. — А потому что Гитлер капут, а Чан-кай-ши еще жив пока. Сколько может еще наворочать.

Виктор Иванович молча врезал мерину левой вожжой: не мотай головой, знай тяни!.. Слышно было, как ухало в животе.

— Гитлеру крышка, — развивал свою идею Сережка. — Все, больше не наворочает. А чего могут натворить эти... всякие... понасажали идолов на нашу шею...

— Дык Чан-кай-ши на острове, а не на шее.

— Сегодня на острове, завтра на материке, — качнулся на очередной ухабине этот упрямец Сережка.

Двуколка опять просела в ухабину, и Неведров взял вожжи из рук Сероплекова:

— Отдохни, Виктор Иванович, дай-ка поруководжу...

А Васька тянул да тянул. Что-то ухало в животе. Поля покручивались по сторонам.

— Нет, не согласен я с твоей бухгалтерией, — снова вскинулся Виктор Иванович. — Дался тебе Чан-кай-ши. Других тебе нет параллелей?

— Другие-то есть, да вы с чего разговор-то начали? — Неведров ударил мерина правой вожжой: —

Н-но, милый!.. Да вы с чего разговор-то начали, помните? С Гитлера и с Чан-кай-ши.

— Что я беспамятный, что ли? — забормотал под нос себе Виктор Иванович. Ухала в ямы двуколка, бухало в животе. — Тоже мне деятель. И чему вас там учат? Вожжи не могут держать, прости меня трижды, господи...

— Ну да черт с ними, обоими, — говорил Сережка теперь уже примиряюще. — Чего нам ссориться? Нам вон еще сколько ехать: две речки, четыре моста. Чего доброго — с кручи где-нибудь сбросишь.

— Фарфоровый! Если сброшу — рассыплюсь. Да я молодым летал с этих мостов и не упомню сколько... До девок дюже охоч был... Ты хоть знаешь, как бегают до девок в другую деревню?

— А зачем? Я сюда со своим «самоваром».

— Ну-ну, — тяжело, со значением окатил взглядом Виктор Иванович молодого напарника.

Оставшийся путь они ехали молча.

Когда на жильё составляли списки остронуждающихся, Виктор Иванович взял Неведрова да и вычеркнул. Чирик карандашиком — и ваших нет. И Чан-кай-ши давно уже нет, и другой тут заместитель редактора, даже газета сменила название, а Неведров все живет со своим «самоваром» в коморке. Размышляет о жизненных перспективах: кто же все-таки хуже в перипетиях тех — Гитлер или Чан-кай-ши?





Трамваем ехала, троллейбусом ехала, автобусом ехала — наконец-то приехала в эти самые дочкины «особняки». Три дома-пятиэтажника у чертей на куличках — в чистом поле, на краю леса. А по замыслу «проектировщиков» давным-давно, еще в хрущевские времена, здесь должен был выбухать образцово-показательный квартал. А выросли всего эти три дома-общаги с секциями, каждая о шести комнат на одну кухню. Тут-то вся молодая жизнь дочкина и прошла...

И каждый раз, когда Прасковья Петровна — начальник Котлубанской сельской почты собирается сюда в город, она делает там у себя громогласное заявление: еду к дочке в область, в ее «особняки»!

Прасковья Петровна — женщина крутая, но справедливая. Любит порядок. Вот и сейчас опустила свои тяжкие сумари перед дочкиной дверью, критически оглядела коридор: ванны по стенкам, ящики по углам, детские «велики» по проходу — дыхнуть негде... Не предупредила, и дочки нет на месте, — вертихвостка! Прасковья Петровна проходит на общую кухню, присаживается к дочкиному столу, на дочкину табуретку. На столе горка невымытой посуды, сверху чайник зачем-то. Внимание ее привлекает записка на чайнике. Прасковья Петровна не удерживается: «Гляди, красотка, лучше за своим мужуком. К Райке клеится, кабы Райка сифилис к нам сюда не занесла».

«Ого!» — лезут глаза на лоб у Прасковьи Петровны. Молодая женщина, волосы в бигудях, шмыгнула на кухню, попила из-под крана и опять ушмыгала назад в свою комнату. И — тишина. А ведь за каждой дверью сидят, как суслики. Кто же это дочке ее пакость такую подсунул? Эта вот, в бигудях? Или она и есть — эта самая Райка? Раньше ее тут не было, это кто-то получил квартиру, а этой отдали ту комнату. А дочка моя как жила, так и живет, уж двенадцать лет, здоровье свое тут оставила...

Наконец, Прасковья Петровна обращает внимание

на горку грязной посуды, — чайник закопчен, кастрюли не мыты... «Со своего стола сюда, хоррроши!! — ударяет в голову Прасковья Петровне. — Да еще и с запиской!»

Недолго думая, Прасковья Петровна как махнет рукой — да на пол все со стола. Грохот прямо-таки остереживает ее, и давай она топтать ногамп, топтать павшую наземь посуду. Чайник хрясь, ручка пополам...

На шум повыскакивали жильцы из этих своих апартаментов. Сколько их сразу тут появилось! Эта, что в бигудях, уж с ребенком на руках, — шмыг на улицу. А тут Никитишна — мастер ОТК явилась, спала после ночной смены; сын ее — Коля, в техникуме учится, последний год; даже Селиверстов — инвалид на одной ноге прискакал, другую — деревянную временно отстегнул; даже бабка Самойлиха — Селиверстова мать...

Прасковья Петровна в карман записочку опустила, нечего оглашать содержание, разберемся! А сама руки в боки да как гаркнет:

— Эта, что ли, сучка?! Что в бигудях?! Эта, что ли, тут мужиков совращает? Всякую грязную посуду свою на стол моей дочери валит?! Я ее, негодяйку, проучу. Думает, если дочь моя телушка, смиренная, можно вмешиваться, семью разбивать?..

Все просто-напросто обалдели — ни хрена себе темперамент! Такого завода с полуоборота даже у них тут не выдывали.

— Слушайте сюда, вы — мать Лидии, это мы знаем, — подает голос, наконец, самый почитаемый, рассудительный такой инвалид второй группы Селиверстов. — Но при чем тут посуда? И зачем ее бить, ногами тем более топтать? Чайник теперь попробуй купи...

— Да это вроде и не ее чайник — не Валькин... Этой, что в бигудях, — поясняет бабка Самойлиха Прасковья Петровне, держа в руках его, с переломленной ручкой. — Вон Валькин чайник, стоит на комфорке.

.. Все головы туда повернули: действительно, чайник со свистком на комфорке. А рядом с синим, Лидиным, — на Лидином столе — со свистком, тоже синий, но только поменьше. И на столе у Вальки прибрано, чисто.

— У себя прибрала, у себя в семье чисто, — старается не утратить себя в их глазах Прасковья Петровна. — А на чужом столе, в чужой семье можно и насвинячить.

— Да нет, это и не Валькин-то, не Нефедовой, — про-

должает рассуждать бабка Самойлиха. — Это вон той Вальки, наверно, — и показывает на стол в самом углу, — это Фадеичевой... Эта сейчас на смеше... А придет — что будет! Это тебе не Нефедова — козочка, эта — кувалда! Рискуешь, баба! Эта зубы враз за такие дела повыбивает...

— Если она свой чайник на стол моей дочери определила, я у нее спрошу, — уже менее уверенным тоном продолжает Прасковья Петровна. — Как это она других стравливает, а сама вроде бы в стороне...

— Да это чайник Вальки Фадеичевой, — подтверждает инвалид второй группы Селиверстов. — Я сам из него сколько раз себе чай наливал, Фадеичева разрешала.

— И с тебя спрошу, — явно сдавала позиции Прасковья Петровна, но еще хорохорилась, так уже, для близиру. — В суд можем с дочкой подать, в ЖКО обратиться, в газету, чтобы приняли меры...

— Да какой же это чайник Фадеичевой! Это и не Фадеичевой чайник-то, — замечает Коля — выпускник техникума. — Фадеичева чайник свой в стол запикивает и на ключ запирает. Видите, вон и замок навесной.

Глянули туда все — правда, висит, навесной. И к Селиверстову разом:

— А чего ж ты это, пьяная морда, никогда не просыхаешь, кроме самогонки не пьешь ничего... а то еще чай он пить будет!.. что ж ты добрых людей в заблуждение вводишь?!

— Это чайник не Фадеичевой, да, — говорит тут спокойно инвалид Селиверстов. — Но я специально так сказал, для громоотвода, чтобы отвести подозрения... А теперь скажу прямо, как на духу, даже могу поклясться, на чем угодно... хоть на лампаде, у меня, вы знаете, лампада в углу горит... этот чайник все-таки Валькин, Вальки Нефедовой.

— Я так и знала! — снова набирает голосу Прасковья Петровна, но голос уже не тот, как надтреснут, сила не набирается. И тогда она для закипания нервов, в подтверждение прежнего, хрясь одним каблуком на чайник, хрясь другим. — Я ее, сучку, поучу! Я порядок тут наведу!! Я ее посажу... я ее сгною...

— Хм, чайник! Этот чайник Валька отдала Фадеичевой просто так, когда себе новый купила, — перебивает высокую гостью из деревни бабка Самойлиха. И

оборачивается к сыну: — А ты, сколько раз тебе говорить, в чужие ворота не суйся! Все мозги уже переболтались от книжек да лихоманки этой — уже чайника синего от белого не отличаешь... У Вальки ж Нефедовой чайник белый и чистенький. А этот, глянь, какой: синий и грязный...

На кухню входит еще одна женщина — молодая, красивая, та, которую жильцы обозвали завклубом. Тоже недавно получила тут комнату вместо переехавшей в квартиру семьи. «Эту, что ли, Райкой зовут?» — вспыхивает озарение в Прасковье Петровне.

— Гляди-ка, — шевелит сухими, бумажными губами бабка Самойлиха. — Чайник вот баба стоптала, а чей — не знаем. Валькин, что ли, но какой — Фаденчевой или Нефедовой? Как ты думаешь, а?

— Да вон Нефедова во дворе, ребенка прогуливает, — смеется культурный работник и вносит разумное предложение: — А вы у Нефедовой у самой спросите.

И все ждут, когда же с прогулки заявится Валька Нефедова. А она все не является, Прасковья Петровна сидит, переживает: «Райка это или не Райка?» Да так заперевживалась, что под ложечкой засосало. Наэлектризовалась вся, щеки жаром пышут, хоть, как говорится, прикуривай.

— Красивая ты баба! — первым замечает это инвалид второй группы Селиверстов — мужик начитанный. — Жила бы тут, я бы тебя оприходовал.

— Замолчи, дурак! Что ты мелешь? — останавливает сына бабка Самойлиха. — Вишь, у человека сердце только об одном чайнике и жалкует.

— У меня льготы, — смеется Селиверстов. — Бесплатно езжу, к кому хочу — подъезжаю.

Прасковья Петровна ждет с нетерпеньем эту Нефедову и лиц этих кухонных, их разговоров уже не замечает. Ихняя атмосфера ей тут не нравится — привыкли тут сечься, на спички б друг дружку подрали. ...А-а, вот она и Нефедова! Нагуляла ребеночка, давай-ка сюда, на кухню.

— Ну-ка, чей чайник это, скажи? — встречают все Вальку Нефедову.

— Как чей? — стоит Валька в дверях, не проходит. — На чем столе? У Лидии. Вот ее дочери — Лидии чайник!

— Хе-хе, — осторожненько, первой реагирует бабка Самойлиха, остальные пока молчат.

— Га-га, — толкают друг друга, а потом и хохочут за ней и все остальные.

— Вот дура-то, сумашедчая! — в перерывах между приступами смеха вставляет слова бабка Самойлиха.— Свой же чайник стоптала...

— А посуда чья?

— И посуда.

— Лидица и посуда,— так же отвечает Нефедова.— Гости были, не успела помыть. На вокзал спешили, поехала их провожать.

— Откуда хоть гости-то? — сдвигает брови Прасковья Петровна.

— Откуда-то из Сибири. В деревню, говорят, в Котлубань, к маме поехали.

— Да, так-то, тетк, — смеется теперь уже в лицо ей инвалид Селиверстов. — Да ты хоть к нам зайди, посиди, передохни.

— Ты мне не тычь! — пытается поддержать свой упавший престиж Прасковья Петровна.

И хочется ей вынуть из кармана ту самую записочку, из-за которой, как она понимает, и пошел тут дым коромыслом. Но она берет себя в руки, сидит молчком, пусто уставясь в окно.

— Видала? — подруливает к ней инвалид Селиверстов со своей табуреткой. — Вон как строят теперь — особняки.

— Ну и что?

— Как что? — сердится Селиверстов. — Зеленую зону города вырубают, сосновый реликтовый бор... Одну элиту заменяют другой...

Прасковья Петровна отворачивается от него. Глядят в окно на двух-трехэтажные коттеджи, выросшие тут как грибы. «Понастроили тут на наших костях, новые миллиардеры!» И берет ведро, принимается швырять в него этикие кусищи Лидиных, черт побери, только что сю разбитых тарелок.





Вера Ивановна Глотова, рабочая пивзавода, шлепнула на бетонный столб бумаженцию. Чуть повыше висел картонный квадратик с синей буквой «Т» — троллейбусная остановка. Троллейбус доходил сюда, до конца липовой аллеи, и делал кольцо. Городская больница и химфармзавод — место для всякого рода объявлений самое подходящее. Уходила Вера Ивановна, а за спиной ее, на жестком мартовском ветру, оставалась белеть бумажка:

«Объявление.

Продается большая свинья по кличке Хряк. Смотреть в любое время. Обращаться по адресу: Зеленый ров, 18. Спрашивать бывшего завхоза».

Вера Ивановна шла и думала о жизни, о себе лично меньше, все больше о Демьяне Фролыче, а главное — о детях, Олеге и Олечке. А самого-то как взяло в оборот, так и держит. Первое время приносила ему к субботе четвертушку, потом поллитровочку. В чем ему не отказывала, так это в пиве: в любой будний день хоть залейся. Правда, Феня Круглова, ее подружка, говорит, зря, мол, ты своего Фролыча балуешь. Он у тебя, как министр: потянулся рукой — бутылка, потянулся другой — две. Ты бы, говорит, рассчиталась, сменила работу, а то сама не будешь рада, сгорит Фролыч у тебя, раз он такой подверженный...

Вера Ивановна спешила. Мартовский ветер гнал ее в спину, а навстречу шли со смены девчата — молодые, здоровые, то-то смеху и радости. Шаги Веры Ивановны замедлились, она готова была уже повернуть назад, когда впереди увидела Феню Круглову. И Вера Ивановна свернула в боковой переулок...

На другой день, в субботу, к ним постучались. Вера Ивановна совсем выбросила из головы ту свою бумаженцию и потому с удивлением смотрела на молоденькую женщину, впорхнувшую на порог. Она была в белом пальто, с румянцем во всю щеку, птаха-синичка, птичка-невеличка, в белых своих лакированных.

— Я из музыкальной школы, учительница, — щебетнула синичка. — Насчет объявления... мне не нужно целую свинью, мне всего с килограммчик, написано: «Спрашивать завхоза...»

И тут из другой комнаты раздалось бормотанье, пьяный мужской голос выругался длинно и некрасиво. Щеки у синички сделались белыми, как пальто. Вера Ивановна, наоборот, стала бурой. И вдруг ее словно что-то толкнуло:

— Да вон же завхоз, валяется... Эта большая свинья... Смотрите на него все! На сволочь такую!..

Фролыч вышел на люди прямо в трусах. Стоял — одурелый, со всклоченной головой.

— Вот на тебя пришли посмотреть, боров! Смотреть пришли, как в зоопарк.

Синичка щебетнула что-то, попятилась и, зацепившись за половик, ударилась спиной о дверной косяк.

Вера Ивановна проплакала всю эту ночь.

А наутро явилась обширная такая, квадратная женщина. Встала посреди передней, понюхала воздух, уперлась в лицо Вере Ивановне:

— Я по объявлению. Покупаю оптом, могу все купить сразу. Ну и где же товар?

— Да вон наш товар, — кивнула невесело Вера Ивановна в угол, где Фролыч сидел с похмелья, пил чай.

— Где, где? — обернулась квадратная женщина.

— Да вон же, сидит за столом, свинья! — повернулась резко Вера Ивановна к мужу. — Ишь, какой красавец сидит после вчерашнего...

— Так вы продаете свинью-то? — поджала квадратная свои полные, сочные губы.

— К-какую с-свинью?! — всем туловищем разворачивался к ней Фролыч, работавший дотеле завхозом по откорму свиней в какой-то небольшой стройконторе с таким длинным названием, что легче было в три раза длиннее выругаться, чем один раз его прочитать.

— По кличке Хряк, — не отступала от своего видавшая виды женщина.

— Я те богу-рогу-ногу-у!! — попялся за чайником на полу Фролыч, квадратная шмыг за порог и была такова.

В дверях она чуть ли не влетела головой кому-то в

живот. Человек невозмутимо продолжал движение далее.

— Здесь продается свинья под названием Хряк? — спросил вошедший, ступая сразу на середину комнаты, — преогромный бугай.

— Ну я Хряк, и что дальше?! — встретил его Фролыч одним неугасающим зраком, другой — все еще спал после вчерашнего. — Чаю не даете попить. И претесь, и претесь!

— Чаю? Зачем же так мучиться? Вот! — достал вошедший из кармана белоголовую. — А я помню тебя, Хряка такого, естественно. Я гвозди у тебя на Щепном рынке покупал, в ларьке.

— Бугай какой! Да я в ларьках никогда не работал.

— Врешь ведь, — сказал Бугай и стал разматывать шарф. — И зачем врешь, дорогой?.. Вот я художник, ишу типажи. Понял чего из этого, нет? Иду, читаю на столбе: «Продается Хряк, обращаться к завхозу». Я вас, завхозов, всех знаю, все жулики. Ты жулик и пьяница одновременно, верно? Последнее пропиваешь, с работы взашей. Жену бьешь, детей обижаешь...

— Нет, зачем? Детей я люблю — Олега и Олечку.

— Значит, душа у тебя. Значит, я тебя рисовать буду. Давно тебя приметил... — Хлопнули по первой. Сидели и, еще не отмякнув, входили в первую фазу общения. — Я тебя такого сотворю, братец ты мой, — сказал откровенно художник, — что глянешь на тебя — захочется рваться. Мне заказик сделал... один вытрезвитель... Повесят там твою образину для отвращения. Чтоб другим неповадно было...

— А сам с бутылкой ко мне.

— Что — не нравится? — загоготал художник — этот Бугай. — Ну, тогда, наоборот, я таким красавцом тебя нарисую! Не будут знать, куда тебя и повесить. Новую галерею откроют, все будут давиться в очереди, чтобы только взглянуть на тебя... особенно женщины... Нет, право, какой красавец! Какой выдающийся тип! Император Нерон. Что нос, что подбородок — выделительный, волевой...

При этих словах Фролыч не выдержал, поднялся, стал расхаживать перед художником прямо в трусах, показывая все свои прелести.

— Только надо, того, маленько побриться, — фамильярно похлопал художник его по щеке. — Рубашеч-

ку сменить, свеженькую надеть, брюки в стрелочку... Ей-богу, ты же, дядя,— джентльмен!.. Ты же красивый был когда-то, да и сейчас, небось, сердцем хотя бы красив, факт! Жена, небось, по молодости втюрилась, до сих пор молится на тебя, под иконы сажает...

Вера Ивановна потихонечку, на цыпочках, скользнула за порог. «Приходят, издеваются. К Глотовым можно, Глотовы такие-сякне!»

Вера Ивановна швырнула сумку во двор, повернулась и побежала к троллейбусному кольцу.

Еще издали увидела людей у бетонного столба. Подошла и остолбенела: вместо ее «объявления» тут висела целая картина: человек с лицом ее Фролыча, но красивый и молодой. И говорил как бы лично ей: «Я люблю тебя, Вера!» И внизу стояла приписка такая — «Художник Бугай».





(Юмор висельника)

Василь Иванович Курочкин — главврач спецполиклиники в областном центре, то бишь «клиники для блатных». А Иван Василич Чурочкин — литератор, сосед его по месту жительства, коллега по игре в домино в дворовой команде. Но, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Когда к власти в городе пришли «демократы», перво-наперво они вычистили из «клиники для блатных» кого — кто фактически тоже был вроде «поборником»...

Чихал на это Чурочкин, пока не болел. И подозревать-то не мог, в какие глубины глянула «демократия». И вот, когда Чурочкин заболел и жена по привычке повела его в спецполиклинику, он там уже оказался «чужим». Не кто-нибудь, а именно друг его Курочкин заявил ему как главврач:

— Все! С блатом покончено, раз и навсегда!

— Да мы никогда и не были «блатными», — возразил ему Чурочкин как литератор. — Мы тут у вас по профессиональному принципу... В Москве есть Литфондовская поликлиника, а мы город маленький, мы у вас...

— Не ветеран, не афганец, не ликвидатор! — констатировал Курочкин. — Ну хотя бы ветеран был... Все остальные категории не в моей компетенции...

Чурочкин к главе администрации не пошел, а стал дожидаться своего ветеранства. Вышел вскоре на пенсию и заявился к Курочкину — опять не годится: простой ветеран, а нужен с медалью, «ветеран труда». И где же он ему теперь медаль такую возьмет?

А железá поджигает, болит. А натуру-то раскипятили. Тут про полисы страховые заговорили. Мол, все это ставит всю медицину нашу с ног на голову. Полис — чистые денежки, с ним везде тебе рады. Чурочкин уши развесил. Ну, думает, уж теперь бюрократы никуда не денутся. И опять к коллеге, но теперь уже с

полисом. Постучал в кабинет и на стол бах бумаженцию:

— Ну и что? — воткнул в него Курочкин свои лучики-глазики. При тех сидел и при этих сидит. Не на пенсии, заметим, а в кресле.

— Как что? Документ! — говорит, гордясь, Чурочкин. — Оформляйте-ка! Не потому, что тут хорошо, а по привычке. Да и ходить рядом, а у меня с ногами плохо...

— Ткни его, полис твой, знаешь куда?! — отвечает уже зло ему Курочкин как главврач и снижает тон, говорит уже как коллега по домино: — Забери свой документик, он для нас притягательной силы не имеет...

И тут Чурочкин видит впереди себя не коллегу, а бюрократа, только с чапаевской саблей, тоже ведь Василь Иваныч. И говорит ему от души, потихонечку:

— Ты что же это саблей машешь? Чапаев прямо из анекдота...

— А мне по хрену полис твой, — продолжает в том же духе Василь Иваныч.

— Это почему же?

— А потому.

— Ну почему хоть, скажи? — добивается Чурочкин.

— В прошлом квартале одних лекарств, — идет на откровение Чурочкин как главврач, — на 90 «лимонов» извели, спасибочки администрация оплатила. И ты нам балласт...

— Опять вы — «элита»?

— Да, «элита».

— А «сурож» тебе ни к чему?

— Ни к чему.

— Комиссара к тебе надоть, Фурманова, — у этого литератора Чурочкина, как разволнуется, диалектика с языка так и сыплется. — Он бы тебя причесал.

— А у меня на это дело вон кто есть... кто повыше... Фрунзе, — показывает Курочкин пальцем на потолок. — Понял?

— Или Анку-пулеметчицу... нехай бы она по тебе из пулемета.

— «Надоть», «нехай» — серость! — говорит Курочкин, отделяя себя от Чурочкина, как Берлинской стеной. — Небось, одного «Чапаева» за жизнь только и прочитал. Знаю я вашего брата писателя...

— А «Павку Корчагина»?

— Что «Павку», такого и романа-то не существует. Есть роман «Как закалялась...»

— Нам это без разницы! — вспыхивает Чурочкин. — Мы мыслим образами. А ты наши книжки читаешь, а Фурманова на хрен посылаешь?!

— А кто Фурманов, кто?! Ты, что ль?!

— Ну — я.

— Новенькое там что-нибудь у себя придумайте, смените сюжетец, пора.

— А что ж сам-то все Василь Иванович да Василь Иванович — бессмертный какой!! Все шашкой бы, а ведь врач. Клятву свою позабыл...

— Гиппократ, что ль?

— А кого ж! — не теряет своих позиций Чурочкин. — Небось, клялся-божился с молодости, будешь служить народу...

— А я готов и сейчас.

— Ну давай, поклянись, а я погляжу, какой ты честный.

— А на чем?.. Ладно, хоть на этом вот — кодексе...

И выбирает Чурочкин в шкафу книгу, да какую потолще, отряхнув пыль, кладет ее под руку. И пошел молотить все вподряд, все, какие знает, слова. А Чурочкин возьми и зайди к нему со спины:

— Василь Иванович, да ты что?! На чем ты клянешься! Глянь! На книге «Лекарственные травы»!

— А на чем же тебе? На «Сексе в мире животных»?

— Ну, Чапаев!!

И тут Чурочкин, эх, как поставит свечкой коня перед самым носом Чурочкина! Это тебе уже не коллега по домино, а главврач спецполиклиники, заслуженный работник медицины, у которого вся твоя жизнь в руках, на волоске. Шутки прочь! Юмор висельника — это когда человек в безвыходном положении...

Постоял-постоял Чурочкин перед Чурочкиным, потоптался на месте, оглядел стены с выцветшими пятнами. Вспомнилось вот что: а что у него лично в судьбе изменилось в последнее время?

— А жертвы политических репрессий вам не подходят? — спрашивает он теперь уже осторожно. Какой принц! Хоть и разница всего в одной букве фамилии.

— А кто — жертва?! — сидит Василь Иванович в кресле своем, как в седле.

— Да там... один, — мнется Чурочкин и к двери скорее да ходу отсюда.

Обиделся Чурочкин с той поры на научную медицину: «За кого приняли его, за кого?! А ведь вместе во дворе в «пусто-пусто» играем...» И вот вторую неделю лепит Чурочкин образ бессмертного Василия Ивановича. Без булды только пишет в редакцию про него, как про новейшее эхо в нашей старой эпохе.



КАТИТСЯ ГОЛУБОЙ ВАГОН



И катится, катится голубой вагон. Это — троллейбус, это — кольцо. Отсюда Федор Иванович Березкин, бывший госслужащий одного из районных госучреждений, выезжает в жизнь: в сам город или на другой конец его — в зеленую зону. И едет себе Федор Иванович, куда ему надо, бесплатно, никогда не покупает билеты. И ничем его не проймешь. Даже стремительной цифрой штрафа, к которой нули липнут, как семечки, три рубля — тридцать — триста — три тысячи... Вон, эти цифры, красуются на радость людям! Войдя в троллейбус, Федор Иванович от них отворачивается, чтобы не подвергать нервную систему испытанию...

Один раз Федор Иванович без звука отдал контролеру нужную сумму. И потом уже с полной грудью ездил, не покупая талоны, до исчерпанья лимита. А после опять-таки ездил, не покупая талоны, но уже с опущенными плечами.

В памяти один такой случай. Накануне Первого мая, как раз при переходе от той к этой системе, в городе был устроен на «зайцев» «шмон». На троллейбусной «вилке», как раз возле управления милиции, поставили специальный троллейбус. И мордовороты в красных повязках ссаживали и за шкуру «зайцев» сюда, в этот синий троллейбус... Стенания, вопли, надруганье над личностью...

Федор Иванович не выдержал и пошел звонить в Большой Дом, в троллейбусное управление: что же это вы, такие-сякие, голову людям морочите, праздник такой порочите, на что народ провоцируете? В Большом Доме сказали: хорошо, примем меры. А в троллейбусном управлении на хрен послали: зубки у вас, командиров таких, пообломались...

Федор Иванович недопонял тогда, недокумекал, и только потом уже сообразил, что так в городе у них выражался «революционный момент».

А сегодня у Березкина — праздник: кончается езда его «зайцем», начинается новая эра. Федор Иванович едет

получать пенсионное удостоверение, дающее право на бесплатный проезд. И, как обычно, садится он в синий троллейбус и едет в город «зайцем». Однако на следующей остановке в заднюю дверь входит контролерша:

— Граждане, предъявите проездные или талоны!

Какие проездные! Какие талоны! Одна женщина из Белоруссии: на рынок едет, товар везет прямо с вокзала, откуда рубли?

— Не нужны ваши «зайцы», своих хватает, оплачивайте проезд!

Другой пожилой человек с Украины: вот мое пенсионное удостоверение.

— Это другое государство, там у себя предъявляйте, а тут оно не действительно, оплачивайте проезд!

— Как вам не стыдно! — вступается Федор Иванович то за женщину, то за мужчину. — Облик человеческий потеряли.

И по кочкам весь ихний контроль. А тут нужная остановка. Так, на почве гуманизма, Федор Иванович и отвел на сей раз от себя грозу.

А как получил свое удостоверение, дай, думает, поезжусь по городу, а предъявлять нарочно не буду. Что они мне, интересно, исделают? Ездил-ездил по всяким маршрутам — никто не входит, не спрашивает, не контролирует. Но, черт побери, едва Березкин из желтого пересаживается в синий вагон, чтобы ехать домой, на свое кольцо, как вот они, вороны, — сразу с передней и задней площадки. А через три остановки (Березкин в курсе) — то же самое управление милиции, тот самый троллейбус.

Но на душе Березкина тепло, вроде дело к весне. Сунул руку Березкин в карман этак нехотя — проверить свое пенсионное удостоверение, а куда оно денется, — нет его, сунул в другой — и там тоже нет. А контролерша уж вот она: глазами ест, жаждет крови.

— Ну что, — говорит, — «зайчик»? Штраф платить будем или сразу в синий вагон?

— В «гетто» народ сгоняете? — нагнетает обстановку Федор Иванович, может, отстанет баба. — Массовый протест провоцируете?

— Ты за себя отвечай! — такая кремень-баба попала. — Неча за всех распинаться.

А Федор Иванович руками по карманам туда-сюда — бесполезно. Ни удостоверения, ни денег не взял как на

грех. Ну хоть плачь. А остановка с тем самым — синим троллейбусом надвигается.

— Я — пенсионер, — наконец, заявляет он ей. — А пенсионеры бесплатно имеют право...

— Ну и чем подтвердишь? — стоит над ним, как скала, контролерша. — Глянь на себя, ты еще молодой, даже не лысый.

— Так что же тебе все должны быть лысыми, если пенсионеры?

— Ты мне те тычь, я — на работе!

А народ в троллейбусе потешается: интересно — спектакль. В такой потехе как-то быстрее едет. И советы несутся со всех сторон:

— Да ты скажи ей, что ты безработный. Или зарплату уж три месяца не получаешь... Вишь, сколько нас таких, вся задняя площадка, и к нам ведь не лезут...

— Зачем унижаться? — протестует Федор Иванович. — Я право имею... трудом за всю свою жизнь заработал...

И тут эта остановочка. В шею его из салона да туда же, в синий троллейбус. А там уж битья набито: бомжи, алкаши, торгаши — с востока, юга и севера; из честных, порядочных он, наверно, только один. Щелкают за ним дверью и отрезают от внешнего мира. И уходят опять на линию. А тут хоть провались: ни в туалет сходить, ни водички попить, прединфарктное состояние — им до лампочки.

В такой критический момент пенсионное удостоверение как-то само собой и нашлось. Тоненькое — в паспорт попало. Федор Иванович чуть ли не заплакал, затопал ногами на радостях, аж синий вагон закачался. И вот пока Березкин ждет контролеров с новой партией, он им тут всем обещает: как выйдет отсюда — выручит всех. Выведет на чистую воду всю эту шатию-братию, «вунтеров», «мелких диктаторов вместе с их узкими корпоративными интересами».

И вот, наконец, надруганный, но не сломленный выходит из синего троллейбуса Березкин, а в спину ему:

— Похлопочи там!.. Изобличи-и!..

Идет Федор Иванович домой теперь, на всякий случай, пешком. И тут, где-то на полпути, его осевяет: «Что же это номер-то он не записал? Конкретика нужна, достоверность. Вон их сколько на линии — синих, но какой

именно?» Смотрит Федор Иванович на здания — изменилось в них что-либо, смотрит на лица — а лица?

— Катится, катится голубой вагон, — мурлычет под нос себе песенку Окуджавы Березкин Федор Иванович.

И, наострив сердце мужеством, подходит он к старому магазину «Светлана», что на улице Красноармейской, и прямо днем вниз, по всей протяженности здания — по облицовочной плитке, где все обычно, крупно пишет мелом в качестве вопля души:

«Троллейбусники! Не рвите куши!

Штраф дерете, а нам — на какие шиши?»

В самом деле, уже как три месяца многие жители города не получали зарплаты.



СОЛИСТ ИЗ ОДЕССКОЙ ОПЕРЫ



Турицеву Н. А.

Надо же было так не поладить с новым главрежем. И вот любимец публики Эдуард Поленов, едва не ставший в своем драмтеатре народным артистом, — заковыки какой-то всего ничего не хватило, написал в горячах заявление. Главреж тут же его и подмахнул. Поленов даже опешил от такой наглости. Так он оказался безработным. «Ничего-ничего, — утешал он себя. — Нет худа без добра. Давно пора рвать когти. Товаром таким не разбрасываются...» Действительно, он был актером с отменными данными: высок, статен, с богатым, поставленным от природы бархатным голосом. Синеглаз и русоголов — этакий русский красавец-мужчина в расцвете сил...

В Москве, на бирже, ему — этой «сибирской жемчужине» — напомнили, в какое время мы живем. И вот он направился тут поблизости, к тетке родной — сестре его матери — в город Орел. Зализывать раны. А заодно и сориентироваться в обстановке...

Его приезд в славный город на Оке совпал с началом предвыборной кампании, а именно, с визитом сюда лидера ЛДПР Жириновского. Поленов, конечно, не преминул заглянуть на массовый митинг: чем хоть этот «артист» их берет, как хоть он ими манипулирует? «Класс города, — стояло в его ушах от динамика, — зависит от нескольких факторов. Университет — он у вас уже есть, приличное книгоиздание — этого пока нет, опера и симфонический оркестр... Мы добьемся, чтобы гордое имя Орел звучало на всех языках. Мы сделаем ваш аэропорт международным...»

«Это где-то я уж слышал, — улыбнулся внутренне жестковатым обертонам будущий народный артист. — Ах да, Нью-Васюки, международный шахматный конгресс!.. Ха-ха-ха, и красиво ж, стервец, излагает!.. Ка-

жется, в Орле тоже имеется шахматный клуб, где почетным членом состоит академик Абалкин, разве не так? И драмтеатров целых, кажется, три, а вот оперы — нет...»

И тут на глаза Поленову попала свежее испеченная стрела на бетонном столбе — «Орловское оперу». И желтые, апельсиновые ботинки Поленова на высокой черной платформе замедлили ход по Монастырке — микрорайону, где жила тетя Фрося.

— Н-да-а, — окончательно замерли у стрелы апельсиновые ботинки, а глаза проследили за направлением острия и уперлись в новое краснокирпичное одноэтажное зданье, лепившееся к банальному девятиэтажнику. — Однако почему «оперу», а не «опера»? — обеспокоился он как блюститель порядка в российской грамматике. — Ну, грамотей!.. Ага, издержки первого этапа, — догадался Поленов, вспомнив отцовы рассказы, как в пятидесятые годы даже в МГУ, у истоков нового, зияла печать с такой сакраментальной надписью: «Факкультет журналистки».

Внутренний голос Поленова тут же опротестовал эту грамматическую небрежность, а философское понимание ситуации подсказало ему, что это скорее всего административное здание новой оперы, открывающейся в городе, так стремительно рвущемуся к высотам культуры.

На драматической сцене рукоплескали ему чаще всего именно за его бархатный баритон.

Утро туманное, утро седое...

А не изменить ли ему амплуа? Объявив себя солистом, скажем, той же Одесской оперы — из города чудес, белых акаций и самого синего в мире «Черного моря мово»? Одесса ныне все-таки за граница, с нашей биржей ихняя биржа, как и таможни, по разные стороны баррикад. А лучшей аттестацией ему, Эдуарду Поленову, будет все-таки голос. Голос в кадрах решает все! А в голосе он был уверен...

Апельсиновые ботинки на высокой черной платформе сами внесли его на порог кабинета. Руководитель с трудом оторвал глаза от яркого, апельсинового цвета где-то внизу и поднял их до уровня синего — черноморского взгляда Поленова.

— Послушайте, — сказал ему Эдуард, — я понимаю, конечно, издержки первого этапа. Однако нельзя ли сразу было обойтись без этой грамматической серости?

— Например? — уточнил Руководитель, возвышаясь над дубовым столом.

— Например, «Орловская опера», — засмеялся Поленов. — «Ра», а не «ру»! Я так понимаю: это дирекция будущего оперного театра и вы набираете труппу?

— Ну да, — засмеялся ответно Руководитель. — Конечно, мы все в Орле любим «оперу», но — какую? Заметили, что у входа написано: «Мы рады каждому клиенту»?

— Каждому зрителю? — уточнил теперь, опять же смеясь, Поленов.

— Вот именно, какая разница? — забавлялся Руководитель, глядя на апельсиновые ботинки Поленова с нескрываемым удовольствием. — Главное — чтобы была гармония, все проверяется музыкой цифр...

— А я, знаете ли, солист из Одесской оперы, — соврал, не сморгнув глазом, Поленов. — Мое имя в Одессе пишут вот такими, аршинными буквами: «Эдуард Поленов».

— Эдуард? А почему? — выскочил из-за стола к нему Руководитель, давая понять, что официальная часть приема закончена и что наступает период неформального общения.

— Как почему? — удивился Поленов. — Эдуард есть Эдуард, как всегда.

— Нет, батеньки мои, не-е-ет, — потирал с нетерпением руки Руководитель, вышедший из-за стола. — Вот Шеварднадзе был при той системе Эдуардом, а после обряда крещения стал Георгием...

— Я согласен быть Георгием на вашей сцене, — живо понял его Поленов. — А почему я сюда из Одессы к вам — и не спрашивайте, не скажу...

— Понимаем, понимаем, — отмахнулся от слов его, как от мух, Руководитель, вышедший из-за стола. — Корни родные, сейчас все ищут их, эти корни...

— Ну да, — обрадовался Поленов. — Вот интересно, оказывается...

— А чего интересного? — вдруг серьезным сделал-

ся Руководитель, беря трубку зазвеневшего неожиданно телефона. — Перезвоните попозже... да-да... у меня гость... да-да, очень высокий ...солист из Одесской оперы...

Руководитель положил трубку и снова вышел к Поленову из-за стола. И прямо на глазах он перестал быть Руководителем, а сделался просто-напросто человеком. Поленов удивился такой трансформации. Тот оказался ниже его, по плечо. Улыбчивый и доступный. Типичный те...

— Небось, тоже поете? — осторожно спросил Поленов. — Наверное, тенор?

— Ну да! — прямо-таки взорвался неожиданной радостью хозяин кабинета. — Как вы угадали? Вот именно тенором со студенческих лет...

И он запел, поднявшись на цыпочки, стараясь дотянуться головой Поленову до плеча:

Друзья, друзья, давно ли друг от друга
Нас жажда крови отвела?
Давно ли мы...

Дверь приоткрылась, в нее просунулась женщина с папкой:

— Иван Семеныч!

— После, Верочка, после... Давно ли мы в часы досуга... и мысли, и дела делили дружно...

— Ленский, — констатировал Поленов своим раскатистым бархатным голосом. — Дорогой, бессмертный наш Ленский... сцена дуэли... Не разойтись ли нам, пока не обагрилася рука, — вступил он в дуэт за Онегина.

— Нет, нет, нет, — закончили они уже оба.

Завершили оба все кантиленой, глянули друг на друга и — обнялись. Совсем не по опере, где Ленский с Онегиным решили все же стреляться, зато — по жизни...

— А имя у вас, как у Козловского, — заметил Поленов.

— А мои кумиры — Собинов, Карузо, Титта Скипа, Марио Ланца... А «Утро туманное» можете?

— Зови на «ты», я разрешаю, — бросил ему Поленов небрежно, как будущий народный артист, а также баритон, солист из Одесской оперы.

И Поленов повел как бы издалека, пиано-пианиссимо, постепенно набирая голосу:

Утро седое, утро туманное...

Надрывались телефоны. Открывалась и закрывалась дверь... Мелькали Арбатом знакомые лица... А две родные души в этом огромном мире проблем, нашедши друг друга, отдавались гармонии звуков.

Иван Семеныч извлек из сейфа заветный свой «исприкосновенный запас» — коньячок пятизвездочный, аккуратно порезал на дольки лимончик. Малепькими такими, ликерными рюмочками они омывали горло — голосовые связки свои. И изливались в стихи чувств, воспоминаниях молодости...

Я люблю тебя, жизнь,—

начинал Иван Семеныч.

Что само по себе и не ново,—

тут же подхватывал Поленов.

Бутылка таяла. На окна уже ложились синие сумерки.

— Нет, Георгий, я тебя так не отпущу, — говорил убежденно Иван Семеныч. — Не отпущу, братец ты мой!.. Такой талантище, народ должен знать своих героев, а люди — певцов. Когда-то еще в наших пенатах окажется человек такого масштаба. Георгий Поленов — солист из Одесской оперы, — звучит!..

— Почему хоть Георгий-то? — вяло спрашивал Поленов Ивана Семеныча.

— Мне так нравится... как у Шеварднадзе...

А Поленов уже сидел на стуле и думал, сникая, когда бутылка кончится, что ему дальше-то делать? И тетку родную свою на Монастырке уже лет пять как в глаза не видел, не писал ей ни строчки, — кабы не померла. «Где ночевать-то будешь, мой дорогой Елецкий, а также и орловский, и московский, и смоленский?.. И это «Орловское оперу» — непонятное что-то. Не театр, не театральное зданьице, не опера — ну а что?.. Да не все ли равно! — буйная энергия Эдуарда Поленова требовала выхода, магма перла из вулкана наружу. — А ведь прав Жириновский: городу нужен класс! Городу нужен все-таки оперный!.. Ну хотя бы любительский на первых порах, на любительской сцене...»

— Вот что, мой дорогой Онегин! — хлопнув по плечу, вывел его из прострации «Ленский». — Идем-ка к людям, в народ... Уже конец рабочего дня, пусть послушают, пусть услышат настоящую оперу...

— «Оперу»? — как и в начале пути, удивился Поленов этому сочетанию. — «Орловское оперу»?.. Что бы это значило все-таки, дорогой мой дружище?

— Шутись, да? — удивился, в свою очередь, Иван Семеныч. — Разве не знаешь? Это же «Операционное управление»... Сбербанк России. Аббревиатура такая, в сокращенном виде...

— Да ты что?! — поставил на него Поленов вот такие глазащи.

— Конечно, областная контора.

— Вот сюда мне и надо. — засмеялся, возвращаясь снова к жизни, Поленов.

И стал излагать Ивану Семенычу суть мелькнувшей идеи, которая могла бы в Орле, — а что! — и реализоваться хотя бы в «любительскую оперу». И он бы не против был оказаться в ней первым солистом.

— Представляешь, — «Орловская опера»! Звучит?

— Звучит...

Они вышли в зал к людям. И люди их уже ждали. Так раздерганы жизнью, так изголодались по теплу, по человечности, заключенной в этих прекрасных, гармонических звуках, по музыке:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые...

Так и ушли все они с голосом Поленова в сердце. Вот так себя раздаешь, а чего остается? Вот именно, средств на оперу нет, откуда они — эти средства? Иван Семеныч пытался утешить его анекдотом.

— Заходит, значит, Чапаев, — рассказывал он, — а Петька пишет что-то... — Что пишешь? — А оперу, Василь Иваныч. — Про кого? — Не про кого, а на кого. На Фурманова. — А на меня как же? — Не беспокойся, Василь Иваныч, и на тебя напишу...

Вышли на порог. Машины бежали мимо, звезды над городом сияли небесные. А сзади над головой вывеска красовалась: «Орловское оперу». Всего-то буква — ма-ахонькая такая, а ведь дьявольская разница...

Поленов ступил за порог и оскользнулся.

— Денег до чертовой матери, — сказал он уже никому, в темноту, — а дорожку таланту посыпать не можете?!

И раскатился на всю улицу саркастическим, мефистофельским смехом.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НОЧНЫЕ ФИАЛКИ



«Если бы я был богом, — шел по апрельскому Дебрянску Никита Дерюгин, журналист областной молодежной газеты, — первым делом я бы отменил смерть, а также смертную казнь. Пусть всегда живут люди. Пусть...» Денек был солнечный, духовитый, хороший такой денек. Впервые после зимы Никита снял пальтецо и шел в пиджаке. Ему представилась знаменитая улыбка Гагарина. Как раз сегодня, несколько лет назад, Юра махнул в космос. Никита был тогда в сельской школе учителем. Тот день запомнился ему по яркой траве на буграх, так бы ладонью и гладил.

«Если бы я был богом, — сказал Никита сам себе почти вслух и остановился, — люди стали бы жить вечно...»

И тут у большого крупнопанельного дома Никита увидел Хабибулина Васю. Сколько лет, сколько зим, гора с горою не сходится, а человек с человеком — всегда!

С Васей они работали вместе еще в Крупицино, в восьмилетке. Вася ездил тогда за шофера на школьной полуторке; оформили, правда, учителем по труду, но в основном он руководил допотопной полуторкой. И поженились-то они с Васей в одно время, а сыновья так и вовсе родились в один день. Здесь уже, в городе, в роддоме, что на Посадской. Уносили белые сверточки в одни двери. С тех пор Вася ль увидит Никиту, Никита ли Васю, так хоть откуда машут друг другу, кричат на всю улицу:

- Ну как твой?
- А твой?
- Мой нормально.
- И мой.

И разойдутся с улыбкой. Ценно знать, что, кроме твоего, живет и растет на свете еще один такой же мальчишка.

— Ну и как? — спрашивает сегодня первым Никита и знает, что ответит Василий.

Но день такой солнечный, праздничный. Никите хочется постоять, поговорить по душам.

— Мой-то? — повторяет Никита вразтяжку вопрос. — Мой-то уже мать обогнал, выше на целую четверть, до моих ушей подбирается... Ноги в мои туфли уже не влазят — сорок второй размер...

— А мой — гриб, оболонок, — говорит Василий, но как-то уклончиво. Вася и сам, в отличие от Никиты, менее энергичен, зато кряжистее, брови белесы, лицо в конопатинках. — Рука у него — моя, жуткая, во! Дернул дверь как-то — дверь с петель.

— Так что за дома-то сдают, — поддакивает Никита. — Так, одно недоразумение... Их бы, кто строит, в такие квартиры. А у тебя какая?

— Трехкомнатная, — вздыхает отчего-то Василий. — Получил недавно. Да у меня после сына еще одна... девочка. Для продления рода. А у тебя?

— А я, брат, того... остановился. Времени нет, заматался. Жена диссертацию пишет, я — книжку. Раствем.

— Ну давай, давай, дипломат, — усмехается Василий.

— Почему дипломат? — слегка обижается Никита.

— Читаю твои статейки, почитываю — илу много, всяких осадков, а где оно дно? Книжка от книжки — опять же книжка. А вот когда книжка от жизни — это книжка! Она убедит.

— Хочешь сказать, не веришь мне?

— А хочешь притчу? — вздыхает Василий и отворачивается. — Слушай... Сидит один, понимаешь, в «шалмане». Подходят к нему и спрашивают: ты что, дорогой, ай в расстройстве? — Да как же, — говорит, — горе такое. Летел самолет над городом и афишки швырял о правилах уличного движения. Все спутал впризу. И мой сынишка кинулся их подбирать да попал под машину. Кинулся отец к нему, а один мужик подошел к нему и говорит: машин теперь всяких до черта, а ты, отец, на что? Учил бы сына, как по улицам этим ходить... Ну и как твой-то — учится?

— В двух школах сразу — в простой и музыкальной.

Надсадно ревя, мимо идет автопоезд — два «КрАЗа»

тянут платформу с огромными панелями — перекрытием для строящегося поблизости моста.

— А мой средне, — улыбается грустно Василий и отходит к своей машине «Волга», приоткрывает капот.

А солнце бьет по глазам, Никита аж жмурится, втягивает в себя воздух: весна, пахнет с клумбы землей... И, когда он глаза открывает, солнца уж нет, скрылось в тучку. Никита обращает внимание на машину Василия: светло-молочная, красный крест на передней дверце.

— Ты чего, ай на «скорую» пересел? — спрашивает он Василия.

— Пересел, — приподнимает голову над капотом Василий. — Зарок себе дал: век буду теперь ездить на «скорой», у них трудно с кадрами.

— Ну и что?

— Мальчишка тот... ну из притчи с афишкой... был мой Васька. Из костей, можно сказать, собрали...

Солнце снова выбралось из-за тучки. Высветило веснушки на лице Василия.

— А сюда чего? — кивнул Никита ему на дом.

— Врача привез, — толкнул Василий передний баллон. — Девушка умирает.

— ?

— От любви, говорят. Отравилась.

Тучка ушла, небо расчистилось, солнце светило теперь постоянно. Никита шел дальше по Дебрянску и видел все вокруг себя как бы изнутри. «Если бы я был богом, — облизнул он пересохшие губы, — я бы той девушке подарил жизнь. Это несправедливо... умирать в такой день. Мир держится на Красоте, Добре и Любви. Как можно Красоте умирать во имя Любви, ведь это же Зло!..»

Никита вернулся в редакцию, прошел к своему столу, поставил локти на стол. Долго смотрел в окно. Достал из ящика чистый лист бумаги, твердеющей рукой написал все эти дни его мучившие строки: «Если бы я был...»

И остановился.

Рука бессильно повисла в воздухе.





Утром я поднялся с ощущением, что сегодня должно что-то произойти. Где-то в дальней квартире дома продолжала звучать радиола и из всего оркестра я слышал только ее — тихий голос челесты. Кажется, Чайковский ввел челесту в оркестр...

Вот уже третий месяц я живу в одиночестве: жена на курсах переподготовки. Звонок заставляет вздрогнуть, возвратиться к действительности. На пороге девушка — крупные, ясные глаза. Ресницы вверх-вниз, вверх-вниз.

— Ого, — раскрываю я дверь и стараюсь не слышать мелодию где-то вдали.

— Елена Сергеевна, — смотрит девушка внимательно, но отчужденно, — прислала к нам в группу письмо. Просит помочь навести в квартире порядок. — И смущается, ямочки на щеках углубляются. — Заботится о вас.

— Да, пожалуй, — пожимаю плечами я и ухожу в глубину квартиры, предоставляя неожиданной гостье право делать в ней что угодно.

Сижу в кресле, Чехов на одной и той же странице. «Заботливая, — вслушиваюсь поневоле, как в соседней комнате двигают стульями, — нашла кого присылать — студентку...»

С Еленой мы уже пятый год. Детей у нас нет, отношения наши строятся на относительно совпадающих вкусах, на интересе к классической литературе. В последнее время мне стало казаться, что судит она о вещах как-то плоско, без глубины. Годы, конечно, и работа, которая заедает, засасывает.

— А это у вас на столе пригласительные? — слышится голос из другой комнаты.

— Да, пригласительные.

— На премьеру? — откровенно разглядывают меня из двери.

— Как видите. Можете ими воспользоваться.

— А это вы Чехова читаете?

Качнув коротким ситцевым платьем и хохотнув, де-

вушка исчезает за дверью. Опять усердно двигает стульями, рычит пылесосом.

После ее ухода я тут же сажусь и пишу Елене письмо, в котором уведомляю, что живу пока сносно, с едой в домашней кухне удовлетворительно, несколько удивлен Елениной тонкостью: ее протезе оставила квартиру в совершенно блестящем состоянии, и вообще как педагог она, Елена, пожалуй, на высоте, если студентки у нее интересуются театром, литературой, например, Чеховым...

Вечером мы с приятелем были в театре. Пьеса оказалась пустячной. Актеры путались со словами, стараясь влезть в проблемы какой-то сегодняшней стройки, пережимали, кричали сорванными голосами. В антракте я увидел ее. Теперь она в розовом платье с красной косынкой на шее. Высокая прическа делает ее чуть ли не дамой. Сидит с подружкой в девятом ряду слева. «Работают на оттенках, — машинально отмечаю я, — подружка — шатенка, сама — химическая блондинка».

В антракте стою у распахнутой форточки. Воздух сперт, дышать трудно: театрик старенький, фойе деревянное — забирает и ту малую толику, какая отпущена человеко-зрительской единице. За окном проезжая улица, город, в форточку тянет бензином.

— А это Золушка, — представляю я приятелю знакомую девушку. — Моя утренняя звезда.

— Не слишком ли смелое сравнение? — говорит она с каким-то вызовом. — Я — Оля, а это — Инга. А это, — кивает она на меня подружке, — муж Елены Сергеевны.

— А это Осколков, — в тон ей киваю я на приятеля. — Художник. В будущем гигант изобразительного искусства.

— Вы в самом деле художник? — живо поворачивает к Осколкову Инга свое холерное, матово-бледное лицо. — Вы живописец?

— Только не живописец, — пугается он разговора и проводит ладонью по жидковатым, бесцветным волосикам, прилипшим ко лбу. Сегодня Осколков серее обычного, даже землист, лицо — как шляпка у недельного гриба. Много, что ли, работал? Да, он, Осколков, художник, но кто знает об этом, кроме него самого?

Ольга смотрит в окно, за окном гудит город.

— На первом курсе я занималась в народном театре, — говорит она, и голос ее протяжен, глаза грустно-

ваты. — С той, что сегодня... главная героиня. На настоящей сцене. Настоящая актриса... А у нас с Ингой вот-вот госэкзамены, а потом в деревню. Учить ребят-шек английскому и...

— И прощай, молодость, прощайте, мечты, а? — оживляется Осколков и искусственно, как-то деревянно смеется. Разговор принимает явно панихидный характер. После спектакля приглашаю к себе в пенаты. Там насчет ролей все и выясним.

Все, что произошло на сцене, сразу и отлетело. Эта ночь гораздо таинственнее, интереснее, чем та, ходульная, которая только что мелькнула в финале. Отдуваясь тормозами на стрелке, в неосвещенную улицу прогрохотал трамвай. Встрепенулись грачи. И опять тишина. Где-то под самыми звездами острый купол Михаилоархангельской церкви, справа берег, Орлик колышет рассеянным, холодноватым свинцом.

— Здесь, говорят, венчался Лесков, — нарушает молчание Инга.

— Не Лесков, а Леонид Андреев, — поправляет Осколков.

— Нет, Лесков! Верно, Лесков? — капризничает Инга и поворачивается ко мне. — И еще мой дедушка с бабушкой.

— Подумать только, это к тому же и ваша семейная церковь? — Осколков, нагляя, берет ее под руку.

— Да, семейная, — освобождает она свою руку.

А вот и они, «пенаты» Осколкова. В ветхозаветном домишке на восьми квадратных метрах — и жилье, и мастерская. Правда, впервые пришедших сюда многое умиляет: у порога в роли шлепанцев пудовые чуни, в липовом тусеке ложка для обуви, в сине-желтый цвет акварелью расписаны печь и окно, на полу — в избытке фантазии и масляной краски — «мохнатый» ковер, шедевр осколковской кисти.

— А ну, приветствуй гостей, — дернул Осколков шнуток, и смешливая, самодовольная рожица закачалась, закивала в углу.

— Князь Балалай рад вас видеть и имеет честь предложить, — заявляет важно Осколков и отодвигает князя небрежно: за ним, в нишке, оказывается бутылка.

«Опять он со своим Балалаем», — наблюдаю я за происходящим с легкой досадой. Ольга рассматривает «пенаты» с нескрываемым удовольствием, Инга не без

любопытства, но, кажется, с палетом иронии, как какую-нибудь экзотику, — ранчо или бунгало, чум, ярангу. Раскладушка, полка для книг, самодельный столик из дубовой коряги, нечто вроде стульев из хитросплетенья корней и всюду фигурки — Баба Яга, Конек-Горбунок, Кот в сапогах...

— Из бабушкиных сказок, — улыбается Осколков.

— Как вас зовут? — спрашивает Инга.

— Василий.

— А меня Инга, — зачем-то еще раз называет она свое имя и поворачивается, откровенно разглядывает Осколкова. Осколков разливает по бочонкам-стопарикам ярко-зеленую жидкость — ликер.

— Говорят, «шартрез» во Франции пили когда-то извозчики, — замедляет Василий движение и разглаживает зачем-то лоб свободной рукой. — У меня есть копыак. На любителя.

— Какие у вас большие кончики пальцев, — замечает обмякшая, добрая Ольга.

Молчание вечно. В нем — вся ночь, все свое и чужое. Скребется о стекло упругая ветка.

— За осуществление мечты, — резко встает Осколков, глаза его темнеют, становятся жесткими. — Будем работать! В работе наше спасение, наше движение к самому себе, к людям. Выпьем за «перпетуум мобиле»...

— Как скучно, — отклоняет стопарик Инга. — Лучше выпьем за ваше искусство, за... Балалая. — Она дергает шнурок, и фигурка в углу начинает кривляться, раскачивать головой.

— Ну вот и засветилась в груди лампадка, — шумно выдыхает Осколков. — Кстати, этот паяц идет цветной вставкой в московском журнале.

«Все то же самое, — снова приходит мне в голову. — Про лампадку, про вставку... Смейся, паяц!.. Поздно, пожалуй. В окно словно сыплет песком — резкий просяной дождь. А домой ехать надо...»

— ...каждое утро я смотрю, как на меня движется мост, — возвращает меня к действительности голос Василия. — Он все движется, движется. Медленно, а порой так хочется побыстрее. Подгоняем время... от зарплаты до зарплаты, прогоняем жизнь. Как только мост доведут до той вон отметины, дом наш снесут, и дадут всем квартиры. В конце коридора живет тут одна молодая семья. Валюша — молоденькая такая — говорит:

ради этого, чтобы только не ждать, готова постареть сразу на пять—семь лет... Пока молодые... Пока ничего не имеем, да... Каждое утро прихожу к строителям моста: когда? Изучил все до тонкости. Знаю, что такое опора, ферма поперечная, продольная связи. Мосты арочные, акведуки, наплавные, разводные. Перед глазами картинка из «Энциклопедии»: каменный, сказочный мост где-то в Пиренеях, построен еще в первом веке.

— Кстати, не его ли описывает Хемингуэй в... «По ком звонит колокол»? — хозяйничает Инга, разливая кофе по желудям-чашечкам.

— Возможно, — смотрит на нее откровенно Осколков и продолжает: — И тогда кто-то будет вот так же наливать мне кофе... утром... из голубого кофейника...

— Это ваша комната или вы на квартире? — спрашивает неожиданно Ольга.

Всем неожиданно. Я даже оторопел. Сижу, цепенся.

— Ну да, — отвечаю я за Осколкова, пожалуй, горячее обычного, а всему виною «шартрез», который во Франции пили когда-то извозчики. Ломовой, бедовый народ. — Ну да, милая, это его комната, на нее имеется ордер. И когда мост надвинется настолько, что домишко станет поперек горла, на него напустят бульдозер, и тогда дадут, наконец, будущей знаменитости квартиру-дворец с водопроводом и ванной. И тогда влезет он в нее, присмирееет, станет ручным. Парадокс: рисовать речку с девственными берегами и жаждать моста, чтобы... чтобы кто-то наливал ему кофе из голубого кофейника...

— Не надо, Алексей, — морщится, как от зубной боли, Осколков. — Ты не совсем логичен... откровение за чужой счет. Выпьем еще?

За окном по-прежнему дождь.

— А почему бы и нет, — сдергивает Ольга косынку с шеи, — откровенность за откровенность.

— Вечер откровений, — смотрит на нее укоряюще Инга.

— Да, если хочешь! — выдерживает, не опускает глаз Ольга.

— Можете на меня положиться, — переводит свой взгляд с Ольги на Осколкова Инга, — я на голубой кофейник не посягну. Не вижу у вас тут ничего такого... гигантского. Все в шутку, забава, а пора бы иметь что-нибудь и посерьезнее этого... Балалая.

Осколков сидит, опустив голову. Краснеет с кончи-

ков ушей, с шен. Белесые, бесцветные волосы прилипают ко лбу.

— Что понимаешь ты, цаца? — разжимает, наконец, зубы Василий. — Воспитывалась папенькой с маменькой, пирожные каждый день трескала. А я к цели шел, землю глодал. Но дело свое не предал и не предаю, делать его для денег не буду! Соль из вагонов пойду разгружать, а не буду. Ясно? Была у меня девушка. Хорошая девушка, дочка школьной уборщицы. Клялась в вечной любви, а позвала... в общем, на свадьбу. Сын директора завода увел... Я после всю ночь проплакал, дал зарок работать, как вол. Стать человеком, художником. Как это в моде сейчас: будем давать качество. А будет это самое качество — будут и деньги. Куплю машину, стану возить на пленэр всех этих дочек...

— Злой вы, Осколков, — поднимается Ольга. — Так просто жить нельзя, а не то, чтобы быть художником.

— А ты думаешь, художник тебе иисусик, писаная иконка?.. Ну и ну, — делает Осколков большие глаза и резко смеется, напевает фальцетом: — Ах, Ольга! Я люблю вас, я люблю вас, Ольга...

— А вы не поясничайте, — воодушевляется Ольга.

«Неужто шартрез когда-то пили только извозчики?»

— На машине соль разгружать не поедешь, пирожные захочется трескать. Вон Инга... лаковые сапожки у нее первой, кремплин тоже. А мне платье купить — надо стипендию ужимать, недоедать. Мы, девушки, говорить об этом не любим. Мы за модой следим, всегда веселы... Не перебивай меня! Да, ты, Инга, я знаю, не поедешь в деревню. Не поедешь, не перебивай. Тебе уже подыскали работу. Ты и квартиру получишь здесь, как и сестрица твоя, через год. Да разве понять тебе, чего стоит стать кому-то художником? Когда все сам, все с нуля, верно, Василий?

— Так что ж, — передергивает Инга плечами, — давайте холить талант? Давайте поить его, как, скажем, меня молочком? Я простой человек, меня можно и молочком. А талант — извините. Ноги — в холоде, живот — в голоде...

— Фи, как скучно, — перебивает Ингу Осколков. — Девочки обнаруживают знания жизни... Не кажется ли вам, господа, что мы уже засиделись? — говорит он и решительно встает со своей раскладушки. — Развезу вас на «Яве». Начнем с вас, мадемуазель Инга. Не бой-

тешь, доставлю к родителям, как секретный пакет... с сургучной печатью...

Ольга прощается с Ингой. Сидит, натянувшись: казнится, наверно, за излишнюю откровенность. В окно ударяет свет фар, сквозь рев мотоцикла пробивается шелест дождя. Возникает и опять продолжает звучать во мне то, что явилось прошедшей ночью во сне, — тихий голос челесты.

— Вам нравится здесь? — спрашиваю я, чтобы что-то спросить.

Она дергает шнурок, Балалай раскачивает головой вверх-вниз, вверх-вниз. Глаза ее крупные, ясные, ресницы вверх-вниз, вверх-вниз. Придвигается ко мне, кладет голову на плечо. Сидим и молчим. Так можно и час, можно так и четыре... В коридоре слышится топот, вваливается Осколков. Снимает шлем, бросает на раскладушку.

— Отвез. Торможу перед красным — ну, думаю, сейчас занесет. Кинуло на обочину...

— Мне пора, — привстает Ольга.

— Куда тебе, — смеется Осколков. — Поздно же. Погляди на часы — без четверти час. Порядочки в вашем общежитии знаю. Ночуйте здесь.

Крупные, ясные глаза смотрят то на Осколкова, то на меня, то опять на Осколкова.

— Раскладушка, мадам, — сладко, намеренно сладко потягивается Осколков, — полностью в вашем распоряжении.

Василий панствует на полу, на выдавшей виды собачьей шкуре. Я пристроился в конце раскладушки, у ног Ольги. Привалившись к стене, размышляю в полудреме о жизни, семейном долге, сегодняшней ситуации, из которой неизвестно что и получится. Кто-то касается руки — Ольга! Слышу ее дыхание, оно приближается и обжигает шею.

Светаёт. Уже можно видеть ее. Лицо расплывчато от теней. Не отводит взгляда, какой красивой делает девушку страсть. Думаешь о себе, как о ком-то стороннем, третьем... Она улыбается тебе, то есть ему. Как это у нее получается — одним краешком губ. Но едва он потянется к ней, отодвигается: «Не надо, не на-а-до», — а сама кладет его руки на свои шелковые плечи, на бесстыдно тугие соски. Строка его снова станет упругой, тугой. Надо писать о любви. На мосту начинает

ухать паровая баба. Как кукушка. Сегодня нагадает мне, завтра — другому. Сколько лет проживем так вот? Раз, два, три...

— Слушала Елену Сергеевну, — шепчет на ухо Ольга, — и понимала: она, как Луна, светит твоим — не своим, отраженным светом.

Выскользнув из волос, хлопается на пол ее шпилька. Бедняга Осколков, каково ему там, внизу, на своей собачьей шкуре? Углы постепенно отходят, сереют. Отстранив ее, он видит в глазах переблески рассвета, различает даже стоящего у печи Балалая. Кончается недлинная апрельская ночь.

— Ляг на прежнее место, — шепчет, шепчет на ухо Ольга.

— Почему?

— Не хочу, чтобы видели нас.

По потолку перебегают тени от веток там, за окном. Она лежит лицом вниз, чтобы не испортить прическу, которой уже нет. Выхожу потихоньку из комнаты.

Когда возвращаюсь, простоволосая Ольга наливает Осколкову кофе из голубого кофейника. Смех обрывается, Ольга наклоняет кофейник ему ниже, ниже. Говорим так, ни о чем, о пустяках.

Вся наша жизнь в пустяках.

Осколков провожает нас до порога.

— Заходите, Ольга, — говорит он, мне кажется, с какою-то тайной. — Не забывай и ты, друже.

Уходим. Кривыми старинными улочками. Мимо покосившихся деревянных домишек, где живут тоже в комнатах-клетках шесть на восемь. Переходим к мосту.

— Не сердись, — касается Ольга моего локтя.

Останавливается, ловит мой взгляд, словно что-то запоминая, долго смотрит в глаза.

Встретились дня через три. В троллейбусе. Вышли на первой же остановке. Брели по вечерней, слабо освещенной улице.

— Как жила эти дни, Ольга? — спрашивал я, заметно волнуясь.

— Как жила? — повторила она. — На пять звездочек.

Что-то екнуло в сердце: бумеранг! Эту фразу сказал я когда-то Осколкову.

— А ты паливала ему из голубого кофейника?

— Да, паливала.

— И...

— Да, и ездила с ним на пленэр... Ведете меня темной улицей, чтобы с кем-нибудь не столкнуться. Герой нашего времени!.. Я знаю, что вы обо мне с Осколковым думаете: кончает институт, не хочется ехать в деревню... Да, попала в город из деревни девчонка. Показали ей сцену, возможности и обратно туда, откуда приехала. Да, я возвращаюсь в деревню. Не бойтесь, не перестану умыться, чистить зубы и делать прическу, как некоторые. У меня будут дети, великолепные дети. Сорок, шестьдесят, сто великолепных детей. Я открою им мир, научу их.. великолепных, талантливых..

Она прислонилась к липке, держалась за ствол, и первые листья на ней трепетали, все трепетали: вдали проходили трамваи.

— Мне пора, — сказала она едва слышно, — в общежитие надо... успеть.

Уходила. Прямая и строгая. Обернется? Обернулась. Свернула решительно в боковой переулок.

Скорее сюда, на Дворянское гнездо, к белой ротонде. Далеко внизу едва угадывается наполненный звездами Орлик. Плещет вода через край, в звездах — тени минувшего. Хлопнули где-то калиткой, раздались голоса. А клены все шелестят, шелесты строят мелодию, и это было всегда, бесконечно, тихий голос челюсты будет и после нас.

Наутро резкий звонок сбрасывает меня с постели: Елена!

— Получила письмо от тебя, — ставит она чемоданчик и снимает новую, модную шляпку, движением головы резко отбрасывает прическу назад. — Кому это я письмо послала? Кто тебе убирал тут квартиру?

— Ситуация, — поднимаю я чемоданчик и проношу его в комнату, ставлю зачем-то на стол, на свежую рукопись, на чеховский томик.

— Как ты тут хоть? — кладет она руки на плечи мне и заглядывает, заглядывает в глаза.

— Все нормально, — отвечаю я бодро. — На пять звездочек.

А в оркестре слышен тихий голос челюсты. И близко, и далеко-далеко.

Лето 1980 г.



ЧИСТЫЕ ПРУДЫ



Каждое утро она расстается с постелью чуть свет и, наскоро попив чаю, торопится к автобусу на Москву. Каждое утро, вынырнув уже в Москве из метро, она проходит мимо Чистых прудов, всякий раз удивляясь, как невозмутима, непорочна их гладь. И только там, за поверхностью воды, возникая из небытия — из рассеянных мелких листочков, из слабых морщинок, и являются они, эти лики булгаковские: Коровьев, Воланд, кот Фагот и сам Мастер. И сама она — Маргарита Успенская, учительница литературы одной из московских школ...

«Аннушка разлила масло, а у Берлиоза соскочила голова...»

Боже, как же завидно ей тем, кому до школы десять, пятнадцать минут ходьбы, ну от силы, может быть, полчаса, а она добирается ведь два с половиной. И так каждое утро. Долгие годы.

От чистых прудов ушла — к Чистым прудам и приехала. У них в Степановском, в ближнем их Подмосковье, прудов целый каскад. Раз, два, три... пять... ну да, целых пять... Они выкопаны еще в эпоху князей и графов, роскошных дворянских усадеб. Теперь здесь больница, печально известный «раковый корпус», описанный Солженицыным. Именно он и съел мужа ее — Михаила, этот «раковый корпус», где Миша сам был врачом...

Каскад в мощных, заматерелых елях. Самый верхний пруд, поспешая с окрестных полей, наливают внешние воды, снеговые — чистые, грязноватые — позже, когда земная поверхность отмякнет, начнет сбрасывать с себя нечистоты: полиэтилен, остатки нефтепродуктов, всякую там агрохимию... С верхнего пруда вода падает ниже — во второй и, отстаиваясь, становится чище... Самым чистым прудом должен быть пятый, где купались в июльские жары, теперь степановские купаются выше, в четвертом.

Пятый пруд настолько прозрачен, что видать все до камешка, русалочки водоросли — зеленые терема; его

окупили те, что из «корпуса», этот пруд теперь ихний...

Маргарита Николаевна живет в двухэтажном каменном доме окнами как раз на четвертый. Редкими вечерами, когда ей удастся приехать пораньше, она пристраивается с книжкой к окну, сидит тихой мышкой и порой так задумается, глядя на плоские тихие воды, на плоские зеленые чаши лилий, удивляясь, как это птички расхаживают по зеленой поверхности, почему-то не тонут, и не заметит, как книжка шлепнется о пол...

Тут в доме, у четвертого пруда, живут все такие же, как они с Михаилом (царство ему небесное), кто откуда: орловские, тульские, с Урала, Алтая, донбассовские. Те, что местные — коренные, проживают не здесь — в собственных домах, на отшибе...

Она не поднимает книжки, пусто смотрит прямо перед собой.

...Вот и жизнь пролетела. Четвертый пруд — это их достижение, потолок. До Чистых прудов в Москве так ведь и не добрались. А птички, это скорее всего синички, расхаживают по водяным лилиям, по закругленному краешку. Из простого любопытства глянет какая-нибудь в аспидно-черную воду, окунет клюв и вверх его — пьет...

Тот, еще первый пруд был у них с Михаилом совсем не таким. Светлым, ромашковым, березнячковым. Где-то в молодости, в Голуни, что на Орловщине. И взялся-то он невесть откуда, скорее всего от речки — «старица», старое русло, Зуша затекала сюда только веснами и оставалась. «Старица» была как раз посередке, между Михайловой больничкой и ее — Ритиной школой. Там, на виду берегов, они и встречались, там он ее и поцеловал...

Об этой «старице» им написаны были стихи, он увез их с собой в Орел, куда его перевели в большую поликлинику фтизиатром — по легочным заболеваниям. И она перебралась туда к нему, и они поженились. И там, в Орле, у них был тоже свой пруд — второй в их совместной жизни. И тоже чистый, тоже где-то в сторонке, за городом — в Корабликах, тепловатый, с твердым песчаным дном. Когда у них родился Сережа, им потребовался земельный участок. Да не столько ради картошки, сколько сыну — для свежего воздуха — где поиграть. А земля — скипелась вся, камень сплошь. От

лопаты руки у Миши покрывались кровавыми мозолями; когда на камень лег черпозем, стало хоть что-то радостно...

Все тогда только и мечтали уехать в Москву, в Подмосковье. И им надоело мотаться; колбасу, мясо возить в поездах... Получили двухкомнатную квартиру — и Михаил стал пропадать в Москве, в знаменитом Банном переулке, в обменном бюро по квартирам, где искал, как и все, свое счастье — свои «варианты». В конце концов стало ясно, что они — «черная кость», в Москву напрямую нельзя. Туда нельзя, сюда нельзя — всюду нельзя. И можно было, лишь изощрясь, особым способом — по «лимиту»; иные из однокашников по институту жили уже кто в Пушкино, кто в Долгопрудном, в Лобне, Химках, а кто-то даже в Москве, «белая кость» сидела в самом министерстве. Вот что было, канальство, заманчиво. И, конечно, обидно...

— Главное, ты хоть из Курска, провинциал, — упрекала она супруга. — А я-то в Москве, в областном пединституте училась, мне в ней дорого все...

А потом и у них наклюнулся «вариантик». Правда, от Большой Москвы далековато: в Высоковске — городишке где-то за Клином. Но и это уже было что-то: в Подмосковье возможны свои «варианты». И она с подмосковской пропиской тут же устроилась в свою эту московскую школу для детей с частичным расстройством двигательного аппарата. Короче, деньги нужны, и в этой школе платили больше на целую четверть ставки...

И жила она на птичьих правах у старых добрых знакомых на старом Арбате. И лишь наезжала домой в Высоковск — на выходные...

«Апнушка разлила масло, а у Берлиоза соскочила голова».

Попачалу Михаил был участковым врачом, пока не устроился врачом футбольной команды в соседнем Клину...

И там, в Высоковске, у них был свой пруд. И вообще, что такое Высоковск? Это всего-навсего пруд и фабричка на берегу. Остальное все — к фабричке и для фабрички. В то время их еще грели надежды. Он и помнится ей оттуда, никогда ведь не выглядел лучше! Загорелый, в отглаженных кремовых брючках, в кремоватой же тенниске, и шевелюра всюю, шевелюра, — сильный и молодой.

А в руках его весла, и он гонит лодку туда и обратно, туда и обратно. И это — праздник, на берегу пруда столько веселого люда, и он скалит зубы в улыбке, а в душе ее музыка, та самая — шестая симфония Чайковского, она звучит в ней по сю пору, когда вспоминается пруд тот и та лодка, и это вовсе не Клин, не музей в Клину Петра Ильича, не прекрасный концертный зал, где они вдвоем слушали эту совершенно прекрасную музыку. Все это третий их, высококовский пруд — доминанта!

А дальше — вот этот, четвертый... и все.. а пятому не бывать...

И они перебрались сюда, к четвертому пруду, поближе к Москве, в ближнее Подмосковье. Отсюда на работу можно было хоть ездить, и она уже не почевала на старом Арбате, из милости и сострадания.

Но ту лодку, тот третий пруд и все, что предшествовало четвертому, она помнит до мельчайших штрихов. Ах, как они катались на лодке в тот раз! — туда-сюда, и в следующий раз... и еще... и еще... «Чтобы продлить удовольствие, чтобы видеть его красивым и сильным», — уговаривала она себя. Ему было там хорошо, до сих пор она чувствует себя виноватой. Она любила его всегда, он был у нее единственный...

— Там же только одно место, — говорил он, не глядя в глаза ей. — Место врача-радиолога. А это изотопы все-таки, облучение...

— Ты хочешь, чтобы я, жена твоя, спала на старом тюфяке, у двери всю свою жизнь? — опускала она палец в воду и чертила пальцем волну. — Чтобы я по-прежнему приезжала домой лишь на выходные, да?

— Я люблю тебя, Рита...

— Раковый корпус, да? Для таких, как тот писатель, что пошел на эксперимент...

— Я горжусь тобой, Маргарита, я горжусь роскошью этих волос...

Она знала, он ревнует ее, он всегда ее ревновал — даже там, в Голуни, и особенно здесь, он просто с ума сходил вечерами, ночами, когда она не приезжала. И ей, как женщине, это, наверное, нравилось.

— Хорошо. Давай переедем. Только знай, дорогая, это делаю я не для себя — для тебя...

— Ты серьезно? — отбирала она у него весло. —

Ты — серьезно?? Ну нет! Лучше буду уж ездить, лучше там ночевать.

— Ну нет! — теперь упорствовал он. — Я не хочу, чтобы ты пропадала сутками. Чтобы ты валялась где-то на тюфяке... Я хочу, чтобы ты, как люди, ездила каждый день на работу. Чтобы ты приезжала из дому к своим Чистым прудам, к своим теням булгаковским...

— Ну хорошо, — прикрывала она ему рот ладошкой. — Хорошо, я согласна...

И целовала его, целовала.

В первые годы своей жизни в Степановском они еще купались в четвертом пруду, где и все. К пятому — с самой чистой водой даже и не спускались, чтобы не встретить знакомых из «корпуса». Он приходил с работы усталый, разбитый, сразу ложился в постель...

И, когда заболел, из дому уже не выходил. И на этот — четвертый пруд только смотрел — отсюда, из этого вот окна. И обследование, процедуры ему проводили уже другие врачи и друг его — тоже врач-радиолог.

Он не хотел, чтобы его видели таким — смертельно усталым, совсем стариком. Он не хотел, чтобы она на него смотрела. И он выходил из своей комнаты в сумерках, брал из рук у нее журнальчик и откладывал в сторону очередную новинку, которую проглотил еще вчера. Он знал свои дни и часы и — спешил.

— Идем, — сказал он отважно.

И она знала — куда. По хвойному лесу они выбредали туда же — к четвертому пруду. И он подолгу стоял у воды, а она об этом боялась даже подумать: он — прощался.

— Чистая, — сказал он не то ей, не то поверхности вод виновато, и даже в сумерках не смотрел ей в глаза.

И также по хвойному лесу, одной им известной тропинкой, они удалялись от Степановского, туда — за «раковый корпус», к Ильинскому, где была конеферма. Коней везли со всей страны, особенно, говорили, из Азии. А тут у них брали кровь, чтобы приготовить ту самую сыворотку, которой потчевали теперь и его. Бедные, бедные кони! Уже завтра к вечеру они не увидят ни солнца, ни каскада прудов, ни того — четвертого пруда. До них уже завтра к вечеру не долетят ветры из Азии, а также и из Голуни...

До пятого пруда Михаил недотянул. Так и остался

тут, на том берегу, у четвертого пруда. Где и все орловские, тульские, с Алтая, донбассовские, а также и местные, коренные — степановские, но только и там, как и тут, на отшибе...

А Сережа все больше похож на отца — родной человек, их кровинка, кровинушка. Едва слышит шаги по лестнице, едва под балконом различит его говорок, она замирает. И мнет сердце себе. Как голубя, берет в руку и мнет. А оно ведь не слушается и уже не летает. Отлетались и те синички, каких он привечал к окну: ставил водицы, клал в кормушку то сала, то когда и что было — конфет...

Теперь они — эти синички, да воп же они, — летают на пруд, к чистой воде. И ходят по плоской зеленой водяной чаше лилии, заглядывают в плоскую черную воду, под большой желтый цветок. Чего они ищут, кого? Или на воде — еще от весны — осталось его изображение на небе, куда отлетела душа, и они его видят, и ждут от него чего-то, чего уж никто не ждет...

А у Сережи теперь мечта — вернуться туда, к их первому пруду, к березам, к ромашкам голунским. Боже, это теперь его розовая мечта. И все, выходит, сначала?..

Маргарита Николаевна, встав, как обычно, чуть свет, долго смотрит в еще темное окно, за окно — на лунный матово-пепельный пруд. «Он потерял часы, — вспомнился эпизод. — И сказал жуткую вещь: его время кончилось». Она собирает потрепанный свой портфельчик. Оглядывает книжную полку, принимается нервно шарить по полкам, нервно снимать с полки тома. «Книга — учебник жизни», «Самому прекрасному в себе я обязан книгам», — кто все это наговорил, — Горький?

А Сергей еще спит. Спи, сынок, спи, родимое, светлое пятнышко!..

На цыпочках, чтобы половицей не скрипнуть, она проходит на кухню. Быстро-быстро готовит сразу все, на весь день: завтрак, обед и ужин. Оставляет записку. Прикрыв дверь, беззвучно уходит.

И только на улице вздыхает свободнее и видит луну над собой. И тени подлунные, знобкие, сонно бредущие, как и она, к остановке. И первый автобус.

Она выходит из метро, как обычно. Сто сорок пять ступенек. Одно и то же, одно и то же. С ума сойти, два с половиной часа и ни минутой меньше. Утром и вече-

ром, вечером — в обратную сторону. Вчера, сегодня и завтра — всю жизнь.

Она проходит мимо Чистых прудов. А тут птички почему-то не ходят по лилиям, тут вообще почему-то никто из птичек не ходит, их просто-напросто нет.

«Аннушка разлила масло...» Книжки не сделали нас счастливее, нет. «...А у Берлиоза соскочила голова».

И Маргарита достает из своего портфельчика томик, том — томину, томище. Кладет на камень прямо у чистой прудовой воды. И уходит от них — не оглянувшись.

Ветер схватывает, вертит страницы. Кто-то из прохожих берет один том, второй: «Михаил Алексеев», «Петр Проскурин», «Василий Белов», «Валентин Распутин»... Кладет всех обратно, забирает назад «Распутина»...

Резко звоня, мимо пролетает трамвай, пронося над Чистыми прудами, над своей головой все то же: булгаковский сноп неискоренимых, непобедимых временем электрических брызг.

8 ноября 1994 г.



У меня сегодня катар верхних дыхательных, ночью была температура, но я раб своего слова и потому должен вставать, подбирать к костюму рубашку и галстук, отправляться к скверу у туристского клуба «Глобус», где работаю в штате. И ведь не нужно рандеву, тары-бары, пустой разговор. Отношения с Игнатом Прихожаниным уже с полгода как треснули, не в одном, так в другом жди подвоха. Предприимчивый парень.

— Скорее, — встречает он меня в условленном месте и тащит куда-то, — скорее.

Он, вероятно, забыл, о чем вчера договаривались. У самого входа в парк сидит в светлом светлоголовая девушка.

— Вы должны быть знакомы, — улыбается Игнат. — Она тут рядом с нами... в вечерней школе... учительница.

— Вера, — подает она руку.

Белесые ресницы, пушок по лицу, простоватое выражение — пастушка. Плащ тонкого рисунка, красный уголок свитера, туфли на высокой платформе — ничего, впечатляет. Игнат предлагает поискать сухого вина, она не отказывается.

— Но мне-то, мне-то зачем с вами? — молю я Прихожанина. — Отпустите меня, ради бога, я сегодня не в форме. Ты, Игнат, просто великолепен, ты Вере нравишься. Вам двоим хорошо, без меня еще лучше.

— Идем, — тянет Игнат, — идем в кафе, я приглашаю.

Вера встает. Стоя, она стройна, даже эффектна. Таким нельзя сидеть на садовых скамейках, просто преступно сидеть на каких-то садовых скамейках, таким надо ходить. Плащ трапецией, слегка укороченный, скрывает талию, зато всю ее делают легкой стройные, безукоризненные по очертаниям ноги, ноги лани, газели, ноги, какие днем с огнем искал по Руси еще Пушкин.

Вера идет по-особому, слегка пританцовывая, угиба-

ясь к ногам, поглядывая искоса то на нас, то на здания, украшенные флагами. После субботника город неузнаваем, меньше пыльного хруста на зубах, в тополях заметно прибавилось зелени, которая в сочетании с развешанными всюду полотнищами и создает ощущение праздника, теснит душу, рождает тревогу, предчувствия.

— Всего вам, старики, — делаю я им ручкой перед самым кафе «Минутка». Игнат меня ловит за руку:

— Чего уж, пришли.

«Он трус, — мелькает во мне, — он просто боится женщин. И я в качестве бутафории должен создать обстановку, устроить ему отношения».

— Ну хорошо, — говорю я с улыбкой, — это тебе будет дорого стоить.

— Ты так считаешь, Сева? — улыбается приятель в ответ.

Когда Вера сняла на вешалке плащ, мы просто-напросто обалдели. Алый шерстяной трикотаж облегал, подчеркивал формы. Что говорят в таких случаях? Афродита? Джина Лоллобриджида? Она шла по проходу до самой стены, до самого дальнего столика. Шла бы и шла бесконечно, сквозь стены и дальше, шла бы...

Игнат сегодня в ударе: заказывает сухое вино — приносят столовое, красное с белым журавлем, «Мерло» — молдавское производство. Он разливает по тонким удлинненным фужерам, поднимает первым бокал.

— Когда пьют вино, смотрят друг другу в глаза, — говорю я, и она смотрит вверх фужера.

— Какие голубые глаза, — приглушаю я голос. — Особенно при таком обилии красного: красный костюм, красная штора.

— Это весна, — приглушает голос она. — Весной они у меня голубеют.

— «Мерло!» — нервно смеется Игнат. — Интересно, сколько нужно бутылок «Мерло», чтобы превратиться в мурло? Закажу-ка водочки. Традиционно.

— Вот так и муж у меня («муж у нее?»): традиционно, все ясно, — дергает плечиком Вера. — Вадим был летчиком... Я переехала к вам сюда, к его матери («Видимо, ищет мужского общества»).

— Сегодня с нами должно что-то произойти, Вера — говорю я с шутливой торжественностью. — Взгляните

на стенку. Сюда-сюда, на чеканку. Пастушок играет на дудочке... Как раз рядом вы...

Рассматривая чеканку, Вера заметно бледнеет.

— Тебе плохо? — замечает Игнат и достает из кармана, протягивает ей сигарету.

— Между прочим, — говорю я (черти меня подмывают), — один мой школьный товарищ не прошел в институт международных отношений. На собеседовании возьми и протяни сигарету так же вот... из кармана.

— Твой сын прошел бы, — делает выпад Игнат (запрещенный прием).

— Извините, я не так давно из больницы, — пришла в себя Вера, глаза ее печальны и выразительны.— Этой весной... вот сюда... вкатили уколов пятьсот.

— Я бы лично вкатил и побольше, — смотрит, наглежа, на нее через стол Игнат (водка, видно, заговорила).

— У нас в палате умерла старушка, часа четыре лежала, не убирала, — выдерживает Вера его взгляд.— Некому, что ли. Вообще просят кого-либо из больных, а когда вынесут, за это наливают им спиртику. Потом сами добавляют, напьются, а их за пьянку выписывают...

— Что ты говоришь? — делаю я большие глаза. — Просто не верится.

— Я сама, — отстраняет она руку Игната с графинчиком водки и берет бутылку «Мерло», рукавом при этом нечаянно цепляет фужер.

— Какая неловкая, — виновато улыбается Вера.

— Это у меня, наверно, наследственное, — прикашливает Вера. — Отец умер от рака легких, а Вадим летал на истребителях. В мае будет год, как погиб.

— Такая профессия, — сочувствую я.

— Это интересно, — потирает руки Игнат. — Прямо какой-то узел трагедий. Бьюсь об заклад, я тебя понимаю, Сева, она мне нравится, да!

У Игната едва уловимый комплекс, связанный со шрамом на верхней губе — «заячья губа», которую в детстве аккуратно зашили, и все же порой она дает знать о себе, и потому приятель ведет себя то чересчур уверенно, даже нахально, то, наоборот, слишком застенчив.

— Вадим здесь у вас... на воинском кладбище, — склоняется Вера.

— Вы знаете, — преодолеваю, наконец, я себя, —

здесь совсем рядом морг. Так вот был тут один примечательный случай. И тоже с летчиком... В войну он летал в истребителях, после демобили создал у нас команду спортсменов-летчиков, одну из лучших в стране, Славка Козырев был у него даже чемпионом мира по высшему пилотажу. Так вот, шел этот тренер по улице, а его по затылку автобусом. Ну и отвезли человека в морг... Представляете, я с ним разговаривал... Очнулся он: тьма, рукой туда-сюда — стеллажи, что-то мягкое, когда понял все, потерял снова сознание. Организм был, правда, стальной, выжил, а летать он уже не летал. Так команда и развалилась. Вы верите, Вера, в хороших людей?..

Чувствую, что во мне являются силы, что меня куда-то ведет, а язык без костей. Игнат пытается овладеть инициативой, но Вера слушает больше меня.

— Послушай, — перебиваю я Игната, когда он пытается повернуть разговор в нужное ему русло, — послушай-ка, дай закурить. — И когда он — нарочно уже — достает из кармана по папиресе, я смотрю на Веру в полуулыбке: — Да, Игнат, в ИМО ты не пройдешь.

Игнат замолкает, а я пускаюсь в дурацкое откровение.

— Так вот, была у меня, — начинаю я вполне искренне, — в жизни девочка, Надя или Люба, а может, и Вера — не помню, но именно девочка еще, девятиклассница... Я тогда тоже был молод, приехал после университета в районную редакцию литсотрудником. Со скуки пошел на танцплощадку, станцевал разок, сказал пару слов, ну и, ясное дело, забыл. А на новогоднем балу подходит ко мне парламентарша: вас, говорит, ждут у водокачки. Надя, оказывается, или Вера, в общем, та, с которой я станцевал. Всю жизнь, говорит, буду любить, а за что?.. Женился я на другой, конечно, так Вера всю жизнь построила по ее образцу: такое же образование, такие же интересы...

Смотрю через стол на Веру, на чеканку за нею. Вера слегка покраснелась — то ли от выпитого, то ль от шторы. Кажется, протяни ей руку — и она протянет свою. Неповторим порыв, когда в этом мире возникают вдруг двое. Игнат пытается говорить что-то, но кто слышит его?

— Вчера по телевизору крутили фильм «Декаме-

роп-40». ты не смотрела? — гляжу я на нее, а сам говорю, лишь бы что-нибудь говорить. — В новелле «Маттео Фальконе» по Мериме, помнишь, Фортунато положил на сено ягненка?

— У Мериме не было ягненка, — взрывается Игнат неожиданно. — Мериме чувствует ситуацию тоньше, чем эти киношники. У него была там наседка с цыплятами.

— Ягненок, наседка? Да черт с ними, — смеюсь я, потому что мне сейчас хорошо. — Если точно, братец, там была кошка с котятами.

— Это жена твоя тебе рассказала? Так она тоже литературы не знает, — горячится Игнат (опять запрещенный прием).

Что мне остается? Сказать так же, что его жена еще не знает моей, что сын мой не захочет знать его дочь? Что, в отличие от моей супруги, отправившейся на год лечить детей в Черную Африку, его жена сидит сейчас дома, поджидает супруга? Хорошо же, если ему это так нравится, пусть поет на свидании сам, я сюда не напрашивался...

— Дай, Игнат, закурить, — смотрю я твердо в его стальные глаза. Вот и все, что я могу сказать, что же еще? Сейчас он вытащит из кармана по сигаретке — Вере и мне, и я скажу ему, я уже говорю: — Нет, Игнат, никогда не пройдешь ты в ИМО. Никогда...

Ветер врывается в форточку, швыряет Вере штору в лицо, полыхнув ослепительно, все в зале высвечивается, где-то над головой взрывается бомба, потом далеко-далеко по речке рвут — дорывают — растрескивают старые и новые, совсем новенькие холсты. Гром! Первый, весенний. И не в мае — в апреле. По стеклу широко стекает вода, очертания дома напротив размыты.

Дождь прошел так же быстро, как и начался. Встали, шли к раздевалке. Пока одевались, Игнат куда-то исчез. Вспомнил: Игнат был без плаща, в костюме. Взял и ушел. А как же Вера? Как быть с Верой? Хорошо же, Игнат, покатым куда-нибудь за город, к чертям на кулички, на лоно. Пастушка... Однако каково с ней идти? Так эффектна она в своем укороченном, модном плаще. Так стройны ее ноги, ноги лани, газели. Все на нас обращают внимание, все мужчины и женщины. Даже пухленькая продавщица из промтоварного, что на углу... А Игнат куда-то исчез. Известный прием: спровоцировать и раствориться...

Легкой, танцующей походкой идет с тобой молодая, прекрасная женщина, и ты еще рассуждаешь? Ведь она тебе нравится, да?.. Вот и морг слева. Вот то самое кладбище. Каменная ограда с низкой калиткой.

— Зайдем?

— Зайдем, — дергает Вера плечиком.

Проходим мимо кладбищенской церкви. Завтра Пасха, на паперти люди. Кладем в платок какой-то старушке монеты — она и я, каждый в отдельности. — за все свои прошлые и будущие грехи. Вера берет меня под руку, ведет меня дальше, на воинское кладбище. Не сразу находит вход в него, не сразу видит могилу.

За оградкой скамейка. Садимся. Значит, муж ее тут, — Вадим? Как-то неловко смотреть на надгробье, на стеклянный овальчик портрета, я и не смотрю, только и вижу на краешке белого мрамора контуры самолета. Под ногами песок, ухожено, чисто. Кто приходит сюда? Наверное, мать.

— Дядя мой, — кивает Вера в сторону самолета.

«Почему дядя? Что он — тоже летчик?»

Я кладу на плечо ей руку, и плечо ее ближе, все ближе к моей щеке.

— О, уже пять! — вскакивает Вера. — Позвонить хотя, чтобы забрали сынишку из сада.

— У тебя есть ребенок?

— Да. Три годика. Сын не видел отца.

Выходим через ту же калитку. К телефону-автомату направо. Туда же, через улицу, в точку возможного пересечения с нами движется (вот это да!) Войтюк — мой давний приятель с фоторужьем, рождает же земля таких ехид и трепачей.

С почты домой к ней не дозвонились.

— Придется самой забирать, — смотрит она на меня внимательно.

Дождь сеет мелко, противно, шляпа отяжелела. Поднимаю воротник: контрабандистская погодка, тут же за тобой смывает следы.

Этот садик в городе считается образцовым, сюда прежде водили туристов. Теперь напротив проложили дорогу, двор же садика так и остался милым: жимолость, сирень и акация, дорожки, песочницы и грибки...

Стою за оградкой, гудят машины, укрыться от них невозможно.

Ох, уж эти офицерские дети! Ни деньгами, ни собственной жизнью не могут распорядиться...

Дождь и сеет, и сеет. Как только кто-либо из родителей появляется на дорожке, ребяташки облепляют стекла. Ах, муравьишки, маленькие вы человечки... Но отчего се пет? Нет, уйти они не могли, калитка тут лишь одна. А через черный ход? Но она же с ребенком... А, может, никакого ребенка и не было?.. Что-то зыбко, неуловимо...

А если глянуть на все сначала, другими глазами? И так, мы в кафе.

Она. Сначала все ведет от легенды: она имеет дело с летчиками. Затем пажимает на чувства, целый узел трагедий: смерть мужа, гибель отца — не многовато ли? И вот на сцене сынишка, которого надо забрать из детского сада. Конечно, ребенок для меня аргумент...

Он. У Игната свой план, свои доминанты. Ближняя: вывести меня из равновесия. Дальняя: сбить как конкурента. И для этого все хорошо: Вера, Войтюк, фоторужье...

И я. Пастушок, сыгравший на дудочке в этой недлинной истории.

Все эти мысли занимали меня не больше пяти минут. Дождь по-прежнему сеял, родители по-прежнему шли. Я сделал несколько шагов и оказался на асфальтированной дорожке, и тотчас детишки в окнах сплющили о стекло щеки, губы, носы, они что-то кричали, размахивали руками. И мне вспомнился мой сынишка Сережка...

Скрипнула дверь: по порожкам спускается Вера, маленький человечек держится за угол ее светлого, трапецией, укороченного плаща.

— Ну и племянничек! — сердится Вера. — Вы только посмотрите, как мы себя изукрасили.

— Э, да что там! — делаю шаг я к мальчишке. — Кто из нас не летал, не разбивал носы, верно?

Люблю, когда идут в апреле дожди. Завтра будет солнечное затмение. Даже у солнца, оказывается, иногда бывают затмения. И мы стоим на аллее каштановой. Болтаем, смеемся и снова болтаем, все ждем, когда же важный такой, почтенный такой каштан перед нами лопнет, наконец, своими толстючими почками, и из почек на всех нас трюх брызнет неукротимая зелень.

Весна 1985 г.

НОЧНЫЕ ФИАЛКИ



Жена по делам уехала в город, и я остался один. К одиночеству надо привыкнуть. И я обычно сажусь на межу и, привыкая, долго сижу под двумя матерыми, черностволыми снизу березами, что в конце усадьбы на взгорке. Убаюканный их гибким зеленым качанием, я сижу и смотрю прямо перед собой. А прямо передо мной так же гибко и зелено взмывает к небу равнина, там белые кубики домов, машины, люди, село Высокое, выше которого лишь облака. А тут в зеленом безмолвии всего семь крестьянских дворов — бывший «стольпинский отруб» по лесистому, довольно крутому склону речки Алешни и первый отсюда мой двор — «монрепо», неказистый домишко, убежище мое от житейских невзгод.

А с той стороны к нашему поселку Синяевский лепится сруб из розового соснового кругляка — восьмое чудо света, дом — храмина, дом — театр известного артиста Василия Ланового. И я тут сижу под березой и переживаю. Ну почему именно накануне жене моей надо было уехать в город? Почему в день, когда я родился, в Иванов день, отец назвал меня Леонардом? И почему, по гороскопу друидов, всего один день в году, только этот, — День березы, День русской березы?..

Вскоре по проселку, что сейчас у меня за спиной, протарахтела повозка, и почтальонка Настя вручила мне письмо. От тетки моей родной — тети Дуси, с Украины. Как выстрелом, пробило навывлет такими словами: «...и вот я слабею, тяжело, как никогда, наверно, уже и не свидимся».

И я, как мальчишка, проплакал всю ночь. Тетя всегда была для меня примером жизненной силы и стойкости, доброты. С шестнадцатью до семидесяти пробыла она у детишек учительницей, помогала нам в голодные голы... Она уехала сразу после войны туда, во Львов, к мужу — демобилизованному офицеру... Съездить за ней! Сюда привезти! Вместе хоть на картошке как-нибудь проживем. Да ведь не согласится! Там дочка у нее

и внучка, правнучка даже, квартира, вся ее жизнь...

Я вырубил радио. И целый день собирал на огороде колорадских жуков — этих выходцев из Америки. И давил, давил их каблуком. Рычанье старенького, без глушителя, апельсинового «Запорожца» разом рушит мое одиночество. И вот уже Сергей Алексеевич, местный агроном и мой давний приятель, спешит мне навстречу с широкими объятьями:

— Михалыч, дружище! Не виделись вечность, ну как ты?

И чье-то лицо — молодое, девичье — бледнеет за ветровым стеклом.

— Ты брат мой, — смеется Сергей, — а это — сестра. И зовут ее Лана.

Качаем самовар сапогом, пьем чай самоварный с душицей. И с пряниками городскими. И с первым медом этого года, светло истекающим с сот. И под балетные танцы ос, под бархатное рокотание пчелиного волка — шершня я содрогаюсь, внутренне трепещу: «Сестра, говоришь? Ну-ну». Похожи на слыву синие-синие очи, ресницы длиннющие, светлые, а кончики кверху загнуты и черные, и тень колодезная под глазами. И волосы золотистые, с блеском, колечко над ушком, аккуратно на головка. Матовое лицо светло и печально, слегка узковато, а брови восточные, как у Шехерезады, серпом. «И все же Светлана она. Конечно, Светлана!» И эта малоазиатская утонченность, и европейский изыск...

Сидим за длинным дощатым, накрытым клеенкой, столом. И справа от нас, по макушкам тех самых берез, уж катится, закатывается в недра земные кроваво-красное блюдо солнца. Должно быть, к срыву погоды? Но это меня уже не волнует, волнует другое: неуловимое что-то, чего всегда не было, а вот сегодня есть, оно витает где-то, незримо присутствует. Не шелохнется ветка, коростель не скрипнет сухой доской. И ноздри мои широко раздуваются, с детства я заметил в себе это свойство — чують издали запах, опасность, любовь.

Она для меня опасна, эта Лана. В ней что-то такое, что входит в меня, в мою жизнь, может быть, навсегда. И годы годами, а пластика запаха, как пластика тела. Но в чем все это материализовано, так это в ореоле от ее молодого тела, что смущает поныне, как и смущало когда-то. А если все дело в духах — восточных, таин-

ствешных джиннах во глубине нас, замешанных на европейский манер где-то — в пределах Лазурного берега Франции, в окрестностях Граса, — столицы тончайших французских духов?

И где я видел это лицо, эту Лану? Все это они, круги из прошлого, слабые токи оттуда, сладковато-миндальные, мягкие. А красное блюдо спускается по березе все ниже, и тени ползут-наползают, в темной траве заметен уже светлячок. Плотнеют, сырея, сумерки. И запахи уже горше, миндальнее, однако не теряют своей округленности, мягкости.

Чувствую, начинаю дрожать, от выползающих из сиреневой темени страхов. От возможной встречи души с испытанием, с чьей-то душой. Справа, под одинокой березой, вспыхивает костер. На фоне доцветающего неба обозначаются тени, тихо играет транзистор.

Что-то в Лане беспокоит меня. Это золотое колечко над ухом. И то, как кончиком пальца она поправляет его, это колечко.

— Особая ночь, да? Ночь под Ивана-купалу, — говорит она чужим, отсырелым голосом, однако тоже привычно знакомым. — По народному поверью, лишь в эту ночь расцветает папоротник. И каждый, кто хочет любить, ищет в лесу свой цветок...

И тайна в голосе. И надежда.

— Это точно! — качает Сергей дырчатым сапогом. — Сколько молодежи понаехало, — кивает он на костер. — Из дальнего и ближнего зарубежья. Этих скоро спать не уложишь.

А луны все еще нет. И тайна все осязаемее, она неохватна, пространна; и этот запах — он удивительно властен над нами, даже чай самоварный, с душицей не в силах его поколебать — запах древний такой и такой молодой. И вдруг, как всполохи в сухое лето, узкий выскерк косы под звездой, прочертившей небо, — это электричество в памяти, вспышка, протуберанец! Она — эта девушка из апельсинового «Запорожца», спутница Сергея — Лана, и Марья — хозяйка, у которой я когда-то купил домишко, — одно и то же лицо! Да, это точно. Я не ошибаюсь. Не копия, но талантливое повторение, произведенное на свет божий десницей великого мастера. Вообще-то у меня от природы такое: видеть лицо молодое, каким оно будет, а пожилое — каким уже было.

Портрет Марьи, нарисованный студенткой Суриков-

ского института, бывшей здесь на пленэре, я нашел в кладовке среди всякого хлама. И приколот лист ватмана кнопками в сенях на видном месте. Марья смотрит на меня, напоминая о прошлом, как раз за несколько дней до своей смерти; куда восходим мы, в какие мистические пределы? А в ящике на желтеньком ватмане лежал пучок каких-то засохших цветов...

— Ха-ха-ха! — засмеялся я дерзко. — Это же ночные фиалки!

— Ну да, — вздрогнули мои гости.

И мы вскакиваем, мы бросаемся в сад. А сад уж во тьме, запустелый от натиска леса, тот шумит тут же через дорогу. В сиренях вспыхивают огневые глаза, комары звенят над ухом, а папоротник величиной с динозавра, и в нем зажигается алый цветок, как костер...

Крапива ожгла мои плечи. И я ловлю на мысли себя, что очень хочется стать выше яблони — этаким эвкалиптом, приподняться на цыпочки и рвануть туда, за верхушки; там прошлой осенью, прямо над нами, встретились два косяка журавлей, соединились в одно и, изгибаясь плетью живыми, полетели далее уже одним косяком...

Руки мои коснулись печаянно ее тонких рук, и я услышал ее отчаянный вопль:

— Да вот же, вот они!

— Кто?

— Ночные фиалки.

И тут же две гибкие молодые фигуры метнулись от нас. Они пришли сюда от костра и здесь, у ствола яблони, целовались. И мы с Ланой застываем, боимся двинуться с места. Не спугнуть бы пичугу, на фиалку бы не наступить.

И мы возвращаемся к самовару и пьем божественный фимиами как бы из фиал — из кубков таких с загнутыми внутрь краями, отдавая дань возлиянию в честь древнего бога Бахуса, припоминая слова из эпикурейской песни Языкова:

И так поем любимый гимн поэта.

И до утра фиалы прозвенят!

Но самовар заглохает, угли догорают. А тут где-то поблизости в саду разворачивают свои лепестки в ночную симфонию запахов дива эти — ночные весталки, и птицы, деревья и речка, одурманясь, заглохают уж,

спят. И лишь у костра редкий смех, бродят парами тени. Внизу у речки кто-то туго, со вкусом вытаскивает из грязи сапоги, словно в болотине переступает с ноги на ногу длиннобудылая цапля,— так целуются где-то там, никак не могут нацеловаться...

Такие ночи называют у нас «воробьиными». Настолько короткие, как хвостик куцый у воробья. Сергей ничего не сказал о Лане, не раскрыл ее тайны, сам все скоро узнаешь, когда?

Отъехал апельсиновый «Запорожец» с ревушим звероподобно мотором. Едва я слил воду из самовара, как вот он, и скорый июньский рассвет. Со светом фиалковый запах слабеет, лепесточки закручиваются. И все же я нахожу почную фиалку довольно быстро, хотя в буреломе крапивы ее зеленовато-серые плети скромны, незаметны. Неужто это они такие, ночные красавицы? Они хороши только ночью, когда выходят на панель, привлекая к себе не внешним, а внутренним — запахом... И я подумал о соловье, отщелкнул вот у Ивановой ночи три-четыре коленца и смолк.

Ночные фиалки, успокоясь, спят, как после гулянки. А я все думаю, думаю. Уж сколько лет живу на этой усадьбе, ведь не копал для них землю, не сеял их, откуда тогда же вы, милые? То ли, подобно Робинзону Крузо, жена все же вытряхнула из мешка семена? А то ли цветы посеяны еще Марьей — прежней хозяйкой и ждали своего часу? Какой же сигнал в природе, какого благоприятствия дождалась она в эту Иванову ночь? И почему именно в эту ночь, по преданию, расцветает папоротник? В самой краткой ночи года так мало тьмы, много света, тепла, очень много любви, воздух просто наполнен любовью...

«Мы все немного артисты в театре теней», — думал я, проходя чуть позже мимо сруба Василия Ланового, на котором уже тюкали топоры, и сам Василий — где-то премьер-любовник, сидя на бревне, ошкуривал его, гнал на себя скребком смолистую, витиеватую стружку.

У последнего двора, возле бабы Кати, я снова увидел апельсиновый «Запорожец». Возле него в такого же цвета, апельсиновой куртке стояла женщина. Она шагнула навстречу мне — и все во мне подломилось, запустила метель, закрутилась Галактика вокруг мировой оси. Эта женщина страшно была похожа на Ла-

пу, а Лана — на Марью, она между Ланой и Марьей... Я видел ее, но где?

...Поезд «Воронеж — Киев» где-то сразу за Курском заскрежетал тормозами. И станция-то пустяковая, а скорее всего платформа. А на платформе стояли двое, он и она. А поезд остановил красным флажком и держал решительно парень в железнодорожной форме.

Она ступила на порожек вагона и обернулась. А он обнял ее и поцеловал. А поезд уже шел, уходил, а он все стоял на платформе, а она висела на порожке, а потом он догадался швырнуть в тамбур ее чемодан.

И был, кажется, август. И нас в тамбуре было двое. И, как и вчера, перед нами западало красное блюдо солнца. И вдруг она положила голову мне на плечо.

А потом я целовал ее, а она целовала меня. И от губ ее, от всего ее тугого, скрипучего тела исходил этот тонкий, едва ощутимый фиалковый запах. Так пахнут, я уже знал тогда, только они — эти ночные фиалки. Странно, она только что вышла замуж и тот парень был ее мужем. Странно, по направлению она ехала тоже во Львов.

В тамбуре не было никого. Тогда курили, где хотели, прямо в вагонах. И те, что проходили из вагона в вагон, не толкались и не кричали что-либо нецензурное, не интересовались твоей национальностью, а, стыдясь, отводили глаза от нас. Она извивалась в моих руках, как змея. Каким было ее гибкое, змеиное тело в руках того парня? Как могла она перейти из одних рук в другие столь стремительно? Что за мистика мерцала в зеленом фосфоре ее глаз, где предел нашей фантазии? И все это осталось во мне, как сон, в котором совершенно реальными были только ночные бабочки — мотыльки, залетели в тамбур на одной из остановок и метались, бились о плечи, о лампочку на потолке, о наши губы...

Я не поехал за ней, я остался тут, на Орловщине. Не мотался по стране, не уезжал никуда. И вот она здесь, та самая женщина в апельсиновой куртке. Тогда в экстазе я не спросил у нее ничего: ни куда она ехала по направлению, ни даже фамилии, я узнал одно только имя ее, оно было такое же — Лана...

Светлый день как отсеялся, померк. Из стены дождя на лесной дороге, гремя, вынырнул мой знакомец — апельсиновый «Запорожец».

— Ну что, заинтриговало? — смотрит на меня с лукавинкой Сергей Алексеевич и вздыхает куда серьезнее. — Наши приехали... русские беженцы... Возвращаются, браток, наши с тобой земляки, дети наших сельчан.

И «Запорожец» исчез в синей зелени леса.

А к вечеру в мокром саду опять затлелся вчерашний запах. Ближе к ночи этот запах, как и вчера, растет, умножается, он полонит весь двор, весь поселок, пробирается аж на тот край, до самого Ланового. И вот ветер взвинутил его и унес под самые звезды, к той самой оси, которая крутит все живое в нашей Галактике. Где встречаются двое в пей: он и она...

Жена приехала последним автобусом.

— Слышишь, ночные фиалки! — говорю я, гордясь.

— Где, где? — крутит она головой.

— Да вот же, вот, — подвожу я ее к портрету Марьи — нашей хозяйки, к листу ватмана, что приклеен в деревянных сенях. — Тут и тут, смотри, по всему листу! Как сверкают они, эти ночные фиалки!

— Ну, что ты выдумываешь? — поджимаются губы капризно. — Они же серые, такие невзрачные.

Странно, но кто-то же вытряхнул их из мешка? Да при чем тут мешок? Тогда отчего, скажите, в саду моем все же цветут фиалки? И я целую осень жду апельсиновый «Запорожец», куртку ту апельсиновую. И страшно становится жить, когда вместо них из крапивных зарослей выползает темная птица ночи и, как будто во сне, по живым палат сонные танки. Зато ближе к вечеру, когда комар начинает звенеть, как виола, снова выходят, себя подавая, они, эти дамы...

21 декабря — день рождения Сталина, а я пишу рассказ о любви. И жить, наверно, возможно, когда зимой в моем саду цветы распускаются. Как странно, что именно во тьме, как бы ободряя нас, так пахнут они, эти красавицы ночи. Смотрю на морозное стекло, и вдруг сигнал под окном моей городской квартиры — все тот же дружище мой, апельсиновый «Запорожец».

— Ну как? — живо спрашиваю я. — Наконец-то вы в гости?

— Ты насчет апельсиновой куртки? — смотрит мимо Сергей Алексеевич. — Уехала твоя апельсиновая куртка. Туда же, откуда приехала.

Сидим и пьем чай с душицей — нашей, сияневской.

Как раз идет передача Орловской телерадиокомпании, где глава областной администрации и большой человек с полуострова, который сам заявляет о своей величине, — Ямал, оба толкуют о перспективах.

— В Словакии газ российский подведен к каждому поселку из двух-трех дворов. А у нас в области, испещренной газопроводами, не газифицированы даже райцентры. А ведь газ — иное качество жизни.

И я смотрю на лист ватмана с портретом Марьи, привез на зиму сюда, чтобы не так скучать по деревенскому лету. И почные фиалки где-то там, за морозным окном, кажутся уже не под снегом — прикрыты в саду моем огромной такой, с Ямал, апельсиновой курткой. Как солнце, она, эта куртка, лежит на земле. И я все мучаюсь одним: ну почему именно в сумерках, под покровом ночи, рождаются эти символы духа, почему, в тени расцветая, так пахнут они помрачительно, так врезаются в душу — маленькие, серенькие такие, царицы ночи, они — эти ночные фиалки?

21 декабря 1994 г.



Люди сами складывают свои судьбы. Или это им только кажется? Конечно, счастье — несчастье каждый видит по-своему. И все-таки не столь обстоятельства, сколь сами люди складывают свое счастье — несчастье, потому так и разны судьбы...

Мы колтыхаемся в поезде Орел—Москва, проезжаем за разговором тургеневское Бастыево, затем толстовскую Ясную Поляну — мир нашим предкам. Если бы знали они, что колтыхаться — сейчас означает катиться по стальному пути со скоростью восемьдесят километров в час. Так что все относительно. Вот мы с приятелем Александром Калининым жили когда-то в маленьком городке, были однокашниками, теперь я служитель муз, а он... он, можно сказать, человек стратегический: со степенью, работает в одном из институтов по расщеплению атома. Мы не виделись с ним бездну лет и никак не может поговориться. «Черепаший» поезд, кажется, нам в этом поможет.

В четырехместном купе нас только двое. Уже за Отрадой заходила кондукторша, спросила «билетики», теперь никто не помешает. Лишь перестук вагонных колес да покачивание, да мельканье за окошком редких огней.

— Ну так ты женат и, наверное, счастлив?

— Женат, — сказал Александр и вздохнул. — И теперь счастлив.

— Почему же теперь?

— А потому, — приятель задумался, видимо, оживляя картины прошлого, — потому что с ней же, с Еленой, не был когда-то счастлив.

«Это интересно», — оживился я, но промолчал: все равно не утерпит, расскажет. И верно, минут через десять Александр сам начал эту историю, которую я и попытаюсь пересказать.

— Ты помнишь, конечно, нравы нашего районного городка: пережитки мещанства, прасольства и еще бог

знает чего, — сказал он. Глаза его были странны, почти неподвижны.

— А мы, как ты помнишь, росли балбесами. Не все, конечно, я, например. Это ты все строил планы переделки нашего дорогого Клетнянска. А я тогда был скромнее, после десятого ты поступил в институт и укатил, а я пошел на завод, потом в армию, из армии вернулся в Клетнянск и встретился с ней... с Еленой Елагиной. Ты должен помнить ее: такая, в белых кудряшках, в коротеньких платьицах, года на три ниже классами, а уже ходила на танцы. Так вот с ней я и встретился. Мы чуть-чуть не погубили друг друга и друг друга ж спасли. А человека не стало... Ее бывшей подруги, а у меня жены, по счету второй...

...Нельзя сказать, чтобы жизнь Клетнянск слишком баловала: он стоял в стороне от железной дороги, и потому все предприятия, на которые бы мог рассчитывать, утекали в другие райцентры. И все же прогресс коснулся и его, Клетнянск прогремел на всю страну, когда заезжий корреспондент поместил в центральной газете статью под весьма любопытным названием «Быть ли Клетнянску столицей?» Одни клетнянцы восприняли это как насмешку, другие воспрянули духом и были награждены за оптимизм тем, что старинный городок вскоре стал снова «столицей»... района, а на его окраине было заложено первое в здешней истории серьезное производство — филиал одного из московских заводов.

К тому времени, когда Елена закончила среднюю школу и не прошла в вуз, филиал этот уже стал выпускать какие-то инструменты, и она, помыкавшись по белу свету, вернулась домой, поступила сюда секретарем-машинисткой.

Семья их была большая и, на ее взгляд, несуразная: четверо детей, и все девчонки. Отец с матерью жили дружно, работали токарями в «Райсельхозтехнике», вели хозяйство разумно, экономно и только о том и мечтали, чтобы как-то устроить девчонок.

Уже и вторая дочь Олечка кончала десятилетку, имела жениха, а Леночка все не могла определиться, и потому младшую неловко было выдавать замуж прежде старшей. И вот мать с тайной радостью встретила Леночкино откровение, что она переписывается с парнишкой из другого района, он призван прошлой осенью

в армию. За какие-то заслуги ему дали отпуск, и он даже приезжал к Елене, жил у Елагиных двое суток. Но когда у Леночки появился на примете Александр Калинин, токарь из их филиала, Леночкины родители близко к сердцу приняли и его. Леночка перестала писать Николаю, и когда, отслужив, он явился к ней, она не вышла к нему.

Она была влюблена. Она любила Александра, как беззаветно, без всяких оглядок, чистые, жертвенные натуры любят впервые и навсегда. Она искала случая, чтобы появиться в первом токарном, где работал он, ее Александр. Сладкие, дивные грезы не отпускали ей душу. Она приходила домой вместе с подружкой — Микаэлой Бельской, тоже секретарем-машинисткой, только в «Райсельхозтехнике». «Ты будь попрохладней, не очень его распускай», — советовала ей Микаэла, сильная, белокурая, лицом не очень красивая девушка. Леночка слушала ее и улыбалась. Наговорившись всласть, начитавшись стихов, они засыпали в Леночкиной постели под утро, и Микаэла шептала уже в полусне: «Счастливая...»

Леночка стала вовсе тростинкой: ни одно платье теперь не сидело нормально. Мама с папой не на шутку встревожились: так нельзя, Леночка. Но каждый раз, узнавая от дочери, что Александр говорит ей при встречах «люблю», успокаивались, понимающе улыбались.

Часы свиданий пролетали мгновенно. Прислонясь к его большой, сильной груди, она шептала ему, как они с ним устроят жизнь, как станут жить друг для друга, для маленького. Она читала стихи о музыке, слиянии душ, о любви, он отказывался в лирическом герое узнавать себя, но они ему нравились.

Александр привел домой Лену из ЗАГСа, сказал:

— Вот жена моя, мама.

Степанида Матвеевна повела взглядом, оценила: «Не хозяйка», сказала вслух:

— Жена, говоришь? А у матери ты спросился? — И, уходя, гордо кинула из-за плеча: — Такому орлу и такая-то, прости меня господи, пуговица.

Возможно, у Степаниды Матвеевны были иные виды и соображения, на свадьбе «горько» она не кричала, отказалась от родительской речи, сославшись на то, что потеряла голос от холодного молока, а после свадьбы и вовсе замолчала. Сын у нее был единственный, она

его подняла сама, без мужа, ножницами да расческой — век работала в парикмахерской, обрабатывала всякие головы и, когда не удалось причесать горячую голову собственного сына, решила его «аккуратить», а жену его «пресекать». «В своем доме живу, не в чужом, — рассуждала она. — Мать я им или кто? Должны понимать». И стала в расчете на Лену разводить кур, уток-пекинок, купила двух поросят.

— Степаниде нужно было трехтонку, — рассуждали соседи, — а не эту... мопед.

Временами Степанида Матвеевна расстраивалась, переживала. Ей казалось, что молодые, где только можно, все шепчутся, шепчутся, вроде как от нее. Увидела, как начинает круглеть Елена, и вовсе лишилась покоя. Сын прямо-таки тряпкой стелется перед этой «пуговкой», вовсе мать перестал понимать. А ведь она, мать, растила его с пеленочек. Воспалением легких три раза болел, корью и скарлатиной. Дважды чуть на тот свет не отправился, она не спала ночами, последний кусок от себя отрывала. И все одна, в одиночку, с молодых лет сама да сама. Обидят тебя на работе ль, соседи ли — к кому притулишься, кому слово молвить? Саня — малыш, ничего не понимает, а Василия нет, лежит где-то под Киевом, в братской могиле. Наплачешься в одеялку, надвинешь на сердце броню и опять живешь, тянешь. Вон какого богатыря и красавца поставила на ноги. А эта... «пуговица»... на готовенькое. Хочет, чтоб все легко да покато.

Дела хозяйственные угнетали Елену: она потускнела, погрубела лицом и руками, но ни единым словом не обмолвилась ни о чем Александру, а Александр не хотел ничего замечать. Лена решила сама отстаивать свои права как умеет. И тут произошло событие, с которого все и пошло.

Сбежал на соседнюю улицу Степанидин любимец — петух, и его там прибили. Степанида Матвеевна принесла его, чуть тепленького, положила на порог, набросилась на невестку:

— Ты что же это не углядела?

— Ваш петух, мама, вы и смотрите, — сказала Леночка и вертанулась, ушла к себе в комнату.

Степанида Матвеевна так и остолбенела, не нашлась, что и сказать.

Дымовая завеса приподнималась, в доме создалось

напряжение. Александр не знал, куда и метнуться: Лепочке было вредно сейчас волноваться.

Его послали на две недели в командировку, и Степанида Матвеевна затеяла в квартире ремонт.

— Пока его нет, мы тут с тобой марафет наведем, — говорила она невестке с притворной лаской.

Лепочка старалась сгладить впечатление от недавней стычки, хваталась за то, и другое, и третье. Когда перетаскивали из большой комнаты шифоньер, почувствовала, как внутри у нее что-то лопнуло, в глазах брызнули молнии. Она так и села на пол, белая как полотно, виновато смотрела на Степаниду Матвеевну.

У Лепочки получился выкидыш, и мать — при ней! — чуть ли не с кулаками набросилась на Александра:

— Кого ты привел в дом? Она что тебе, пара?! Дитя, прости меня господи, родить не умеет.

Лепочка, наконец, преодолела себя, пришла в свой родительский дом, упала в колени к матери. Обратное ей не отпустили. Степанида Матвеевна растерялась сначала: ну, подумаешь, посекелись слегка, свои ведь, так вот сразу и уходить? Потом спохватилась и, снимая камень с души, изъяснялась каждому в парикмахерской:

— Вот послал господь-бог невестушку — от горшка два вершка, и та порченная.

Лепочкины родители, как могли, пресекали злостные слухи. Затем из «Райсельхозтехники» поползли по городку слухи обратного качества. В Клетнянске смаковали подробности, на почве разногласий образовались две партии: одна — за невестку, другая — за мать. Это на какое-то время отвлекало от будничности жизни, от собственных дразг, давало понять, что у них-де еще ничего, у кого-то и того хуже, например, у Калининых.

А они, молодые, любили, страдали, и только гордость не давала никому сделать первого шага. Степанида Матвеевна все понимала: и что не прежние теперь времена, возьмут и уедут куда-либо в город, и что в чем-то сама виновата, но бес разжигал ей душу. «Ленке-то снова пишет тот ее... первый. Девчата на почте болтают, скоро свадьба, — сообщала сыну она за обедом. Сделав паузу, говорила: — А Ленкина подруга... Микаэлка-то... спрашивала про тебя, как, мол, ты, передавала привет... Ничего, статная девушка». Степанида Матвеевна знала, что говорила.

В тот же вечер Александр постарался увидеть Леночку.

— Елена, — встретил он ее на дороге. — Так тот опять тебе пишет? — И впервые так резко, грубо дернул ее за рукав.

— Пусти меня, — отняла она руку. — Ну, пишет, пусти!

— Хорошо же, хор-рошо! — прошептал он и бросился вон.

Через неделю они расторгли брак официально, а еще через неделю доброхоты ей сообщили, что он привел к себе в дом... Микаэлу. Леночка и думать не думала, что все это так серьезно, так окончательно — и уход ее от него, и даже развод, а тут... Микаэла. Леночка даже бегала на городской пруд топиться, но, окупувшись в ледяную октябрьскую воду, испугалась, дрожа выбралась на берег, дала клятву себе стать совершенно иной.

С прежней Леночкой было покончено. Прежде всего она отвергла притязания того, первого, из-за которого упрекнул ее Александр, и стала, по собственным словам, «свободной, как птица», — ни девушка, ни мужняя жена, но тем для кой-кого и интересней. Когда она сыграла роль Катерины из «Грозы» Островского в местном пародном театре, за ней утвердилась репутация девушки с чувствами, некоторые из жителей даже пересмотрели свое отношение к ней. И Леночка расцвела, похорошела, стала одеваться тщательнее, с большим вкусом, и все в городке увидели, что она вообще-то «не лишена». Женатики вокруг нее так и вились, она улыбалась им многозначительно и каждый раз ускользала. А ночью в постели, оставшись наедине, плакала в смятую, мокрую, орошенную слезами подушку.

Микаэла, выходит, полностью заменила ее. Теперь она работала на месте Леночки в филиале, а Леночка на месте ее — в «Райсельхозтехнике». Леночке хотелось взглянуть ей в глаза, но все откладывала, чтобы не размякнуть, не дай бог, расплачешься. С недавних пор у нее стала дергаться верхняя губка — дернется и успокоится, потом задрожит мелко-мелко и совсем успокоится, и это особенно с той поры, как Леночка стала сама попадаться на глаза Александру. Мелькнула перед ним, когда шел он привычной дорогой с работы. В другой раз, заметив его через окошко в пивной, зашла туда, тут же вышла. Он выскочил следом, но она уже

растворилась, истаяла в сумерках. Тогда он подкараулил ее, вырос перед ней неожиданно у старой ракиты, она взяла под руку кого-то из случайных прохожих и опять ускользнула.

Она ожидала, как все это отзовется там, в их калининском доме, у Степаниды Матвеевны, и слухи не замедлили распространиться. Городок маленький, все как на ладони. Это только так кажется, что ты наедине с собой в собственной комнате, в собственном домике, за забором. Тебя раздевают, щупают, перебрасывают из своих в чужие догадки и домыслы. Говорили, что новая невестка любá Степаниде Матвеевне да не любá «самому», что живут они, как черт с чертом, «сам» дома порой не почувст, запивает с ребятами. При таких вестях сердце у Леночки трепетало, ногти сами собой входили в ладонь. «Мы еще посмотрим, — шептала она в подушку, — увидим, разлучница, как разбивать чужую любовь».

Известие, что та, другая, забеременела и ждет ребенка, ошеломило Леночку. На момент она растерялась. Потом боли, унижения, горести, которые она пережила недавно в том доме, ворвались ей в душу, заломило нижнюю часть живота. «Она носит его фамилию, носит его ребенка, родит и будет счастлива, — стучало в виски. — А я... а мне... а...» Она упала на постель и впервые за все время, какое прошло с той поры, как ушла от Калининых, зарыдала в бессилни. Но слезы не принесли ей облегчения.

В кинотеатре крутили «Возраст любви» с участием знаменитой Лолиты Торрес, и билеты распространяли по райцентровским предприятиям и учреждениям. Леночка слишком хорошо знала бывшую свою подругу, чтобы не догадаться, что они с Саней появятся на вечернем сеансе. Все, кто был в фойе, развернулись в их сторону. Леночка чувствовала, что надо покинуть фойе, но не могла, то было выше ее сил. Микаэла шла под руку с ним, слегка переваливаясь, живот уже приподнял пальто, делал ее крупнее, грузнее и еще некрасивее. Заметила Леночку, вся подобралась. Леночка впилась в нее глазами. Та проходила мимо — торжественная, торжествующая, и лишь в глубине ее глаз, где-то на самом донышке, Леночка увидела на мгновенье растерянность, и этого ей было достаточно.

На Леночку нашло какое-то иступление. Соперни-

ца родит, будет счастлива, а ты потеряла здоровье, силы, все, все потеряла. И на тебе эта слава: уже побывала в замужестве. Вот сестры растут одна за другой, она у них старшая, какой им пример? Мужчины выются вокруг, зачем — она знает. Ей оскорбительны их улыбочки, сальные взгляды, их комплименты на репетициях, оскорбительно собственное существование. Для чего мы живем? Годы уходят, лучшие годы...

Она отпечатала сводку ремонта тракторов вместо сводки завоза химических удобрений, и начальство сделало ей внушение. А вечером в дом к ним пришел Александр. Леночка как сидела за пьальцами, так и осталась сидеть, лишь привалилась к стене. Он стоял перед нею, как и прежде, близкий такой, хороший и... виноватый. Леночка встала, готова была броситься на шею ему, как бывало, но там, в большой комнате, прижукли сестрички — все три ее младшенькие, на кухне мать перестала звякать кастрюлями. За форточкой в черемухе чирикнул воробушек и захлебнулся. Верхняя губка у Леночки задрожала, Леночка потянула к ней левую руку, уняла губку почти незаметно мизинцем.

— Леночка, — сказал он и опустил глаза. — Уедем отсюда.

Она уже знала, что он скажет именно это, что она должна ответить словами другими, такими примерно: «Нет, дорогой мой, той Леночки уже нет, она умерла. А эта совсем другая. Прощай». Но она молчала, смотрела в него, ничего не выговаривалось. Тогда из кухни вышел отец, взял за плечи его и увел.

Всю ночь мать караулила Леночку. Леночка слышала, как шептались самые младшие — Маша и Верочка. Как шелестит над сердцем накрахмаленная простыня, вспоминала, как открываются калитка, дверь в сенцах, двери в переднюю, в спальню — все двери у них там, в доме Калининых. Она говорила себе, что ей всего-то и хочется увидеть его еще раз, сказать ему что-то, хоть слово, ведь стыдно, как отец взял и вывел его в коридор; глазком бы взглянуть, как все там у них без нее, у ее заместительницы. Сама себе не смела признаться, что желает и ей того же, что испытала сама; почему, ну почему счастье одних должно строиться на несчастье других, ведь это же нехорошо, аморально, и люди должны цести за поступки свои наказание. Она останавливала себя: «Нет, нет, ни за что, ни за что туда ни по-

гой... И я любила его?.. Да, люди должны нести за поступки свои наказание...»

...Поезд мчится где-то уже под Скуратово. Звучит отдаленно мелодия, Александр потянулся к радио, и сейчас же страстный женский голос приблизился, словно певичка вошла к ним в купе:

В твоих следах...
Снег расставанья.
Ну поверни, ну поверни
Следы обратно...

— Не верь никому, кто скажет, что знает женщину, — говорит мне мой школьный приятель. — Женщина — тайна, гораздо большая, чем тайна расщепления ядра и высоких энергий. Ее разгадывают веками, каждое поколение, и никогда не разгадают... Зыкина — Людмила и синхрофазотрон в Подольске — «Людмила»... Мы не знаем женщин и никогда не узнаем. Во имя любви она может погибнуть и... погубить...

— Так Леночка с тобой сейчас? Твоя жена?

— Да, — вздохнул мой приятель. — Но какую ценой...

...Она все же решилась, пришла в дом Калининых. Прошла мимо окаменевшей Степаниды Матвеевны, мимо ее новой невестки, мимо своего бывшего мужа прямо в спальню. Сняла со стены над кроватью картину Шишкина «На севере диком».

— Папа забирал вещи, — сказала она как можно спокойнее, — а это забыл.

В большой комнате увидела ползуночки на швейной машинке, взяла, подержала в руках, оглядела с головы до ног Микаэлу:

— Ребенка ждешь? Ну жди, жди. — И усмехнулась, кивнула на Александра: — А не боишься за него? Возьму вот и уведу.

— Чего тут разоряешься-то? — кинулась было Степанида Матвеевна.

Не помня себя, Леночка топнула вдруг ногой:

— И уведу, потому что люблю. Уведу!

— Злая ты, — тряхнула головой Микаэла, и платок с головы ее соскочил, волосы пали волной. — Кроха какая, а сколько злости. Сколько ж в тебе злости, змеючка! Да кто ж тебя будет любить и за что?

— А за что я люблю его? — бледная, как полотно,

стояла одна перед всеми Лепочка, мизинцем левой ушпмала проклятую верхнюю губку. — Живешь с ним, а ничего до сих пор не поняла. Любят-то, милые мои, ни за что. Просто так. Верно, Саня?

Уже у самой калитки Лепочку нагнала Степанида Матвеевна, сунула в руки «На севере диком».

— Ты чего с ней надделала? Погляди, чего, змеюка, с ней натвори-и-ила-а-а!

Всю ночь Степанидину невестку крутило и корчило, под утро начались схватки. Степанида Матвеевна с погсбилась, применяя одной ей известные средства. Когда же у Микаэлы началось кровотечение, бегом послала Александра в больницу. Машина увезла Микаэлу, когда уже было светло.

Они сидели вдвоем на опустевшей кровати и молчали. Чтобы вывести его из оцепенения, разжечь чувства к себе и к страдавшей там, в больнице, жене, Степанида Матвеевна стала всем своим грузным телом раскачиваться и причитать:

— Ходишь-ходишь за ним, бьешься-бьешься, ровно рыба об лед, дом обставила, ковров накупила, а никакого тебе утешенья на старости лет, никакой тебе благодарности, вот помру-помру и на могилку-то прийти будет некому, послал господь сына, ему что мать, что жена — одна сатана...

Он сидит, слушает и не слышит. Не одернула мать, не обругала, как прежде, лицемерит, стонет по-бабьи, значит не та уже, поизносились, стареет. И ему стало жаль ее: жизнь прошла, а что видела? Подсел к столу, придвинул извечных любимцев — книжки по высшей математике, физике, уткнулся в них, обхватив уши ладонями, чтобы ничего не слышать, не видеть, не воспринимать.

На вторые сутки Микаэла скончалась. Ее похоронили рядом с дядей Александра, братом Степаниды Матвеевны. Когда немного опомнились, Степанида Матвеевна обмолвилась где-то, что всему виною эта «змеюка» — Ленка, первая жена Александра, она приворожила к себе ее сына, грозились его увести, она и вогнала в гроб дорогую невестушку.

Когда Лепочке стало известно, что Микаэла в больнице, она даже обрадовалась: пусть, пусть на шкуре своей почувствует, как достается счастье. Но когда та умерла, Лепочка чуть с ума не сошла. «И я была у них,

я была у них перед этим, мама, — плакала она перед матерью. — Я говорила ей что-то... Зачем?.. Почему так устроена жизнь?» — «Не надо, Леночка, не надо, — утешала ее мать, как могла, махнула младшим, чтобы закрыли дверь, не подглядывали. — Не ты виновата, не ты — Степанида. Зачем нужно ей было разбивать тебе жизнь? Лишила тебя здоровья, ребенка, заставила в положении таскать шифоньеры. Она, говорят люди добрые, и Микаэлу угробила тем же способом. Ты случайно в тот день у них оказалась... Больно ревнива, всех бы Сашкиных жеп сожрала...»

У жителей Клетнянска появилось занятие: каждый раз друг другу сообщать такие подробности, которые затмевали все прежнее. Леночке нельзя было никуда показаться. Едва она появлялась где-либо, на почте или в магазине, как тут же все разворачивались в ее сторону, смотрели враждебно, говорили что думали, без стеснения.

Однажды Леночка проходила мимо парикмахерской, и, видно, заметив ее в окно, из дверей вылетела Степанида Матвеевна, схватила за плечо и закричала:

— Вот она, вот она, граждане! Это она, она убила жену моего сына. Такая была дорогая, такая послушница. Не то, что эта, твари кусок. Убила человека и ходит, трясет пустым подолом, пялит бельмы бесстыжие, у-у!

Собиралась толпа. Леночка стояла, закрыв лицо руками, а Степанида Матвеевна кидалась на нее, хватала за руки, плечи, за волосы.

— Глядите, граждане, вот она, вот!

Толпа хмуро молчала. Раздались голоса: «Судить ее, призвать к ответу!» Другие им возражали. Напряжение возрастало, в толпе уже начинали размахивать кулаками.

— Да что же это такое, товарищи! — раздался сильный мужской голос. Человек в серой кепке и сером плаще пробирался в середину толпы. — Это же черт знает что. Есть законы, есть судопроизводство... Это вас, мамаша, привлекать надо за хулиганский налет, — повернулся он к Степаниде Матвеевне. — А вас, — глянул он куда-то в толпу, — за соучастие.

— Меня? — удивилась женщина в кроличьей шляпке, стоявшая впереди других.

— Да, именно вас. И вот вас, гражданка... и вас... вас...

Толпа быстро рассеялась.

— Где вы живете? — спросил Леночку мужчина в сером плаще.

— Там, — кивнула она в пространство. У нее прыгала верхняя губка, руки висели вдоль тела плетью.

Мужчина отвел ее до порога и сдал в руки матерн.

С неделю Леночка пролежала в бреду, постепенно приходила в сознание.

«О боже! — кидалась она в свою смятую, мокрую, просоленную слезами подушку. — Да за что же мне кара такая? Что я сделала? Пошла за своей вещью? Увидеть его? Ведь я люблю его, и он, он тоже любит... А всем этим, что им от меня надо? Смерти?.. Ах да, им нужна моя жизнь. Смерть за смерть — какой ужас! Хорошо, я отдам им ее, она мне не нужна. Она нужна только маме, папе, сестренкам. Как они напуганы, бедненькие. Только они, только дома меня и жалеют...»

Через месяц ей стало лучше, и она стала укладывать чемодан.

— Куда ты, доченька? — подошла мама. Единственная, любимая. Как она постарела, как же пришлось ей с нею. И ни жалобы, ни слова дурного об Александре, о Степаниде Матвеевне.

— Не бойся, мама, — твердо сказала Леночка, — я уже здорова. Поеду на стройку, на какую-нибудь великую стройку, на Волгу, на Каму.

— Но ведь и у нас тут... строится, — попыталась сказать что-то мать.

— Строится, — стояла, опустив голову, Леночка. — И я еще вернусь сюда вовсе здоровой и сильной.

И уехала. Строила автозавод. Заочно закончила педагогический, преподавала математику.

...Поезд мчался, рассекая лунную равнину, где-то уже возле Подольска. Синхрофазотрон «Людмила», ускоритель частиц, производство высоких энергий.

— Но самые высокие энергии, как и самые низкие, все-таки в человеке, — катал по столику бумажный шарик мой школьный товарищ. — Вот мы не так давно ездили в простеньком вагончике, состав тянул паровоз. Теперь, смотри, польский вагон: пластик, пикель, люминесцент. А много ли с той поры изменилось в душе человеческой?

— Ну, и как все-таки у вас дальше с Леночкой? — нетерпелось мне. — В общем, как опять вы друг друга нашли?

— О, это было не совсем просто, — усмехнулся приятель. — Вернее, совсем не просто. И я обязан ей тем, что кое-что в жизни сделал. Перед человеком должна быть, прости за банальность, вершина, источник света, звезда, если хочешь. Человек должен идти по лучу...

...Вскоре Степанида Матвеевна заболела и умерла. Александр похоронил ее рядом с братом и Микаэлой, заколотил опустевший дом, уехал в столицу с твердым намерением в Клетнянск больше не возвращаться. Сдал успешно в физико-технический, через пять лет закончил его, стал заниматься в Дубне проблемами расщепления ядра. Друзья обзаводились семьями, пускали на свет ребятишек, а он все жил одиноко в своей холостяцкой квартирке, имея только одну страсть — науку.

Леночкина фотография стояла у него на рабочем столе в траурной рамке в знак погибшего прошлого. Да он в него и не пожелал бы теперь возвращаться. Годы работы — над диссертацией, в лаборатории, переоценка ценностей сделали его тем, кем был он сейчас. «Да любила ль она меня? — задавался он порою вопросом. — А за что было меня и любить?.. Я не видел тогда луча, а он был, ведь был в природе тот луч! Она любила во мне не меня, скорее свое отражение. И все, что получила за это, — «змеюка»...

Когда он приехал в Клетнянск через несколько лет, многое здесь изменилось. Филиал стал заводом, от него проложили общую канализацию, пустили по ней сточные воды. Понаехали новые, подросли молодые, и редко кто знал и помнил, что было здесь прежде, как тоже любили тут и — умирали...

Он прислонился к березе над материнским холмиком, справа жался к нему холмик поменьше. Все эти годы, всю жизнь они между ним и Еленой — немой постоянный укор. Не было бы этого холмика, что поменьше, мать, возможно, пожила бы еще. Как это сложно — жить...

Осенью Александр предпринял свою первую поездку к Леночке на среднюю Волгу, она не стала с ним говорить. Но он приехал к ней во второй, в третий раз, он стал приезжать к ней в село каждый отпуск.

— Ну что тебе, что тебе от меня? — заговорила она,

наконце. — Я же умерла, меня нет, ты разве не видишь?

— Леночка... Лена, — сказал он и заплакал.

Нет, это был уже сильный мужчина, он знал цену жизни, но что-то в нем оставалось. И что-то оставалось и в ней.

Когда они поселились в его холостяцкой квартирке, он целую неделю носил ее на руках, никому не показывал: он просто боялся своего счастья.

...Миновали Подольск, реку Оку с ее песчаными отмелями и белыми теплоходами. Пассажиры уже зашумелись, началось хождение по коридору.

— Ну и как с твоей докторской? — спросил я.

— Сдвинулось, — поморщился он, — защитился... Да разве же в этом? Я вижу, я иду сейчас по лучу — на свет, на идею, на любую задачу. Ну как сказать? Сейчас я — мыслю, следовательно, существую... А она талантливее меня, намного богаче чувствами, и я просто не знаю, за что до сих пор она любит меня. Когда мне трудно... на работе, в науке... идея пульсирует, мечется, вроде как заяц, за уши не поймаешь, я прошу совета у Леночки. Она мыслит просто и ясно, но тонко. Она вельтоже у меня математик... Вот так и живем. И когда мы слышим, что горячие головы заявляют в дискуссиях, что счастье, любовь не современны и их надо заменить другими словами, мы улыбаемся. Конечно, не каждый должен пройти через это. Но ведь и не каждому — верно? — выпадает счастье любить...

— Да не заскочить ли тебе со мной в Дубну, а? — положил Александр на локоть мне руку. — Леночка будет рада.

— С удовольствием, но не сейчас, Саша, специально выберу времечко.

Остальной путь сидели молча. Я перебирал свои мысли, всю свою жизнь. Люди сами складывают свои судьбы. Или это им только так кажется? В наш космический век, времена познания атома, неэвклидовой геометрии это ложь, что любовь, как и счастье, входят в иные, высшие сферы, что для них нужны другие слова и понятия. Люди любят с времен доэвклидовых и любить будут вечно, надо только любить...

Поезд дрогнул и остановился. Красным на Курском вокзале горело — «Москва».



Человек в сиреневом макинтоше важно шел по аллее. Он всегда выбирал именно эту, нижнюю, ближе к обрыву, с которого открывался живописнейший вид на Воронку-реку. Но все это его интересовало когда-то, все было в прошлом; у него, однако, хватило сил заметить в себе отсутствие интереса даже к такому непривычному ракурсу — обычно листва заслоняла даль, сейчас сквозь голые ветки воздушно-ситцево смотрелась река и Красный мост за «островом», и сам «остров» у слияния двух рек, где в чреве памятника 700-летию города на медной пластинке — послании потомкам — присутствовало и его имя. Сейчас он выбрал эту аллею не за ее виды, не за то, что тут же поблизости, за тополями, внушал прохожему трепеты известный истории «бережок» Гражданина, откуда некогда великое дитя, рассказывали, «тянулось из люльки к восходящему солнцу России». Сейчас он выбрал эту аллею за ее глуховатость: большой город здесь угадывался летом по трепету листьев на самых макушках, в такое безлиственное время — по пчелино-ровному гудению шершавых стволов, по гулу машин. Во всяком случае здесь, пожалуй, было меньше вероятности встретить того, кого обычно встретишь на улице, кого сейчас не очень хотелось встречать.

Он был в том настрое мыслей и чувств, когда любые встречи неприятны, снижают душу, возвращают к грешной земле. Жена была где-то поблизости, подле руки, за долгие годы их совместной жизни она привыкла быть незаметной, при нем, служить своеобразным зеркалом, о которое, отражаясь, возвращались к нему его собственные мысли, правда, в несколько измененном, но достаточно привычном, нераздражающем свете. Она шла слегка перевальчиво, как уточка, была широковата в спине, приземиста, но черноброва, приятна лицом, как и многие украиночки из соседнего села, откуда он взял ее в свое время к себе в подлесную деревушку. Она была с ним одного роста, но и ей, и самому себе он казался крупнее, значительнее, он считался в семье

лидером, и хотя оба закончили один институт, ему выпало двигаться.

Он заметил в себе отсутствие интереса даже к Гражданину, этому медному изваянию, к установке которого и он лично имел какое-то отношение, и удивился отсутствию интереса, встревожился. «Неужели стареем?» — вслух подумал он, и впервые так близко, так явственно увидел себя на пенсии, но тут же прогнал неприятную мысль... Ничего, мы еще попадем во славу... Ощущая привычную тягость металла на груди, он пошире развел плечи, отвел немного назад. Скользковатая, дорогая ткань макинтоша при этом присвистнула под мышками, движение передалось полному плечу жены и затонуло в ней. Мягкая, благородно-серая велюровая шляпа его повела влево-направо, он огляделся. Весь этот кусок земли, центральный район города, со всей его тектоникой-архитектоникой, выпершись ввысь, между речками, с их крутыми песчанковыми берегами, с жилыми домами, цирком, магазинами, заводами, среди них крупнейшим, знаменитым на всю страну заводом, где он был директором, — показался вдруг ему кораблем. Огромный корабль качнулся навстречу подвижке льда, к Красному мосту, «острову» со стелой-памятником 700-летия, похожей на мачту. И весь этот огромный корабль лег на сердце ему и надавил... Он снял шляпу и по очереди отер носовым платком сначала лоб себе, затем клеенчатую обводку внутри шляпы, осторожно водрузил шляпу на место... Время-времечко, последняя четверть двадцатого века. В Америке выдуман бег трусцой. Господа, За день из конца в конец свою улицу, за месяц дальше пределов штата, за год от Сан-Франциско до Рио-де-Жанейро. А он вот приходит сюда, на эту аллею...

Он раздраженно махнул свободной рукой, жена посмотрела на него внимательно, очень внимательно, плотнее прижалась плечом.

— Стараешься, делаешь, — сморщился он, как от зубной боли, и она поняла, что ему очень хочется, чтобы сегодня его видели все.

Люди должны знать своих лидеров в лицо. Вот хоть этот «корабль». Каким он был, когда его назначили директором головного завода: фанерные ларьки, пивные — полуподвальчики с деревянными бочками, обшарпанные дома. За одну только площадь на градостроительном совете пришлось сражаться полтора года. И какова

площадь теперь? Просторна, парадна, в граштите. Пожа-луйста, хоть вездеходы, хоть танки, хоть люди — тыся-чи тысяч. А ведь борьба за площадь стоила чего-то ему. Все было как будто недавно и уже очень давно... Почти до театра дотягивалась «стометровка», вот эта аллея, его аллея. Его предложение урезать ее и дать простор площади, осовременить площадь, было встречено в шты-ки. Выходили из себя коренные горожане: как — ру-бить эти липы, которые помнят еще Гражданина, рево-люцию 1905-го, мировую войну? За ним была сила ло-гики, убеждения, перспектива, он сумел свое доказать... И памятник этот тоже его инициатива, за синим лабора-торитом для Гражданина на заводские денежки ездили в карьер куда-то на Украину...

С вечера и всю ночь был туман, он чувствовал его по се-бе, своему состоянию; туман съедал, высасывал снега за городом, в полях и оврагах, конечно, снега и его слободы родной — Семенихиной; давил во сне, выкручивал ду-шу. Проснулся и вспомнил, приснилось или наяву, в самом деле, на обсуждении вопроса он впервые потерпел по-ражение, заявив по привычке, что затяжка весны — хо-рошо, не будет сильного половодья, снег постепенно вой-дет в землю, а не стечет с мерзлой земли в овраги, на что этот... можно сказать, от горшка два вершка... воз-разил, что нельзя-де рассматривать все односторонне, поверхностно: а «блюдца» на полях? плюс сюда вымерз-шие гектары, которые ежегодно приходится пересевать? И предложил в состав паводковой комиссии включить своего оппонента для, так сказать, изучения вопроса, а также и для улучшения организации шефской помо-щи профсоюзов селу. Ничего себе, для улучшения! А ведь именно он давал когда-то его кандидатуру на вы-движение... Вот так и проходит время-времечко: не успеешь подняться, осмыслить себя, растолкать, где надо, ряску, как со дна уже тянется тина. С завода его пере-бросили сюда, в обком профсоюза, вроде на повышение, а душу кошки скребут: конкретное, самостоятельное дело — и эти бумажки, не тот разворот...

Нынешний день удался. С утра солнце быстренько скрало туман, и теперь было неярвычно тепло, даже жарко. У плотины на Воронке-реке заколотились то ред-кие, то дробные взрывы, и грудь его обожгло, подломи-ло тревогой: точь-в-точь стреляют зенитки; для полного

ощущения счастья не хватало гуда моторов, ослиного визга авиабомб над головой, прямо за шиворот. И тут, словно подслушав его, весь воздух сотрясся, заходил ходуном; ревело так мощно, так плотно стояло, что пальца нельзя было просунуть в воздух прямо перед собой. Как член паводковой комиссии он знал, что аэродром на небольшом удалении и большая плотность воздуха тут ни при чем. Выждав момент, сказал жене как бы между прочим:

— Затер у плотины. Взаялся жечь лед турбинами... Да, отработали свое, с самолетов.

«Мощность-то, мощность какая! — подумал он устало. — А им уже не доверяют, отлетались, время свое отслужили... Да ведь что они, члены этой комиссии. Только тем ежегодно и занимаются, что провожают лед по «кривлякам» в городской черте, сражаются за плотину. Сколько средств, сколько сил... Да и какая плотина там! Строилась кое-как, сразу после войны. Побыл бы директором еще пару сезончиков — сделал бы шлюзование. В корень надо смотреть, а не в эти... припарки. Турбины! Ревут, дают вид, дают, перепрыгнули с ними черту по децибеллам».

Незаметно дошли ко конца любимой аллеи, перешли на другую, приостановились: за каштаном, профилем к ним, на лабрадоритовой глыбе сидел Гражданин.

Блики перебегали по Гражданину, выражение лица беспрестанно менялось: то хмарилось, то делалось солнечным, светилось и гневалось одновременно, из грубой подглазной впадины, показалось, выкатывается росинка. Жена покосилась на мужа и на плече его тоже увидела блики. «Доклад писал вчера, переработался», — вздохнула она, стараясь понять причину его тревоги, и вновь перевела глаза на медного исполина, лицо которого то уходило куда-то, то вновь приближалось. Опять скосила глаза на мужа, опять увидела, что и в его лице нет постоянства, и оно удаляется, теряет свои, присущие ему очертания, размывается, исчезает пористость и даже бородавка над левой бровью, лицо становится ликом. А ведь она знала это лицо наизусть — жестковато-скуластое, крупное. Прежде бросались в глаза на нем редкие оспинки, но теперь они вытерты временем, как наждаком, она уже их не замечает. Не привыкла только ко лбу. Какой лоб! Лобные доли, как у слона, выперлись и округлились, на них до истончения натянулась медная,

бумажно-пергаментная кожа, которая давно уж не дышит, прикрывшись золотеющей пленкой искусственного загара; сеансы он принимает теперь ежедневно, спасаясь от весеннего авитаминоза. Подбородок, на который все опирается, по ее разумению, авторитетен. В последнее время он научился делать его еще ниже, крупнее, что придает лицу солидность и равновесие, устраняет то мелкое, лисоватое выражение, которое создают тонкие, в уголках сильно поджатые губы.

Глаза на момент фанатично вспыхнули, в оттопыренной нижней губе мелькнуло не знакомое прежде жесткое, почти свирепое выражение, как у той медной многоорукой статуэтки, что стоит у них на серванте. Ее привез им с полгода назад в качестве презента один инженер из заграничной поездки с Востока...

Ветка вновь откачнулась, глаза успокоились, сникли. Жена высвободила руку: в самом деле, люди должны его знать в лицо.

Кажется, весь город вышел сегодня к обрыву. Шли и шли прогулочным шагом в ту же сторону и навстречу. Кто кивал ему, кто приподнимал шляпу. Шаг его обретал уверенность, делался шире, ступня ставилась прямо, чуть вразлет и плотнее, так ходил он по заводу директором. Он поймал себя на мысли о Гражданине, который тоже когда-то гулял по этому «бережку», вообще о девятнадцатом веке, о проблеме сильной личности, о Наполеоне. И уж тут совершенно неожиданно подвернулась пошленькая такая мыслишка об отменном еще при царе Горохе табеле о рангах. Как-никак все четырнадцать классов. Верхним, тайным советником, столпом общества, кажется, был Каренин... В картинной галерее, здесь поблизости, висит на стене диплом живописца Федора Нестерова, извещает, что обладателю его по окончании Академии художеств определен десятый класс со всеми вытекающими отсюда последствиями. Огромная гербовая печать!.. Интересно, какой бы класс ему определили, если бы он был, скажем, тогда директором? И хотя у Каренина мундир был шит золотом, он, в сущности, оказался очень, очень несчастным человеком. И вообще, что же все-таки счастье? — старый, выщербленный, как мир, вопрос.

Лежал, помнится, с печенью в спецбольнице. «Миленькая, — сказал санитарке-старушке, — что же это у нас с вами в палате-то грязно?» — «Да ну? — изу-

мила старушка и, заглянув в углы, успокоилась, махнула рукой: «Бумажек нет, да я ж анадясь подметала». — «Так не только подметать надо, мамаша, а мыть. С мылом, щеткой, порошком». — «С мылом? Да ну! — изумилась снова старушка и рассмеялась мелко: — Скажешь тоже, раньше порошков этих не знавали и здоровше были, по больницам вот так вот не леживали». По крайней мере, старушка эта имеет свою точку отсчета, в жизни ее все устойчиво, все имеет свое основание. Но ведь даже медное изваяние посажено скульптором так, будто готово по первому слову встать и уйти. И раствориться, исчезнуть...

А люди шли вдоль обрыва густым, пестрым потоком, подставляя лица ветру с реки и солнцу. Может быть, только вчера сняли зимние одежды, только сегодня одели весеннее и потому так непривычно выглядели в коротеньких пальто, уже устаревших куртках-«болопнях», вязаных шапочках; молодым в одежде хочется чего-нибудь свеженького. Чаще встречаются цвета синий и розовый, кстати, вместе это сиреневый. Шарфы поверх верхней одежды, бьют бахромой по коленям — это у юношей; в армии их старший сын Костя, тоже модник; девушки в цветных мохеровых шапочках-ушках, отчего выглядят чересчур уж по-детски. Он вдруг почувствовал отсутствие интереса ко всем идущим, вместе с тяжестью в темени возникла и удержалась в груди тревога, слегка даже испугала его. Но вот с ним раскланялся обширный такой человечине в неизменном своем хромовом пальто — тоже бывший директор, которому он устроил пошив костюма в экспериментальном цехе, где и ему сшили этот сиреневый макинтош. Вот прошел главный архитектор, который вовремя поддержал его идею модернизации площади и установки памятника Гражданину на лабрадорите. И тот и другой, можно сказать, вечные люди, кряжи, золотой фонд... Где-то далеко-далеко оставались дела, душа очищалась от наслоений, кровь наполнилась кислородом и зазвенела.

Ведь вот идешь по этому «крейсеру», и люди тебя замечают, ценят, есть у тебя свое место в жизни и, можно сказать, не последнее. Как закручивал и по сей день закручивает шарики-ролики на всевозможных совещаниях, конференциях, сколько людям отдано ценных мыслей, энергии. А ведь сам из простых, из народа, из глухой деревушки. Их и сейчас там с такой фамилией пол-

деревни — доярки, скотники, плотники. А он вот дошел до своего. Не так далось, не с неба свалилось, все своей хребтиной. Нет, обком союза, пожалуй что, повышение. В прежней должности в состав паводковой комиссии вряд ли бы ввели...

В этом месте река делала поворот, и лед под обрывом нагромоздился, грозил упереться в быки нового, недавно построенного моста. Народ облепил берега, шашками ледовые поляны подрывать было небезопасно.

— Смотри, вон оттуда моторки появятся, — указал он жене на лодочную станцию. — Волну будут создавать, лед качать. Предусмотрено.

Они продолжали идти вдоль обрыва. Дух захватывало от близости края, с детства знакомое желание — с церкви ли, с крыши ли размахнуться и вниз с простыней в руках, — каково? Он скосил глаз на жену, подвигал под макинтошем животиком, поморщился: мальчишество, — и стал брать правее, подальше от края. И вот тут-то он увидел его... этого человека! Из тех, из-за кого он и ходит отдаленной, глуховатой аллеей. Тот был тоже с женой, они сидели на железном ленточном ограждении по краю обрыва и смотрели вниз на движение льда, это их сильно занимало, кажется, они не успели заметить его с женой. Сиреневый макинтош сделался неожиданно тесноватым, в икрах ног возникла противная слабость, и он, не давая себе отчета, вильнул печально в сторону, мимо, к обрыву, оперся рукой о холодный электрический столб, встал спиной к тому человеку. Жена, привыкнув повторять все за ним беспрекословно, уже стояла полубоком к нему и по ходу движения. Странно было видеть их обоих молчащих, неподвижных, без всякой реакции на то, что происходило там, внизу, на реке... «И зачем свернул в сторону? — думалось тоскливо ему. — Надо было пройти. Отвернуться в сторону, не заметить. Нет, это слишком, земляк все же, знает всю семью с детства. Пройти, просто кивнуть, поздороваться? Подумает бог знает что, еще и нагрянет в кабинет со всякими просьбами. А ведь не скажешь ему, что на новом месте он, хоть и начальник, а вынужден считаться с обстановкой, с кадрами, а кадры настроены бывшим начальником, а ломать все сразу, вот так, за здорово живешь, никто не позволит, не та обстановка, а перестраивать нужны силы и время, которого он, увы, уже не имеет. Можно, конечно, что-то

и пообещать, по он не привык обманывать, сам солиден и требует того же от всех... Нет, надо было все же пройти, поздороваться, а все остальное потом. Они с женой всю жизнь знают их семью, его мать и отца, ценят их за трудолюбивость, небезрассудство. Как глупо вышло... Теперь уже точно заметили, смотрят им в спину. Но нет, не решатся, не подойдут, если стоять к ним спиной...»

И он все стоял перед самым обрывом и не замечал ничего: ни лихих разворотов моторок меж льдин — создавали волну, ни маленькой девочки в красном пальтишке с белым откинутым капюшончиком — подбежала к самому краю, а мать подлетела, отшлепала ее, та заревела; ни людей в желтых спасательных жилетах — сповали где-то вниз, под обрывом, от лодочной станции до причала. И что самое отвратительное, никак не мог прийти ни к какому решению. Черт знает что, абсолютно пусто в голове. Лишь позванивает в висках. И он стал смотреть на тот берег. Там доживали век длинные каменные лабазы, купцы когда-то держали в них хлеб, его отправляли вниз по реке на баржах, вода в те времена стояла всегда высоко, не шужно было строить дурацкие плотины, из-за чего теперь весь этот сыр-бор: бабахают зенитки, моторки носятся как угорелые, люди крутятся на льду с огневыми хвостами турбин. Когда лет семь тому на Воронке-реке случился затор, а из-за того в городе наводнение, купеческие лабазы просто осели, а вот «частный сектор», деревянные домишки, вообще приобрел жалкий вид... Он лично как директор выделял в фонд «утопленников» заводские квартиры, многие из получивших должны помнить его. Но время идет, и кое-кто уж не хочет понимать все как надо и воспринимать. Вот и этот земляк... за спиной... Чертовски талантливый архитектор, но куда там — не выдержан, сучок. Есть же такие, на все у него поперечное мнение. Выступил даже против Гражданина на синем лабрадорите: не на том, дескать, месте ставите. Ну хорошо, видим теперь, что не на том, но зачем же так резко заявлять о своей исключительности, вступать со всеми в единоборство... вообще мешать хорошему делу?.. И вот он стоит, все стоит, упорно стоит сейчас за спиной. Судят с женой, сверлят взглядом затылок, даже ломят взглядом этот проклятый затылок...

И тот — «сучок» — заметил его почти сразу, когда

двое выделились из движущегося мимо потока и неловко приткнулись к столбу. «Не офицер», — сработало в его мозгу, потому что женщина держалась за правую руку мужчины, это была его странность замечать в толпе людей с офицерской выправкой и просто офицеров, считать, сколько встретилось их, например, от Красного моста до почтамта. Краем глаза отметил, что эти двое продолжали стоять, как-то закаменели в общей стихии движения, без всякой реакции на то, что творилось внизу. «Землячок, однако», — улыбнулся «сучок»-архитектор, но сразу на него переключиться не мог, так ярко, молод, праздничен был весь этот день. Легкие распирало от свежего ветра, его тянуло от Красного моста куда-то вниз по течению, по ходу разбрызгивающегося снежного «сала» и редких, скользящих мимо со свистом льдин. Подплывая, они налезали на верхний закраек ледового поля, а около нижнего, у самых быков, между льдин, все крутились моторки, пытались волной раскатать, растянуть ледовую «пробку». Лихо, даже азартно обе моторки закладывали виражи, волна катилась перед ними, ударяла о краешек поля, но льдины держались крепко, давили одна на другую весом, всей своей тяжестью, тогда моторки отступали, уходили назад, ныряли под мост и, разогнавшись по свободной воде, бросались снова, рыча моторами, прямо на льдины. Он чувствовал моторки всем своим существом: как они шли красиво, словно висели в воздухе и одновременно в воде — голубые лодки, апельсиновые спасательные жилеты! Звенели на пределе моторы; рискуя пробить тонкое днище, лодки взметывались на льдины, с шелестением ползли по расслабшему льду; он слышал хрусткий ледяной шелест, видел, как народ с берегов глазееет на смельчаков, как те истово защищают мост от возникшей стихии, понимал, что смельчаки, может быть, потому так носятся, так рискуют здесь, перед быками, что берегам это не безразлично, на берегах сотни-тысячи глаз, и в грудь его заступало разделенное, пьянящее осознание собственной лихости и лихости этих моторов, безудержное желание оказаться в лодке, самому вступить со стихией в борьбу. В нос шибало островато-тинным запахом гнилых корневищ, проплывающей всякой травянистой всячины, поддонной, вздыбленной льдистой воды. В самом узком месте, через всю круговерть, перевитые струи, сюда с того берега плыло... что

же такое плыло? «Крыса!» — улюлюкали, размахивали руками на берегу. Видя, как животное бьется с течением, как перебегает льдинки и подныривает под плывущее «сало», как хватается отчаянно за соломинку, кто-то перестал кричать, начал даже подбадривать.

Человек в сиреневом макинтоше продолжал стоять неподвижно. «Как же глупо, как я глупо стою, — отчаянно било в затылок. — Надо было пройти, просто пройти, всего-то пройти. А он не уходит, играет на нервах, сидит». А тот, что сидел с женой на металлической ленте, схватывал сразу все: движение «сала», моторок, крысу, терпкие донные запахи, солнечное тепло. И этих двоих, что приткнулись к столбу. «Как же мучается человек, — думал он, продолжая сидеть на металлической рее. — Такой день, а этот... несчастен. Значит, счастье-несчастье в нас самих? Мы сами производители счастья? Ему плохо от своего положения, а ведь к нему он стремился всю жизнь...»

Хотел еще посидеть на своей металлической рее, интересно все же, как хоть тот будет выкручиваться. Однако день был так хорош, так прекрасно апрельское солнце, что ему стало неловко быть причиной страданий другого человека; мысленно попробовал влезть в его шкуру, в его сиреневый макинтош, и ему стало жаль его. «Да ну его, балду такого, — соскочил он наконец наземь. — Пойду, поищу другое местечко, пусть пройдут». Глянул назад через плечо: не выдержав, те ушли назад аллеей, в обратную сторону. И тут у края обрыва он увидел ребятишек, они возились в кучке привезенной, видимо, на укрепление берега гальки. В руках одного был плоский, крупный голыш. Приставляя его к глазам, они смотрели через него поочередно на солнце, на чистое небо, на Воронку-реку, на весь тот низкий берег, застраиваемый уже большими красивыми зданиями.

— А ну-ка, дай-ка гляну, — протянул он руку к мальцу в защитной буденовке.

— Куриный бог, — сказал почти басом малец. — Камень с дыркой... насквозь...

Архитектор взял у мальчишки камень — ладонь вспомнила его еще ту, детскую тягость, и тут от нахлынувшего на миг застлало глаза. «Законы у нас хорошие, было последнее, о чем подумал связанно со встреченным земляком архитектор, — да люди слабые...». Сире-

невая спина едва проглядывалась в конце глуховатой аллеи.

Человек в сиреневом макинтоше возвращался домой тем же путем. В тени макинтош делался почему-то синее, на солнце приобретал розоватый оттенок. Даже распахнутому ему было душно. Слабость в икрах усилилась, шаг получался торопкий, плебейски угодливый, не печатался по земле чуть вразлет пятками, как обычно ходил он, когда был собою доволен. «Не прогулка, а черт знает что! — косился он на жену. — Носу не высунешь. Выходной, называется, вышел на солнышко, отдохнуть, а возвращаюсь разбитым».

Липовая аллея гудела по-пчелиному ровно, длинно до бесконечности. Из-за поворота над зданием выплеснулся красно-бело-синий государственный флаг. Сквозь набухшие ветки каштана слепыми впадинами, прошитыми солнцем, как-то пусто сверлил ему спину медный лик Гражданина на сине-сиреневом лабрадорите — короткая, ставшая вечностью жизнь.

А наутро человек этот умер. Удар хватил его прямо на лестнице. И сиреневый макинтош очутился в мусорном ящике. И никто не брал его: то ли не нужен просто, то ли боялись взять.

Осень 1988 года.





Муж ее был человек с масштабом, в своем крае крупная личность. Когда он умер, газеты напечатали некрологи, и не как обычно, скупое, в пять строчек, за подписью «группа товарищей», а с изложением пройденного пути, перечнем всех заслуг и, что самое главное, подписавшиеся — все, кто знал и не знал его, но имел какое-то отношение к его делу или к руководству, — заняли места в газете чуть не вдвое больше, чем сам некролог. Ольга Сергеевна тупо смотрела в портрет, узнавала — не узнавала мужа: таким был он давно, лет двадцать назад.

Она не думала, что само окружение, атмосфера вокруг, отсвет от него падал и на нее. Слишком привыкла надеяться на себя, не давала ни в чем себе снисхождения и всякое проявление лести начальства, тем более подчиненных, в своем проектно-конструкторском бюро, где заведовала отделом, принимала как личное оскорбление. Сказать по совести, она его никогда не любила, она вообще еще никого не любила, за исключением Пети Сазончикова еще в пятом классе, который сидел позади нее и почти каждый урок совал ей за воротник то резинку, то линейку, то промокашку; на перемене она возвращала ему все это молча с опущенными ресницами, хотя тут же могла нанести молниеносный удар по любому агрессору. К мужу она была равнодушна, может, поэтому и не имела детей, считая их лишней обузой для него, для его карьеры и, конечно же, для себя. Почему в таком случае вышла замуж? Все в институте с ума посходили, к пятому курсу сошла, наверно, с ума и она. Но она шла с ним все эти годы нога в ногу, верно и честно, помогая ему во всем, даже в его сначала просто инженерной работе, а потом и на руководящем посту; трезвыми, простыми советами жены он никогда не пренебрегал.

И вот теперь его нет. И к этому сразу так не привыкнуть, как будто все эти двадцать лет вырваны из ее жизни, такая вокруг пустота. А вот враги (у кого их

пет, тем более на высоком посту) выражают словообильно соболезнования, в глазах же она читает обратное, и они не скрывают этого, не умеют скрывать, актеры средней руки. Как же все-таки больно слушать о нем в прошедшем — слова, слова, все слова...

Срочных дел не было. Рабочий день в бюро закончился вовремя, она перешла на другую сторону улицы, присела на лавочку и сидела. Идти домой не спешила, хотелось побыть на людях, развеяться. Достала было из сумочки зеркальце, пудру с губной помадой — французская, девчонки из отдела где-то достали, ловила взгляды проходящих мимо мужчин и женщин, стариков и старух, поняла, что все знали не только его, но и ее. В этом городе никуда от себя не денешься, просто никуда деться. Пришла домой, в большие звучные комнаты — она не любила ковры и мебель, предпочитала свободу в квартире, крестьянскую простоту; с трельяжа на нее взглянули его глаза в траурной рамке, она вздохнула и повернула портрет к стене. Легла на диванчик, смотрела в пустой потолок, без каких-либо мыслей. Потом почувствовала себя так одиноко, так нехорошо в огромной квартире, из всех углов на нее полезли подвижные тени со щупальцами — старая, еще детская болезнь, страхи, которые он умел подавлять в ней своей волей, железной логикой, убежденностью в правоте своих взглядов и дела, просто физической силой.

Она встала, пошла и зажгла на кухне газовую горелку, вернулась и снова легла на диванчик. Глядела на стены, на синий, трепетный газовый язычок в двери, и все вокруг было странно, так тихо, хоть бы мыши где заскреблись, затрещали бы уж тараканы, как в детстве, только стенки шевелились от синего пламени, двигались и надвигались. Она стала с усилием глядеть в потолок, стараясь что-то увидеть на нем, но тени проходили мимо нее, мимо скамейки, на которой она недавно сидела, люди, все люди и люди, знакомые и незнакомые, она их не знала, они ее знали, но к ним сейчас ей не хотелось. Усилием воли напрягла зрение, на потолке сверкнули глаза — фосфоресцирующие по окружности, в середине — темные, как и все остальное вокруг, взгляделась в круги, и ей стало не по себе: на потолке узнала свои глаза.

— Ну нет уж, эдак до чего можно дойти! — сказала вслух Ольга Сергеевна и встала, села в кресло возле окна.

С четвертого этажа город виделся далеко. Яркие огни, этажи. Автомобильная трасса. Театры и рестораны. Парки и карусели... А его нет и не будет... Как это странно чувствовать себя с ним без него. Как будто чего-то нет сверху, постоянно давящего, почти физически осязаемого. Такой он был уверенный, сильный, тяжелый. «Чтобы людей вести за собой, надо иметь внутреннее содержание», — говаривал он иногда. И он имел его, содержание, которое часто было только его, его собственное, не имеющее никакого к ней отношения... Тяжести этой сейчас не стало, и все равно тяжело...

Ольга Сергеевна проснулась вдруг среди ночи, села и огляделась. Страшно, тронула даже рукой место рядом с собой — никого. Но она все еще видела его, этого мужчину, ощущала все его тело, трогала его светлые, слегка вьющиеся волосы, капельку-родинку у правого глаза, гораздо моложе ее мужа, почти мальчик, чем-то так похожий на Петю Сазончикова — ее детскую, послеюношескую любовь; простыня рядом была от него еще, кажется, теплой. «Какая гадость! — закрыла она руками лицо. — Как это пошло». Легла, и вновь он пришел откуда-то к ней, гладил ее волосы, тело, от шеи и ниже, ниже по шелестящей шелковой коже... Она и заснула под утро с теплом где-то во глубине...

В другой раз сидела все на той же скамейке, напротив своего проектно-конструкторского бюро, когда мимо, среди общей толпы, Ольга Сергеевна увидела его наконец. Она этому не удивилась, он должен был появиться. Он был немного постарше того, что являлся к ней ночью во сне, глаза темнее, усталее, в мелковатых морщинках. Он проходил мимо ее скамейки и на другой день, и на третий, и каждый день весь этот месяц. И они уже привыкли друг к другу, и она бы давно кивнула ему, как знакомому, если бы не людской поток, который так и тек, отделяя их друг от друга.

— Вы изменились, — сказал ей начальник бюро. — Вам бы следовало отдохнуть.

— Да-да, — сказала она автоматически. Темные круги под глазами, очевидно, выдавали ее полубессонные ночи.

И ей принесли путевку куда-то на юг. Она даже не прочитала, куда именно, положила на трельяж, прошла на кухню, зажгла газ и, как обычно, долго-долго глядела на потолок, вызывая усилием воли появление то сво-

их глаз, то глаз его, всего самого, молодого человека, который теперь каждый день, в одно время проходит мимо нее.

В день отъезда ей позволили из кассы предварительной продажи билетов и сообщили, что ей до Минвод заказан билет, доставить на дом или придете сами?

— Сама приеду, — сказала она машинально в трубку и пожала плечами: «Почему в Минводы? Почему именно в Минводы?.. Ах да, это все ответ мужа, какая любезность!»

За билетом она не поехала: в городок, куда она собралась, можно уехать и без заказа: электрички одна за другой. Перед самым отъездом, уже с чемоданом, она пришла на то самое место, на ту же скамейку. Он прошел мимо все в тот же час и обернулся даже, перевернулся всем телом. Большого ей не хотелось. Она встала и, приподняв чемодан, сделала шаг к стоянке такси. Он кинулся к ней, взял из рук чемодан. Люди шли и шли, все мимо, бесконечным потоком, и кое-кто — она это видела — расценил это как обычное, рыцарское отношение к женщине, которое, к сожалению, — она это слышала у себя за спиной, — уже вымирает.

— Куда? — бросил коротко молодой человек.

— В Тиходол, — сказала она зачем-то.

— На вокзал, — коснулся плеча таксиста молодой человек.

Уже с вокзала она не узнала свой Тиходол. Тот Тиходол, где они с мужем начинали совместную жизнь, был совсем не таким: тогда действительно тихим, уездным каким-то, патриархальным. Сейчас в центре вырос совсем новый город с пятиэтажными жилыми зданиями, со стеклянными магазинами и Дворцом горняков, с вокзала к центру даже ходили автобусы. В их время с вокзала в город добирались пешком. Вот что значит шахты, бурый уголь в тиходольской округе, еще тогда муж предсказывал городу лучшее будущее, но как же быстро все это произошло.

В гостинице ей дали отдельный номер, сказали — лучшую комнату, Ольга Сергеевна осталась ею довольна. Возможно, это был номер специально для высоких гостей, которые наезжали в Тиходол с проверками, в командировки. Возможно, этот же номер в свое время сдавали мужу, когда он здесь дневал-ночевал, взяв под неусыпный контроль строительство химического комби-

пата. Во всяком случае, комната была вполне приличной и по меркам более крупного города. Квадратная, с паркетным полом, лепным потолком, с двумя балкончиками, один из которых смотрел в заросший липами дворик, другой — опять же через липы — на автотрассу, по ней бесконечным потоком с юга на север и с севера на юг, из столицы и в столицу, катили «МАЗы», «КрАЗы», «КамАЗы», просвистывали «Волги» и «Жигули». Этот гостиничный комплекс обслуживал автотрассу, на ночь поток замирал, машины сбивались в кучу на огромной стоянке через дорогу, а усталая, но живая шоферская братия штурмовала окошко дежурной, обретаемая пристанище во всех этих зданиях на всех их пяти этажах.

Корпус, где поселилась Ольга Сергеевна, был из первых, уютенький, крошечный, не гостиничка — скорее рыцарский замок с башенками и балкончиками, с резными оконцами; гостиничку эту взяли строить еще, когда они с мужем жили здесь, в Тиходоле.

Ольга Сергеевна вернулась в комнату обратно с балкончика, ни одна паркетинка не хрустнула под ковром. «Следят как», — отметила она про себя и задумалась: с чего начать новую жизнь в Тиходоле? Пройти к реке зелеными улочками, к обрыву, где в крохотульке-коттедже у старенькой тети Поли снимали они с ним одну комнату? Теперь тети Поли, возможно, нет. Возможно, нет и коттеджа. Или отсюда же, с автостанции, уехать автобусом далеко-далеко, за зеленые леса, за синюю речку, где прошло ее детство и где в деревне у нее из родни теперь никого не осталось? Отец с матерью уже давно на погосте, а братьев с сестрами разбросало по всей стране. А может, просто остаться здесь, в этой комнате, сидеть и все представлять, собрав в воображении все: и тетю Полю, и синюю речку, погост с родительскими могилками и себя далеко-далеко, ребенком, еще в пятом классе, когда Петя Сазончиков пихал ей за воротник всякую всячину, таким способом ей выражая симпатию?

Она осталась сидеть. Когда позвонили, не встала. Просто поняла, что открылась дверь. Просто увидела, что это был он.

— А ведь это мой номер, обычно я в нем живу, — сказал он тихо; совсем тихо, и под глазом дернулась капелька-родинка, так тихо говорили все тогда в Тиходоле.

— Что ж, — сделала она полудвижение, — я уеду.

— Ну что вы, живите, — рассмеялся он и прошел к письменному столу. — А это вот книжка моя... про перуанских индейцев... еще с той командировки.

— Ну да, — сказала она, — что-то похожее читала когда-то и я.

— Вы молоды, — остановился он против нее, — почему вы сказали «когда-то»? Есть время вместе все это перечитать.

— Хорошо, — сказала она покорно и села в кресло, передвинула его спиной к глубине комнаты, боялась взглянуть на постель.

— Ну вот и ладно, — опять от улыбки под правым глазом у него дернулась черная капелька. — А я буду жить здесь рядом, всего через дверь.

«И это близко? — закрыла она глаза. — И это люди считают близко, а что тогда далеко?..»

Ночь приходила быстро и неотвратимо. Ольга Сергеевна вставала из кресла, задергивала занавески. Снова вставала, раздергивала занавески, как будто в этом сейчас и состояло ее жизненное предназначение — вставать бесконечно и бесконечно задергивать — раздергивать занавески. Она вслушивалась в шаги где-то внизу, на первом этаже, у дежурной. «Если придет, что скажу? И вообще, что говорят в таких случаях? Во французских романах все это просто, легко, у русских всегда серьезно, мучительно...» Надо же так случиться, что он и она сейчас здесь, именно в этом городе, где все у нее было впервые... с Власовым. В Тиходоле когда-то Власова знали все, от простого инженера он дорос до директора предприятия с переводом в крупный город, где и остался навечно. А она сейчас лежит здесь, в этой комнате, где, возможно, он останавливался, наезжая в командировки. Смотреть в глаза всем этим улочкам, коттеджу с тетей Полей на самом обрыве, на Тиходолку-речку, на весь Тиходол-город, сбросивший наконец иго своей патриархальности, и думать совсем о другом?..

Как перейдешь через все эти годы, ведь было и у них с Власовым то, через что переступить невозможно... И все же это жестоко, по-варварски, дико. Это что-то из скифского, из быта древних кочевий, когда в могилу умершему повелителю ставили золоточеканные кубки, убивали коня, клали рядом жену. Нет, она не скифянка, она вполне современная, теперь одинокая женщина...

и все же... все же... эта дрожь где-то внутри ее, это слово «долг», от которого не отвыкнешь...

Било ветром снаружи о стенку, форточку. Она принималась считать до десяти, до пятидесяти, до пятисот. Вот-вот... сейчас... сию минуту. Но шагов не было. Она довела себя до иступления, все тело горело и вздрагивало, простыня перекрутилась, упала, она лежала просто так, видя всю себя и в темноте, подсвеченной разве что через окно светлой россыпью звезд да пролетающей далеко по шоссе легковой автомашиной. Если бы сейчас раздались шаги, у нее не хватило бы сил встать и закрыть перед ними дверь, но шаги все не раздавались...

Утром они встретились в вестибюле и пошли вдвоем по Тиходолу. Он держал ее аккуратно под локоть, она и думать не думала, что это из-за нее, именно ради нее, люди оглядываются, говорят о ней меж собой... Да, все те же — от центра — патриархальные улочки, все те же дореволюционной постройки дома, когда-то дойдет и до них черед... Да, именно ей смотрели все в спину и переводили взгляд на него. Да, именно о них сейчас говорят на улочках и косятся, кажется ей, недобро. Она совершенно выпустила из виду, что начальство у людей держится какое-то время в памяти, вспоминается от случая к случаю, и, значит, кое-кто здесь помнит Власова, мужа ее, и ее самое... Как они смотрят сбоку и в спину с состраданьем, а потом, очевидно, увидев другого, с интересом, потом, пожалуй что, и недобро. Ах да, они же все читали в газете и пожалели ее мужа и просто из виду выпустили, что она еще молода, намного моложе его. Что-то должно произойти, так долго все оставаться не может. К вечеру соберется гроза...

— Извините, вы не Власова ль будете случаем? — останавливает ее за руку аккуратненькая шаткая старушка, в прошлом, очевидно, учительница. — Ах, какой это был человек, какой человек! Такие не заживаются. Даже мне — ну кто я ему? больная, уже тогда старая женщина — помог, подействовал в получении квартиры. Земля таких редко родит... А это случаем не сын его? — повернулась старушка подслеповатыми глазками к спутнику Ольги Сергеевны.

Ольга Сергеевна угнула голову и пошла, почти побежала в подвернувшийся переулочек. Скорее, скорее. Он догнал ее почти возле гостинички. Она опустила руку

на него чуть выше локтя, запрещая вход. Остановились. Стояли друг против друга.

— Старушка-то знает тебя? — сказал он, и черная крапинка-родинка опять шевельнулась под глазом.

— А меня все везде знают, тем болес здесь, — опустила она глаза и смотрела в сторону, вниз.

— По фото? Вы артистка? — привлек ее к себе он за талию.

— Нет, — отстранилась Ольга Сергеевна, — по газетам и телевидению. Попадала иногда под объектив с мужем, с Власовым.

— С тем самым??

Она нервно пожала плечами, прошла вперед и хлопнула дверь. Быстренько собрала чемодан, натянутая, как струна, ждала шаги по коридору, к двери. А когда они раздались, вся заколотилась, бросилась, щелкнула дверь. Но они прошли мимо двери, задержались немного, вовсе немного и потихонечку-полегоньку, боясь, очевидно, скрипа на лестнице, стали спускаться вниз. Ольга Сергеевна бросилась на кровать, лицом в подушку. Рыданья, как ни странно, принесли ей облегчение. Подняла голову — в форточку вместе с крупными каплями ливня ударил ветер. «Наконец-то», — облегченно вздохнула она и решила наутро собраться и все же поехать в деревню, отыскать дальних родственников.

Распахнула балконную дверь, смотрела, как ливня льется ливень — обломно, отвесно, словно сбрасывая с неба все лишнее, что накопилось за лето. И когда дождь пошел ровнее, спокойнее, подумала о муже, о себе, обоих совместно тогда в Тиходоле и поняла одну истину, которая давно вертелась у нее в голове, но до которой никак до сих пор не доходила: в одном теряешь, в другом вновь обретаешь потерянное — в этом есть своя логика, «железная логика», как сказал бы, наверное, Власов.





В сельхозпредприятии имени Чкалова, чтобы маленько придержать молодежь, купили комплект духовых инструментов. Но энтузиастов не обнаружилось, и медные трубы повесили на крючок до лучших времен. Лучшие времена наступили, когда в Ушаковку прибыл на жительство кузнец Антон Дубина, человек средних лет, с крупной грудью и кулаками-кувалдами. Оглядев критически брошенный домик, он сказал сам себе решительно:

— Поселяюсь.

И вбил возле двери лично откованный штырь, на котором пристроил черный футлярчик с металлическим ромбом: «Участнику художественной самодеятельности А. С. Дубине, как артисту своего дела». В чем он был настоящим артистом — по кузнечному или как участник, предстояло узнать, и это пробуждало у ушаковцев к нему интерес. Тем более, что в отличие от прежнего кузнеца — «мазурика» этот, новенький, стал появляться на людях в пиджаке с модным разрезом, при галстук-бабочке и в свежей рубашке.

Деревенька ему понравилась.

Ушаковка стояла в логу, в стороне от движения, от центральной усадьбы. Кому надо, с нее уже съехали; кто остался, жил складно с собой и с соседом. На общем дворе живо обсуждали события: прокладку асфальтированной трассы в трех-четыре километрах, появление доильных аппаратов на ферме, новейших марок тракторов. Ни грузовые машины, ни тракторы к домам не подпускали, держали на бригадном дворе, на бугре. Околицу перекрывали воротца из березовых слег. Дальше ехать могли лишь «Жигули», «Москвичи» да мотоциклы, которые были тут почти в каждом дворе.

Предки позаботились о сегодняшних: всю деревеньку обжимали седые ракиты, сбитые в три-четыре ряда теми же слегами, они отгораживали от всего белого света дома, прудишко где-то внизу, бродивших по воле телят.

По утрам ушаковцев поднимал теперь звук трубы.

Серебристый, он лился по освежившей за ночь деревне, подбирался к леваде, уходил далеко по холмам. Коро­вы начинали перекликаться сиповатыми голосами. Ус­мирялись цикады, скворцы улетали в лески заморить червячка, и только люди, запнувшись, поворачивались на звук и стояли с минуту или две, позабыв о делах, и чуяли, как где-то в них возникает душа, как легким становится тело. «Боже мой, — шептали чьи-нибудь ссохлые губы, и ссохлые, плоские от работы пальцы тре­петали, сучили, — и это живем мы? В работе, навозе. Спешим, гоним жизнь. А все, чтобы наесться, набить свой живот, да когда ж наедемся? Для чего хоть яви­лись на свет, для какой-такой доли? И что останется после нас, кроме холмика?.. Как, однако, красиво поет труба. Слово спрашивает тебя: все ли ладно устроил ты там, где живешь? Не забыл ли чего? Что еще слы­шишь, кроме себя?..»

По деревне гуляли веселые слухи: Антон, мол, раз­жалованный народный артист. В трубу играть, дескать, может даже поздрей, а если губами, так сразу в два инст­румента. Только каков он кузнец, интересно? В кузню, под вязами, подъявились любопытные. Сверкая кожа­ным фартуком и глазищами, кузнец перехватывал в ле­вую клещи с поковкой, бросал — малиновую — на на­ковальню. И прежде чем грохнуться молоту, каждый раз с кончика носа у него падала капля пота и вспыхи­вала...

Вскоре в Ильинском на двери Дома культуры по­явилось объявление: «Любитель, кому это надо! При­ди, запишись у меня в музыкальный оркестр. Запись в 19.00. А. Дубина». После этого с неделю кузнец акку­ратно ходил на центральную. Настроение падало: даже школьников не было.

Месяц спустя в кузню ввалилось целое скопище — все в спецовках, в смоле, загорелые, лохматые, черно­головые. Сунув в воду раскаленную ось, Антон стоял, ждал, чего надо.

— Пришли, дорогой, всей футбольной командой, — выдвинулся вперед маленький и, видимо, самый речис­тый. — Принимай. Музыкантами будем, кунаками будем.

— С Луны свалились?

— Зачем с Луны? Асфальтировщики... Ток приеха­ли вам асфальтировать, дороги приехали делать. По личному договору. Может, тут и останемся.

— Шабашники значит? — усмехнулся кузнец.

— Зачем обижаешь, — обернулся назад речистый. — Приехали, в клубе живем, а тут эта бумажка. Что делать вечером? Будем учиться... Будем, ребята?

— Бу-удем, — протянули осипшие голоса.

— Ладно, алкаши, охламоны, шабашники, — оглядел лихое воинство кузнец и вздохнул. — Только ша! У меня дисциплина.

— Ясно, начальник, — изогнулся в заднем ряду верзила в пиджаке из одеялки. «Ну и детина, два метра с лишним», — усмехнулся Антон и сказал вслух:

— В баню — раз, утюгом рожи — два, пить лишь по пятницам — три... Одеялки под лавку, наведите багет-марафет. Вы же артисты!

— Раз в не... не... — дернулся речистый, но верзила заткнул ему рот:

— Есть, начальник.

В этот день молоток у кузнеца плясал веселее обычного. Антон справлял веялки, ковал лошадей, ладил бороны, сбрую, телеги. В перекур призадумывался, усмехался, крутил головой. В среду вечером шел на центральную. Проходил залесенной балкой, на макушку которой то и дело вымахивал трактор. Эта весна была ранняя, яровое давно покосили и уже пахали под зябь. Моросило. Сумерки изменяли очертания, и он подумал, что в грозы и ночью лес, должно быть, совсем не такой. На земле, как и у людей, все в движении: где веками лес стоял — пашут, где пахали — остволяется дерево.

Вошел в репетиционную — все разом встали. Усмехнулся: прямо тебе вечерняя школа. Вызывал пофамильно, порядок всегда есть порядок.

— Ну, с чего начинаем? — брякнул на стол он тяжелую руку.

— С похоронного вальса, — несмело сказал речистый Арсен Матевосян и оглянулся на всех.

— С марша, то исть, — подтвердил басом верзила — Вася Косичкин.

Антон вскинул бровь:

— Не понял.

— Так надо, начальник, — зачастил Арсен. Из его вдохновенной и складной речи Антон Дубина понял, что похоронный марш — это материальная база, это бета и гамма, были б гроши — будет программа. Кто-

то где-то умирает, кто-то кого-то хоронит, они хотят хоронить по-человечески, мы хотим жить по-человечески — личная инициатива.

— Ладно, вы, инициаторы,— остановил их кузнец.— Вот вам, видали? — показал он дулю им. — Будем разучивать, что вам скажу. Эти... хоровые вокальные песни...

— Здорово, — улыбнулся Арсен. — А кто ж будет петь?

— Запоешь! — сказал сумрачно Вася Косичкин и смягчился: — Кто поет сейчас? Население. Пионеры и пенсионеры.

В другой раз бежал — опаздывал — напрямки по опушке, через Сивый ложок. Остановился как вкопанный: по краю затравенвшего противотанкового рва шершаво тянулись ракиты. «Наши оборону держали,— вспыхнуло, — маскировка была... А теперь из веток ракиты, и те уже старые». И он впервые задумался о своем возрасте...

И в тот вечер решил рассказать «охламонам» о музыке. Помнится, читал еще там... в отряде, брошюру, такая интересная брошюра о музыке, о Петре Ильиче Чайковском. И на нотах было написано тоже Чайковский. Вот имел человек понятие, вот имел красивую душу. Как это у него: трата-тата-тата-тата... трата-тата-тата-тата... С полчаса Антон выговаривал все, что знал, все, что помнилось. И так было приятно самому за себя, так хорошо себя слушать. И ребята были хорошие, такие внимательные, чуткие, прямо ели глазами. Да он горы своротит с такими, Чайковского они у него будут щелкать, как семечки...

Расчувствовавшись, Антон принялся проверять музыкальные данные, стал сажать на инструменты. Васе-верзиле была вручена колотушка, Арсену — вторая труба. Из кладовки извлекли проломленный барабан, выбросили мышинное гнездо, водрузили в середине оркестра. С десятков дней гул стоял адовый, дули каждый свое. Едва приспособились извлекать звуки, последовали заявки: начальство приказывало сыграть на чествовании доярки Аксютиной, на слете механизаторов, на открытии новой столовой. Антон сбился с ног. Кроме единственной партитуры, полусъеденной мышами, в клубных шкафах ничего не нашлось.

«В далекий край товарищ улетает...» — разучивали они ее, эту единственную.

Блудил по своим и не по своим нотам тенор-секунда, давила все и вся туба, барабан ахал, как валец по белью. Антон прерывался, брал колотушку, тубу, показывал...

В субботу кузнец Антон поехал в Мокрянск насчет репертуара. Оказалось, нет в районном Доме культуры оркестра, нет и никаких нот. Антон уже шел обратно к себе на автобус, когда что-то неуловимо знакомое, витавшее в воздухе, заставило его остановиться.

Блуждая, с запинками, как по ухабам, звуки подбирались к мелодии:

В далекий край товарищ улетает, —

жалобно пела труба.

Эх-та-та, гэх-та-та, —

грохотал и дребезжал барабан. Антон даже привстал на цыпочки: только вторая партия тенора, первой партии нет.

— Чего это там, бабусь? — спросил он семящую мимо старушку.

— Товарку, милок, провожаем, — шевельнула та мягкими, как вата, губами. «И куда ж ее?» — хотел было поинтересоваться кузнец, но в это время справа из переулка вышла людская процессия. Где-то сзади плыло знакомо, жалобно:

В далекий край товарищ улетает...

Впереди процессии выступали старушки в черном, несли венки из ромашек и хвои. Гроб покачивался на тугих полотенцах. Из окон высовывались любопытные, останавливались прохожие. Позади, по дороге, в пыли, оставались зеленые ветки. Ступая на них, медлительно, то кучкой, то вразноброд двигались они, его охламоны, голубчики.

Антон подошел к ним, пристроился, шел, опустив голову.

— Они сами приехали к нам, — шептал Арсен кузнецу Антону. — Зашли в клуб к нам и спрашивают: вы, говорят, играете? Ну, мы. Вы, говорят, любители ай профессионалы? Ну, профессионалы, говорю. Бабушка, ветеран у нас, говорят, померла, не проводите? В общем, мы провожаем...

— Вижу, — заиграл желваками кузнец. — Нахлестались!

И отошел. Трубы исходили слюной. Вася Косичкин, закрыв глаза, всаживал колотушку чуть ли не в полбарабана, даже грачи на тополях встряхивались и кричали. Дорога вильнула направо, все тоже туда, и только Вася продолжал идти прямо. На пашню, по пашне, Арсен двинулся к нему молча, развернул за плечи и молча же подтолкнул следом за всеми.

...улета-а-ает... —

запевал во весь свой трагический голос Вася, и слезы катились у него по щекам.

— Ладно, ладно тебе, — гладил его по спине Арсен. — Нервный какой.

— Ты меня не оглаживай, не оглаживай! — открывал глаза Вася. — Я сам... са-а-ам...

Часа через полтора охламоны явились к автобусу, на автостанцию, подошли к Антону.

— Ну, проводили ласточку? — спросил он их хмуровато.

— Какую ласточку? — поднял рыжие брови Вася.

— А какая в далекий край улетела.

— Это тебе, начальник, — подлетел к кузнецу Арсен и сунул в руку червонец. — От первого жмурика, земля ему пухом. — И достал из Васиного барабана бутылку. — За почин! Верно, Вася?.. Антон Семеныч, музыканты просят. Просим, ребята? Ну!

— Про-о-осим, про-о-осим!

— Какие к черту вы музыканты! — Антон посерел от гнева. — Шкуры вы, жулики, трепачи, охламоны...

Все надвинулись на кузнеца.

— Сволочи! Скопом бродите, — отступил на шаг Антон и уперся спиной в ствол не крупного вяза. — Я же только оттуда. Что мне жизни, сволочи, жалко?

Они окружили его, надвигались, сжимали кольцо. Пальцы у кузнеца побелели на вязе. С кроны, подрагивая, сыпались на русую голову семена-крылышки...

К концу лета «профессионалы» в Ушаковке исчезли. И Антон теперь не ходил на центральную, папиросы и хлеб ему приносила соседка. Он почти не вылезал из кузни, закоптился, поблек. Выполняя срочный заказ, бил с темна до темна по тяжелой поковке.

Давно уже промычало стадо за садом, прогнали те-

лят. Спешить некуда: кто дома встретит и что? Он положил молот на наковальню и вышел во двор, лег на травку — лицом в небо. И увидел первую звездочку. Прильнув к земле сердцем, слышал, как она отвечала на каждый удар, опускалась и поднималась, дышала под ним, как живая...

В тот сентябрьский вечер, когда душа привычно маялась от одиночества, в дверь постучались: сосед Матвей Матвенч. Шофер.

— Чего тебе? — встретил невесело его Антон.

— Да что ж я, соседушка, — переступил Матвей Матвенч порог и улыбнулся, качнул головой на стенку, на черный футляр. — А я гляжу: чего кузнец не поет? Уж и вся Ушаковка волнуется. И бабы, и мужики. Сами деликатничают, а меня подсылают: спроси. Всю деревню, поди, прошибаешь...

Кузнец стоял истуканом, потом лицо его дернулось: видно, дошел, наконец, смысл услышанных слов. Руки прыгали, ставя кружку, стакан, пальцы дрожали.

— Это сейчас мы, — говорил он и отворачивался. — Это мы мигом.

Выпили и молчали, чувствуя: один — интерес к другому, а этот другой — за тоской накатывающую в душу, нечеловеческую теплоту. Ведь сегодня еще, можно сказать, и не знал Матвея Матвенча, а сейчас так и нет человека роднее. И всю жизнь свою вылил кузнец перед человеком, выдохнул всю свою жизнь...

— Да, судьба, — смотрел сосед заволокшимися глазами. — Нелегко тебе, да. Все мозги у тебя набекрень. — И приподнялся, крутнулся резко, кивнул на футляр: — А ты дай сигнальчик, Антон Семеныч. Дай сигнал мужикам...

Они вышли наружу. Ночь была звездная, бесконечная, теплая. Кузнец поднял к губам свой «корнет-а-пистон», и живой, малиновый звук овладел темнотой.

Уп-тата, ун-та-та... —

серебром наливалась мелодия.

Завозились грачи на ракигах, в траве усмирились кузнечики. Чей-то молодой голос возник на том берегу:

— А кузнец-то наш снова запел...

Серебро улетало в тугие созвездия, куда-то к Венере, чтобы эхом, оттолкнувшись и там о что-то живое, душу людскую, возвратиться сюда, в Ушаковку, назад.

СВАДЬБА С КОРДЕБАЛЕТОМ



Вот и Троица — самый летний из летних праздников, еще из тех, позадавних веков, когда наши предки — вятичи, жившие по руслу Оки, поклонялись солнцу и водам, деревьям и травам, щедро раскидывали в этот день по жилью всякую зелень: шалфей, мяту, овсяницу, козлобородник и, конечно же, ветки березы, подвязывали их пучками под застреху, под матицу, в сенах — всюду, куда только может упасть глаз человеческий.

А вот и свадьба, в конце концов. И то сказать, не каждый месяц, а теперь и не каждый год случаются в Атяевке свадьбы. Антон с Петровной женят своего среднего — Ваську.

К полудню во двор к Сечкиным сошлась почитай вся Атяевка. Сколько техники понаехало всевозможнейших марок — от «Жигулей» до комбайнов. И дали Антон с Петровной команду размещаться прямо во дворе под ракетами. На что лучше — и вольный воздух, и тенек, голову не напечет. Тут же все столы-стулья, лавки-скамейки поплыли из сенец на улицу, под брезент...

Какой праздник грянул сегодня в Атяевке, как многословесно людям! Век работай — молчи, живи — тоже помалкивай, а тут говори, распинайся, отпуская свою душеньку хоть с соседом, а хоть и со всеми в застолье. Вон тут вместе сколько сегодня собралось атяевцев. Откуда только ни послетелись: кто на поезде, кто на собственных «Жигулях», кто на комбайне даже приехал тут поблизости, из соседней деревни. А Вадим — троюродный брат Селезнева Витьки — прилетел даже на самолете вон откуда — из Восточной Сибири...

Наконец, вышли жених с невестой — Василий с Таней. Посадили их в головище стола, спиной к шершавой ракете, окружили дружками-подружками, папками-мамками, дядьками-тетками, после родные, какие подалее, гости, какие попроще, просто атяевцы — бывшие и теперешние, деревенские и городские, все атяев-

цы. Подкатил на «козле» сам Ефим Ефимыч, тут же возле молодых ему очистили место.

— Ефиму Ефимычу слово! Голове!

— А я вот о чем, — поднялся Ефим Ефимыч. — Я о том, что молодые живут, работают в городе, а свадьбы приезжают справлять сюда, на родной корень. Значит, тянет, а? А эти молодые наши — Татьяна с Василием — никуда будто и не уезжали...

— Ты вроде как агитируешь, — перебил его Вадим Селезнев, троюродный брат Витькин, что сюда даже не на комбайне приехал, а, извините меня, аж из Восточной Сибири.

— Ну и что? — даже не повернулся к нему Ефим Ефимыч. — Ну и что же, что из Восточной Сибири... Так вот я к тому, — завершил он свою мысль, — я к тому, что сжимается паша Атяевка. Поглядите, где сейчас хата Сечкиных? С краю! А была где, если помните? Весной еще две усадьбы срыли бульдозером — Костиковых и Кирьяковых...

Все посмотрели разом направо — туда, где как раз за сечкинской хатой и кончалась теперь Атяевка.

— Вот мы возьмем и построим им дом тут! — заключил Ефим Ефимыч. — Чего ей, пустоши, зря-то окологлазить?..

— Шагренева кожа... закономерный процесс, — опять перебил Ефима Ефимыча этот Вадим Селезнев. — Вот у нас там, в Восточной Сибири...

И тут что сотворилось: повскакали все, стали хватать друг друга за грудки, за плечи, что-то кричать и доказывать. «Это все же наша усадьба!..» — «Да пусть живут молодые!..» Сам жених Сечкин Вася и тот давай горячо шептать что-то Тане, невесте своей, а та плечами все пожимала, непонятно, согласна или нет, не согласна. Но вот на Василия налетели дружки — в белых рубахах, загорелые, русоголовые, и все вместе стали доказывать что-то Тане. Та кивала им, соглашалась, а сама нет-нет да и взглядывала на Вадима Селезнева — троюродного Селезнева Витьки, что комбайнером: вот человек, прилетел на свадьбу откуда — аж из Восточной Сибири...

Вадим не спускал с невесты горящего взгляда; она и в самом деле была хороша: фата оттеняла румянец, на губах держалась улыбка. Она дерзко смотрела на Вадима, не опуская глаз. Между ними возникало непо-

нятнос им обоим желание, их так и тянуло взглянуть друг на друга; знала ведь, что нельзя, следят за ними, а тянуло; мост какой-то электрический установился: глянет он — и тут же она, глянет она — и тут же он...

Все заметили этот их мост обоюдный, ишь, сидят, прямо-таки ширяют глазами. И на другом конце стола разговоры притихли, почти прекратились, и все повернулись сюда, к Вадиму. Вадим почувствовал к своей персоне внимание, и это ему вначале понравилось, но потом что-то стало неловко. И тогда Вадим стусевался, перевел разговор на пустяки, но было поздно. Два мужичка с полотенцами через плечо — бригадир Никита Иваныч Баклажанов и тракторист Дмитрий Сечкин, старший брат жениха, подрулили к нему с бутылкой.

— Персонально, Вадим Степаныч,— налили они ему и чокнулись, пролив водку себе на пальцы.

— Персонально! — закричали по сторонам.— Перррсона-ально-о!!

Делать нечего, выпили. Лет пять тому вот так же, собрав всю Атяевку, Сечкины решили женить старшего сына Дмитрия. Гуляли, пели, плясали, хватились к ночи, а невесты-то нет: увел Клавдию от жениха этот самый бригадир Баклажанов. Да вон же, вон она сидит теперь в баклажановской спайке, и девочка Кателька, жгучей баклажановской породы, держит ее за коленки. Что ж, время прошло, простили атяевцы, а куда денешься? Но теперь, видать, вспомнили тот случай, а Вадим ничего про это не знал, до Восточной Сибири эхо не докатилось...

Первую стопку, сверх общезастольной, Вадим не почувствовал, лишь еще выразительнее сделался взгляд у невесты. Потом с коньяком к нему подъявился самый старый житель Атяевки — дед Спиридон. Сказал, что как самый старейший из всех желает выпить с самым почетным гостем всей свадьбы, который прилетел сюда на самолете аж из Восточной Сибири. После дедовой стопки Вадим понял, что всякие «стопы» для него больше не существуют. В нем рванулся этакый жеребчик и побежал, и бежит себе он, тот жеребчик, а по бокам две вот такие овчарки держат его за уши, уши оттягивают, лопухим, как осла, делают, не дают вильнуть в сторону, гонят только вперед. Справа и слева вольные травы, зеленя, сады в цвету, а между яблонями, под раки-тами, девушки — так и шлепают, так и стреляют глазами,

а овчарки, спасу нет, не дают никакого движения, тянут и тянут ему обвисшие уши. И вот на ходу он, глупый, стареет, дуреет и превращается в клячу, и на него, конягу, навешивают всякий хлам: сбрую, плуг и подводу с грузом — тяни; и только тогда, когда он уже не ощущает резвости в мыслях, а в мускулах избыточной силы, овчарки те отпускают уши, а он уже устал настолько, в ногах начинает подрагивать, лишь бы устоять, не свалиться, не лечь, не уснуть...

Сидит он и сквозь туман все-таки слышит, как деды рассуждают: хватит, дескать, поработали на Расеюматушку, скольких атяевцев перекачали то в Москву, то в степной Крым, на Урал, в Казахстан, в бывший, как его... Кенигсберг, а то даже в эту вот... Восточную Сибирь... ну и Западную, конечно... Обнажились так, что пупок скоро будет видать. Девок на сторону отправили, а у самих ребят женить не на ком. Перестарками братва шлындает, по кабакам пропадает... Этот к невесте чужой ще привязался. Кабы тут где-то — ладно, а то ведь эка куда и откуда, аж из Восточной Сибири...

— Из Восточной, из Восточной, — слыша все это, как сквозь туман, шепчет Вадим, улыбаясь. — А сердцу не прикажешь! Никуда не денетесь, старые черти!..

И, маленько протрезвев от своих и от дедовых слов, хочет Вадим взяться опять за свое, приступить к длительной осаде. Но тут подлетают девчушки-хохотушки — невестины подружки с бутылкой наперевес, кажется, с вермутом:

— Персональную, Вадим Степаныч... Вадим Степаныч, персональную-у-у-ю-ю-ю...

— Вино? — тычет он пальцем в бутылку.

— Сла-а-а-бенькое, — смеются они ему уже откровенно, в глаза.

— Ерш, ерш, а я не слабеж... Подите сюда, ягодки, я вас поцелу-у-ю...

Взвизгнув, девчата пырсают к себе под ракету. Вадим за ними туда, под развесистую, от глаз подальше, в укромное местечко...

Молодой сильный голос просек все застолье:

Меж высоких хлебов затерялся...

Сама невеста и подружки ее отдались песне, и все забыли про Вадима. А он сидел, привалясь спиной к шершавой ракете, неотрывно смотрел в лицо Тани — оно белело, кружилось перед ним, как и все здесь: этот

стол, ракета. вся деревня, все люди. И вдруг что-то остро кольнуло его: совсем ведь отвык ходить просто так по земле, по траве; этот гусятничек — густую, лесистую травку — не видал с неведомо каких пор, с тех самых, как ушагал учиться в металлургический техникум...

Он подошел совсем близко к невесте, увидел, как губы ее желанны, глаза — зеленя, обхватил ручищами всю ее, тонкостволую, впился в Танины губы — они пахли молоком, и никак не мог оторваться...

— Но-но! — ударила по руке его одна из подружек, а другая подлетела тут же, поклонилась ему, вызывая в круг, где плясали уже под гармонь.

— Я на тебе женюсь, — сказал он невесте и топнул ногой да притопнул. — Все равно женюсь!.. Уведу отсюда к себе туда... в эту, в Сибирь... Восточную...

Как в тумане, мелькнули перед Вадимом глаза под фатой. Словно ватные, ноги сами вывели его в круг, он качнулся, упал в чьи-то руки, они его оттолкнули, поставили, он напрягся, вскинул руки и вдруг — сам для себя неожиданно, видя перед собой лишь насмешливые зеленые глаза, вскочил на край стола: знай наших! — давай дробить «Русского».

Ввалились во двор ребята — жених со своими дружками-атяевцами, городскими и деревенскими. Пришли оживленные, сдруженные, с рукавами, закатанными выше локтя, кое-где испачканными солидолом, машинным маслом. Оказывается, пока тут пилось-елось, пелось-плясались, они в мастерские смотались, полкомбайна отремонтировали, что Митька Сечкин загнал, сюда на нем едучи.

— Ну свадьба! Ну кордебалет! — колотил кулаком по коленке восхищенный отец жениха.

— А это ш-шшо? — остановились пришедшие перед Вадимом.

— Я, ребят, приехал... аж из Восточной Сибири... — едва выговаривалось Вадиму.

— Ну и что?!

Дружки Василия, жениха, взяли Вадима под крылышки и повели в сад. Он вяло повиновался им, голова валилась то на одно плечо, то на другое, и, чтобы не вывихнуло шею, ее кто-то отдельно поддерживал. За сараем на травке-гусятничке расстелили одеяло. Едва положили Вадима, как он снова вскочил, вытаращил

на троюродного своего, Селезнева Витьку, глаза.

— Все равно... будет моя, — четко выговорил он.

— Кто она? — спросил его Витька. — Восточная Сибирь?

— Таня... Заберу с собой на самолете.

— Да? Куда?

— Ты дурак, — сказал Витьке Вадим. — Дай посплю и сделаю ...по-кавказски...

— Ну что — за успех? — подмигнули ребята, и тут же из бутылки опять забулькало ему в кружку.

И Вадим глотал, все глотал из нее, пока глаза не закрылись.

— Вот кто дурак, — сказал Витька спокойно и пошел вместе с дружками ко всем остальным.

Все ушли, а двое остались. Закурили, стояли.

— А ведь проснется, как пить дать, через пару часов и опять за свое, — сказал один из них.

— Не проснусь, — произнес Вадим, засыпая. — Я люблю ее... и она меня... наш верх будет... я на прииске работаю, у меня на нее денег хватит...

И откинулся, захрапел.

— Вот что, — засмеялся второй из них и сказал своему приятелю: — Дуй-ка за своим «ижаком», а я домой за деньгами. Мы ему цирк устроим.

Вот и районный аэропорт. Через своего атяевского ребята купили билет легко, правда, в кассе случилась небольшая заминка.

— Куда-куда, Восточная Сибирь? — переспросила кассирша. — Нет такого аэропорта. Есть Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ. Вам куда?

— Один, и куда подальше, — подмигнули кассирше ребята.

Кассирша посмотрела странно на них и выписала билет до Читы. Тот же самый атяевский помог воткнуть Вадима в рейсовый самолет.

— Куда меня? — вяло спрашивал их Вадим.

— Как куда, в Восточную Сибирь, — говорили ему ребята. — До твоего золотого прииска напрямиком.

— Ах, в Восточную... ах, в Сибирь,.. — улыбался он, снова впадая в дрему. — Тогда все норррмалино.

— Ну вот и лады, — положили они ему на колени кулек с атяевскими огурцами — не зря ездил на свадьбу, и вышли из салона.

— Долетит до области и через пару часов очухает-

ся, — сказал один паренёк другому. — А захочет — пусть летит по билету домой.

Вернулись они в Атяевку к вечеру. А на свадьбе — переполох: брательник Селезнева Витьки пропал — Вадим! Положили на травку за погребом передохнуть, хватились — нет его, как в прорубь ухнул.

— Может, он и в самом деле.. того... в речку юркнул, — подали мысль старики.

Все тут же бросились к речке Куликоржавке, понаташили на берег под Сечкиными столько бредней, бреденьков, «пауков». Всей свадьбой торчали на берегу, наблюдали, как самые рьяные, пройдя кугу, уже поси-нели, как цуцики, все в ряске, в тине, а все еще тыкали баграми по мелководью.

И тут «ижак» остановился на плотине, у самого спуска. Приехавшие и сказали, чтобы не беспокоились. В общем, где были и что совершили... с этим, «золотоискателем»... И дружный, яростный смех потряс весь сечкинский берег.

И опять загудела свадьба. С новой силой ударило: «Горько! Горько!» Рев послышался с неба, все подняли головы: не так уж и высоко над Атяевкой пролетал самолет.

— На почту надо бежать, — засмеялся кто-то. — Получать телеграммку. Отбил, небось, землячок, пролетая над родным селом...

Вот и ушла Троица — самый летний из летних праздников, когда наши предки — вятичи, жившие по берегам Оки, славили солнце и воду, деревья и травы: шалфей, мяту, козлобородник, овсяницу, когда вокруг так зелено, так родимо и хорошо, что само собой тянет на подвиги.

А Василий с Танюшей, ничего себе, слаба богу, живут. Но за этот уже почти месяц Таня так ни разу и не улыбнулась ему. А однажды целый день пролежала головой на столе и проплакала. А потом и вовсе убежала в отцовский дом, упала в высокие пуховые подушки, никого к себе не подпускала.

— Ничего-ничего, — утешали ее родители. — Стерпится-слюбится, перемелется — мука будет.





Он отвернулся к рябине, поднял с белого снега пару огненных шариков, надкусил — горько-сладкие. Стал катать по ладони, по всем своим линиям жизни сразу. Сумерки припали к синему снегу, протянулись, неясные тени только что вышли из этой двери, а дверь уже потерялась, фонарь раскачивался на тамбурочке конторы, красил в желтое снег.

— Я знаю, вас зовут Ася, — сказал он чужим голосом и почувствовал, как дрожит левое веко.

— Ася, — она смотрела сбоку, пожалуй, не без интереса.

Он подумал о биотоках, каких-то дурацких флюидах. Нет, она была не из тех, что сидели у него в отделе и строили ему глазки.

— Мне нужно за хлебом, — улыбнулась Ася и покачала плечами. — Это моя обязанность.

— А у меня сегодня день рождения, — выпалил вдруг Арсений и сжался: как пошло, нехорошо. — А я вот здесь... в Муравейске.

Борения отразились на лице Аси: приглашать или не приглашать? Зачем и к чему? Нужно ли открывать свою жизнь случайному человеку?

— Ну хорошо, — решила она. — Пойдемте ко мне, познакомлю... с хозяйкой.

Еще вчера все в Муравейске казалось Арсению безнадежно унылым. «Как хоть тут живут? — думал он, лежа в тесном номерочке гостиницы. — После работы — домой: к пороссятам, телевизорам, жешам... И так месяцы, годы, всю жизнь».

Сейчас сумерки были серебристыми, мягкими. Мягко серебрились и снега, старые сады в отдалении, деревянные домики со ставнями и казенные двухэтажные зданьца. Асины сапожки оставляли острые точки, образуя длинную легкую щель. Снег взялся сильнее, размашистее, лепил уже без стеснения мощными плоскими хлопьями. Как в детстве, Арсений поднял лицо вверх, открыл рот, и снежинки хлопались на глаза, щеки, рес-

ницы, падали в рот, таяли и текли по губам... У него длинная линия жизни... Интересно, счастливая ли?

— А вот и я, — Ася протянула хлеб Арсению, засмеялась грудным, воркующим смехом. Они пошли, стараясь попасть в ногу, но Арсений сбивался сам и сбивал Асю.

— Я вырос в таком же вот городке, — молодея, размахивая хлебом, сказал Арсений. — И с первого до последнего класса мечтал, как откроют в окрестностях золото... железную руду... нефть... Под самым городом. Под такими вот домиками. Представляете, плещется?.. Жирная, черная нефть. И тогда начнут бурить откуда-то сбоку, из слободки... Наклонное бурение... Как будто это такая великая ценность — домики.

— Да, великая ценность, — остановилась вдруг Ася, потом пошла, стараясь, чтоб не попасть с ним в ногу.

— Да, да, ценность, — согласился поспешно Арсений.

Серебристыми, мягкими были ее серое буклированное пальто, серый пуховый платок. Серебристыми, мягкими были и брови, ресницы. Серебристым представился и жактовский дом, в котором она жила.

В коридор выходило десятка полтора дверей. Арсений тут же вообразил, как из каждой разом высовываются физиономии и провожают их любопытными взглядами. Ася дернула левую дверь, и тотчас же в нос ударило устоявшейся смесью из керосина, капусты, уксуса, старого дерева — тлена. Они прошли мимо ванночки на стене, мимо керосинки на стульчике.

Асина комната была пустовата и мала, как клетка для канарейки. Стены сыроваты, без излишеств постель; узкое, как выстрел из пистолета, зеркальце в узком черном багете. На стене — ангелочки, из тех, что еще встречаются у слепых на барахолке. Тут же на полочке — книги, хорошие книги, великолепные: Чехов, Хемингуэй, Бунин...

— Это тети Катина, — кивнула Ася на стенку и вышла. Вернулась она минут через десять. На ней были ярких, канареечных красок блузка и юбка, махонький рубинчик в глубине тугих белокурых волос. «А духи перед зеркальцем простенькие, дешевые», — отметил Арсений, и ему стало легче.

— Тетю Катю пригласите, — шепнула Ася, увидев на столе темную бутылку портвейна.

Выпили по рюмке за нескончанье века его, Арсения, похвалили вино, чтобы что-то сказать.

Серебристо было за окнами. Не луна ли выбралась из-за туч? Арсений провел ладонью по голове, взял с полки томик Хемингуэя. «Старик и море». Баллада о жизни и борении за нее, о любви к жизни. У Арсения даже захолодало под лопаткой при воспоминании, как акула едва не прошлась зубами-лезвиями по животу старика. Вот борьба! Пока наплаву, пока не вся еще вытекла кровь. Арсений поднял голову, отыскал Асю глазами, подумал, как длинны впереди, как многотрудны дороги...

Придя в себя, Арсений посмотрел на старуху Катю, нашел ее вполне здоровой, в меру живой. Была молодость — нет ее, нет былой красоты, а она, видать, недурна была прежде, эта старуха. Теперь кожа на шее одрябла, висит, суховата, пергаментна, руки исполосованы, вероятно, углем, которым она топит печь, — у старухи свое море, своя борьба...

Разговор коснулся забытых народных празднеств и народных обрядов. Арсений оживился, куда делась драма: то была его тема, его интерес. И все, что читал он и помнил, выкатилось из него так округло, одушевленно, что хозяйка, видно, не ожидавшая такого, присмирела, сидела и слушала. Асенька грела глазами Арсения. А тот говорил о церкви, о вере, которая в людях давно уж не та.

— А зря, зря, — обронила, раскачиваясь, старуха. — Верить в богово перестали. А верую жизнь двигалась.

— Да как это зря! — возразил ей Арсений. — Все-му свой момент. Сколько же можно слепо верить во что-то?

Вилка звякнула о пол, старуха наклонилась, чтоб поднять ее, вынырнув из-за выката, что-то повисло, качалось на шнурочке. Должно быть, крестик, какой-нибудь мученик, как у всех христиан. Что же еще? Держит на груди, в теплышке, а спроси, за что превзошел в мученики, каково его дело, за какую святость стоял — небось, и не знает. Знает одно: что мучился, что жизнь его насильственно кончилась, а это не похристиански, не по-человечески.

На шпурке у старухи висел медальон. Простой, обыкновенный. А что в нем? Мадонна с младенцем? Ну, конечно! Его она — Леонардо да Винчи.

— И давно ее носите, эту... великомученицу? — овладел собою Арсений.

— Носим, — поджала старуха сразу ставшие тонкими губы и взглянула на Асю. Та покраснела и вышла в переднюю. — Это вот,.. — старуха проводила взглядом племянницу, — если ребеночек у кого без отца родился, за мучения матери и надо молиться.

— А что, ходит сюда кто-нибудь? — насторожился Арсений.

— Ходят... всякие, — остановила его Катерина Ивановна. — Я полы не могу мыть — астма у меня. Ася моет. А тут чистый четверг, а она задержись. Я сняла с себя все, чтобы легче было, крестик с шеи на кофту, на стул. Заявилась Асенька и давай меня ругать: почему схватилась, не подождала? Хвать-мать тряпкой, полы в один миг, грязную воду из таза — на улицу. Ловкая она у меня... Стала я одеваться-то, а крестика нет. Я — туда, я — сюда: сгинул! Все вверх дном подняла. Ночь не спала. Утром точно стукнуло меня: дай, думаю, погляжу на помойке. Побежала: шнурочек красный горит, а крестика нет. Я в слезы: крестик-то у меня Киевской лавры. С тех пор это вот и ношу. Ишь, она тут какая жалкая! Одна, стало быть, без мужа, с рабеночком. Уж гляжу, гляжу на портрет: такая чистая, такая лучезарная. Как моя Асенька. Тоже, видать, из лавры, да из другой — из Загорской.

— Нет, Катерина Ивановна, — улыбнулся Арсений и перевел взгляд на вошедшую Асю, — это совсем не божественное. Самое что ни есть человеческое... Было такое интересное время — Ренессанс, Возрождение. Возрождали человека из пепла...

— Господи, — перекрестилась старуха, — да на крови ли вера?

— На крови, — кивнул ей Арсений. — Любая вера, когда возвышается, сама терпит, а когда возвысилась... Так вот умные люди и сказали: верить надо в одно — в Че-ло-ве-ка! И начали воспевать его — в книгах, живописи, музыке. И был среди таких Леонардо да Винчи. Он хотел, чтобы люди стали людьми. Всей своей жизнью он утверждал: нет ничего выше на земле Человека!

— А кем же он был, батюшка, старец тот? — обмерла, трепетала старушка. — Ну, чем он хлеб-то насущный себе добывал?

— Он был, мать, великим художником, инженером, механиком, писателем, архитектором, врачом, конструктором, математиком. Но главное — Человеком! Обладал той силой духа, которую, к сожалению, не часто встретишь теперь. Написав картину, Леонардо выставлял ее людям, и они падали ниц перед нею и верили в Леонардо, как в божество..

— Значит, снова Бог? — пожала Ася плечами.

— Слова Бог, — кивнул Арсений и почувствовал, как под Асиным взглядом его поднимает ввысь, в самое небо. — За века люди насажали-наставили столько идолов, что человечество от них патерпелось, настрадалось. Снова Бог, Асенька, но Бог красоты человеческой... На картины да Винчи шли, как на моление. Шли паломники — пилигримы, калеки, шли душой убогис, но прозревшие, шли коснуться своими пороками Красоты. Так великий мастер исправлял то, что делала жизнь с человеческим родом...

Старуха сидела, уперев в подбородок короткие пальцы, и вся ее жизнь проходила через нее: войны и голодовки, детишки — пустые рты, невподым, лошажья работа. Ей некогда было и подумать о душе своей, о себе, о жизни. Она и не знала, что есть у нее душа. Думала, все давно перегорело в груди, а она еще вот живет, обмирает под сердцем, душа-то. Как тревожит словами этот... Арсений. Как он, милый, про этого... про художника, про всю жизнь ее вдовью...

Старуха утерла щеку жесткой ладонью, а слезы все бежали, бежали, и она их уже не утирала... Господи, были и есть на свете хорошие люди. Не скотинка, не тварь животная — люди... Екатерина Ивановна встала, уперлась взглядом в угол, словно в святых, смотрела мягко то на Арсения, то на Асю.

— На хорошего человека молиться надо, — твердо выговорила старуха и, засунув медальон поглубже, в теплышко, вышла в переднюю.

Ася стояла перед Арсением, и все вокруг было опять серебристо от этой ее близости, от только что сказанных слов. Он даже шурился, глядя на Асю, — так она была ослепительна.

— А ты умница, — сказал он ей впервые на «ты».

Все было просто и сложно. Просто — взять ее за плечи, притянуть к себе, поцеловать. Сложно — в городе у него была совсем другая, напряженная жизнь. Но

чем черт не шутит: позовет его Ася, и он ринется к ней, очертя голову, вернется к тому, что было задумано в юности. Главное, чтобы Ася всегда верила бы в человека, как в Бога. Так ведь важно верить, хотя бы в одного человека!

Они брели по спящим серебристым улочкам. Арсений протянул руку к рябине, нащупал гроздь, полную огненных шариков, покатал на ладони, где были обозначены все линии жизни, взял шарик в рот и, ощутив сладковатую горечь, подумал устало, что серебристо все от луны. На солнце было бы все золотым.

1975 г.





И одному он дал пять талантов,
другому два, иному один,
каждому по его силе.

Из Книги времен

Он знал, что нынешним летом не поедет на юг; осточертели все эти модные пляжи, резиновые тапочки, деревянные топчаны, в меру или сверх меры флиртующие, молодящиеся особы. Нет, он, по убеждению холостяк, по должности инспектор облоно из Воронцовска, точно знал, что на сей раз отдыхать направится в деревню. Но для этого надо было прозондировать почву.

От райцентра Колпачки до села Красавка, где жила теперь Лида, оказалось двадцать верст с гаком.

— Что вы гаком считаете? — спросил он у местного старичка.

— А то и считаем, как да еще так, два разу сразу, — отвечивал старичок-боровичок.

— Вдвое больше, что ли? — допытывался Куревин.

— Прошагаешь — увидишь.

На автобус надежды не было. Красавский большак пересекали болота, и дорога налаживалась лишь к концу мая. «Ну и занесло меня к чертям на кулички», — примерялся Куревин к машинам возле районной столовки. И вдруг его осенило: а роно на что? Зачем тогда вверенные нам низовые учреждения, для которых ты какое-никакое, а областное начальство. «Хорошо, что-нибудь придумаем», — сказал ему заведующий роно. По его словам, Красавка была воистину прорвой: сколько туда ни посылай молодых специалистов — бесполезно, через год убегают, уезжают любым способом: замуж ли выйдут, на завод ли устроятся, достанут ли медицинскую справку или справку о престарелых родителях. И только вот Лидия Алексеевна Семагина там уже третий год...

Перед самой Красавкой «козел» не смог одолеть не то котловины, заполненной водой, не то болотного окна.

Куревин отпустил шофера и тут же испачкал тщательно отутюженные брюки, настроение от этого снизилось, и все же предчувствие встречи убыстряло, уширяло шаги. Перед глазами стояла она, Лида... Этой весной она приезжала в Воронцовск на каникулы, и они провели в его холостяцкой квартире неделю. Вспоминали студенческие годы, всех своих, разбросанных по стране. «Я буду любить тебя всю жизнь», — говорила она с отчаянием. И когда потом прислала ему письмо из Красавки — сумбурное, сплошь из многоточий и восклицательных знаков, он долго не решался ни на что, и вот теперь едет сам. Как она встретит его, как положит правую руку на плечо, заглянет в глаза; серебристые ландыши, ее любимые ландыши...

Красавка оказалась не маленькой, порядочно разбросанной: дворы, клуб, правление, и все это на буграх, в зелени, едва крыши торчат. Куревин торопился: солнце уже садилось где-то внизу, за рекой.

— Можно вас на минуточку? — окликнул он женщину, она всла теленка, а тот упирался; занятая своим делом, женщина обернулась не сразу. «Можно вас на минуточку, — передразнил он сам себя. — А как называть ее в таком случае? Товарищ женщина? Гражданка? Дама? Сударыня? Давно заметил, женщин у нас зовут как угодно. В трамвае: «Эй, молодая, красивая...»

Все это пронеслось в голове Куревина, пока не перебились ехидным голоском:

— А вам кого надо?

— Мне Лидию Алексеевну Семагину, учительницу английского.

— Ах, Лидию Алексеевну? — чуть ли не перевернулась к нему женщина, держа упирающегося теленка. — Ах, Лидию Алексеевну, — она явно выгадывала время, разглядывая его с головы до ног. — Ну да, Лидию Алексеевну... А кем вы ей будете? — перешла она неожиданно на оглядчивый шепот. — Братом двоюродным?

— Почему братом, тем более двоюродным?

— А теперь так-то, — махнула женщина и сразу сделалась откровенной. — Теперь из города едут к учителькам всякие... и все братья двоюродные...

— Да нет, не брат я ей.

— Ну тогда опоздал, — подтолкнула женщина теленка. И, уже отойдя на несколько шагов, обернулась,

махнула веревкой за сад: — Во-он, милоч, ее хатеночка. Новая, стало быть, квартера. Гоняла-гоняла по буграм, а вон там, стало быть, приземлилась, — протянула она сладеньким таким голоском.

«Чего это она?» — смотрел ей вслед Куревин, немало встревожась.

Он увидел хатенку и удивился, как она до сих пор еще не завалилась. Живы такие вот послевоенные хатенки, слепленные кое из чего: подслеповата, почти без фундамента, вросла в землю по самые окна. «Вдова живет какая-нибудь, без мужчины», — мелькнула догадка, и, весь изогнувшись, он шагнул за порог.

В крохотульке-передней на него глянула такая убогость, что он поневоле сделал полудвижение назад, но тут же услышал голос старой женщины, очевидно, хозяйки; она была в обрезанных по шиколотку валенках, в грязном переднике поверх мужского пиджака, в платке по самые брови, скрывавшем седые, давно нечесанные виски... Все это Куревин схватил в мгновение ока. Старая женщина приглашала пройти дальше, в чистую комнату. Куревин шагнул еще раз и зажмурился: так ударило электричеством. Разлепил веки — лучше бы электричества не было: беленые, шаром покати стены, высокая, чистая, в полкомнатушки кровать в правом дальнем углу, слева — деревянный стол, за столом — двое. Куревин поднял голову: прямо против него, глаза в глаза, сидела она, Лидия; зрачки ее расширились и остановились. Поверх ее рук, на середине стола, лежали чьи-то другие, — мужские, крупные руки. Он сидел спиной. Старая женщина, очевидно мамаша обладателя этих рук, совала Куревину табуретку и что-то говорила, смеялась, губы ее прыгали, щеки двигались-дергались, и все это словно в вате, беззвучно, глухоте...

Куревин вышагнул назад, Лидия бросилась следом. Она поймала его за руку уже в сенцах. А потом бежала сзади узкой дорожкой, а он все ускорял шаги, и она уже не попевала.

— Ты не ответил мне даже на телеграмму... Ты женился? Скажи, это правда?..

За спиной бухнули дверью, что-то кричали два голоса одновременно. Куревин свернул за куст и побежал.

Он очутился на заросшей черемухой круче. Где-то далеко-далеко, внизу, за рекой, плоско лежали четкие квадраты полей, чуть ближе, по самому берегу, тяну-

лись белые шиферные крыши. От села поднимались сюда, на кручу, всякие деревенские звуки: мычание коров и телят, прищелкивание бича, звон молочной струи о жестяной подойник. Белесая пыль, висящая по-над дорогой у берега, смешивалась с этими звуками, с сизоватым парением луга и, провисая, оседала на теплые, влажные травы; испаряясь на теплом, влага натекала туманом в низины, туман клубился, вздымался, дыбился, взбугряясь над речкой все выше и выше, подбираясь сюда, к самой круче, и, отрываясь на какое-то время от луга, превращался в свободно текущие облака, чтобы наверху вновь утяжелиться и пойти вниз, в долину, осесть в ней холодной росой, размытыми звуками, глухой предгрозовой тишиной. Вдруг откуда-то сбоку, из створа, от леска, потянул ветерок, в клубах тумана образовались провалы, в них глянуло солнце, и все смешалось: облака стали тучами, синее сделалось черным, сиреневое — кровавым. Но вот луч мигнул и убрался, а к прежнему все уже не вернулось — другая держалась стройность, гармония цвета и звуков, другая возникла вокруг красота.

...Село отдыхает от прошедшего трудового дня, остывает, стихает, и только сердце у Куревина все еще бьется, в такт качается круча, вот-вот из-под нее потечет тонкой струйкой песок. И мысли все умиротвореннее, глуше. Лишь остается обида на Лидию, на себя, на всю свою жизнь...

— Слава-а! — слышится где-то за липами женский голос — ее голос.

Куревин сидит, обхватив руками коленки. Душа, говорят, есть число, которое подвергается счету, учету, анализу. Чужая, может, и подвергается. Ему от жизни хотелось многого, он всегда думал, что семья — это обуза, и он себе этого не позволил. И вот уходит одна, уходит другая, и эта вот, Лидия, самая близкая, тоже ушла...

— Слава-а-а!! — это рядом, совсем рядом.

Он впивается ногтями в ладони и сидит, боясь колыхнуть головой чуткий лист над собой.

— Слава-а-а-а!!! — совсем-совсем близко, протяни только руку, только слово скажи.

А в ушах названивает, паук где-то в купе липы мучает свою жертву.

Тело начинает подрагивать, зябко. Как глупо все.

Не хватает еще простудиться, схватить радикулит, ангину. И тогда ко всем чертям летний отпуск... Еще школьником он играл роль Несчастливцева в «Лесе» Островского... Средний рабочий, честный труженик — это нормально, но актер средний — извините меня. Средний актер не чувствует к себе интереса зала, у него сил, темперамента нет, чтобы взорваться...

Куревин встал. Где-то поблизости, в заброшенном саду — он видел, он помнит, — должен быть брошенный дом. Да вот же он, вот! Горбатая, сумрачная махина. Что можно видеть при звездах? Ставни в доме забиты, крест-накрест доски, на двери два замка. Куревин вздрогнул: ветром качнуло висящую на петле дверь чердака. И тотчас же из чердачного провала ударили два зеленых огня. «Ко-от!» — обрадовался Куревин живому и позвал:

— Кыс-кыс-кыс.

Куревин хотел кинуть в него комышкой, но передумал. Ему подумалось о пиковом своем положении: зачем он в этой чужой деревне? Его начинало трясти, бил мелкий, длинный, нудный озноб. Там, на чердаке, должна быть солома. Закопаться бы, согнуться, как в детстве, калачиком, почувствовать свое дыхание, собственное тепло. Он попытался взобраться на чердак по двери, по бревенчатой стенке, но руки срывались, и он боялся лезть выше, чтобы не сломать себе шею.

Вспомнилось, что там, неподалеку от хатенки, где живет теперь Лидия, пусто глазела еще одна брошенная хатенка. Во всяком случае там будет хоть иллюзия того, что ты в помещении.

Он нашел в темноте эту пустую хатенку, с Лидиным жильем она была почти стенка в стенку.

Натыкаясь на кирпичи под ногами, Куревин ступил за порог — в нос ударило застарелой, прогорклой гарью. Были люди и нет, а ведь когда-то любили, растили детей, на что-то надеялись... Он провел ладонью по русской печи, по лежанке, по голым, холодным кирпичам — ладонь утонула в пыли: пыль забвения, мета веков...

Он лежал на полыни, на бурьяне каком-то, дыхание согревало живот, но спине было холодно. А рядом, через эту глухую стену, на высокой деревянной кровати, разметавшись, лежит сейчас Лидия, и рука ее в крупном его кулаке, а другая рука, возможно, вокруг его

шеи... Брр, собачья жизнь, с ума можно сойти от собачьего холода... Вот сейчас, в этот самый миг он кладет руку на плечи ей — знакома, привычна, атласна кожа...

Куревин вскочил с печи и стал ходить по битым кирпичам, разломанным стульям, разбитым горшкам. Глупо склеивать битые горшки, чинить старые стулья, на которых сидели на свадьбах, проводах в армию, поминках...

Куревин шел к автобусу. Было то дрожкое, сильное возбуждение, которое возникает сразу после бессонницы и сменяется тяжестью в теле, дурным настроением. «Какая голая деревня! Не могут ракирку пихнуть в землю», — подумал Куревин, вспоминая совсем другое — высокую кровать в правом дальнем углу хатенки.

* * *

В начале зимы ему стало известно, что Лидочка родила. Назвала сына его именем. И из Красавки от мужа уехала...

Он ходит из угла в угол комнаты. Странно, очень странно: где-то живет человек, которого не было. Живет, растет, носит, надо же, его имя...

Он поставил диск с записью оркестра Поля Мориа. Мягкая, обволакивающая музыка качала душу, было так хорошо, хоть плачь, и было так плохо. Не каждому даны крылья, чтобы летать. В наше время это так сложно — просто любить...

Он усилил звук телевизора — та же мелодия Поля Мориа провожала мир человеческий спать. Итак, день окончен, новый день с нами. Синичка постучала в окно, — он отдернул занавеску и увидел ее — Лиду. У щеки ее сверток — махонький человечек, очень странно носящий его бесконечное имя.

Осень 1968 г.





Мне позвонили по телефону и сообщили, что сегодня утром, а именно, в день отречения Государя Императора Николая Второго в семнадцатом беспокойном году, скончался давний приятель мой — красивый парень, добрейшей души человек — декан нашего местного университета. Долго не мог я войти в смысл говоримого, а когда, наконец, дошло, я заплакал: да что же это такое! Один за одним... Ну прямо мор какой-то на нашего брата, русского человека...

Государь Николай Александрович составил отречение юридически незаконно, возможно, умышленно, отрекаясь «за себя и за сына» своего — царевича Алексея. И фактически престол принадлежит Романовым по сей день, а мы, выходит, все эти годы жили, как и живем, в государстве не с республиканской формой правления, а в монархии. И потому мы в России не граждане, а подданные Его Величества... Рассуждал я так по инерции, а между тем не сходили с глаз слезы по человеку, с которым когда-то мы работали вместе в редакции и который, я знал, предпочитал во всем республиканскую форму правления. И если, под влиянием обстоятельств, не мог сделать человеку хорошего, то не позволял себе, под влиянием тех же обстоятельств, делать ему и дурное... Он был Личностью, обладал бесконечным терпением и в то же время оставался самим собой... Значит, еще одним Человеком на земле стало меньше...

«Боже мой! — катили мысли по проторенной дорожке. — Император отрекся от престола в пользу своего брата — великого князя Михаила Александровича, который, в свою очередь, отрекся на другой же день, предоставив Учредительному собранию право выбирать в России форму правления. А уже Учредительное собрание разогнал в Таврическом дворце матрос Железняк известным своим: «Караул устал!..» Какая зловещая цепь. И где-то в конце цепи теперь тень того человека с его просто человеческим мышлением, разве этого ма-

ло? И особенно сейчас в России, когда «все смешалось в доме Облонских...»

«Отчего он умер?» — думал я о приятеле, ставшем мне в эти часы, можно сказать, даже Другом. Воображение до того разыгралось, представляя Его мне сразу же после свершившегося... Вот Его положили на стол. И рука обезжизненно свешена, свисают и обе ноги — он был крупный, стола не хватило. «Смотрите, — говорит кто-то, — он же в разных носках». И на эти тепловатые, еще мягкие ноги надевают носки новые, в пару... А Император лежал в уральской земле, в сырых, нижних ее горизонтах — в разных, может быть, сапогах. И явление Державной Божьей Матери вроде было в тот день в селе Коломенском под Москвой, где ее чудотворный образ находится в Казанской церкви и по сей день. А в Москве ежедневно в семнадцать часов, а по воскресеньям в четырнадцать часов, у часовни, во имя убиенного, на месте Храма Христа Спасителя, читается «Акафист»...

Но Он же, Друг мой, не сражен пулей, горло ему не стянули пеньковой петлей, — чем же он «убиен»?.. В гробу лежащего я не узнал при прощании. Венчик прикрывал ввалившийся лоб, а щека как бы не существовала, — а прежде ведь был здоровяк, красавец, с румянцем во всю щеку... Говорили что-то о странной болезни: нехватке в костях группы С — что-то вроде рака костей, урагане, ссекающем нас в Чернобыльской зоне... Говорили о Его сыне; дети, дети — они рождаются нами, чтобы смести скорей нас, отцов; говорили о черной Африке и о СПИДе, вышедшем едва ли не из египетских пирамид; говорили о пресловутом спирте из-за рубежа — некоем «рояле», говорили... Но после Государя Императора, почившего в бозе вместе с семьей, я не мог уже не думать ни о чем, кроме Смерти. Какие же силы достали Его, моего друга-приятеля?..

Когда мы говорим о гибели Человека (безразлично, кто он — сам Государь Император или последний пьянчужка его Империи), мысли наши, как санки, едут в одном направлении. Но один момент из жизни Декана заставляет меня трепетать...

Был вечер. Дотаивал последний мартовский снег. Лед на Оке ложился на дно — не к добру, к долгим холодам. А тут еще черная кошка перебежала дорогу. Откровенно сказать, не люблю я что-то, чтобы черные

кошки из сырых, темных подвалов дорогу мне перебежали. А также и женщины переходили с пустыми ведрами путь...

За вечерним чаем жена моя вспомнила, как, еще студенткой будучи, она бывала в одних компаниях с ним, будущим Деканом. Его любила одна красивая девушка, и Он любил ее — рослый, русский, красивый. И все любовались ими и ждали часа их свадьбы. И вдруг она заболевает туберкулезом, и он оставляет ее...

— Он совестлив был, — сделала жена моя вывод. — И Он казнил себя всю свою жизнь. Он себя искалчил.

«Неужто пронес свой Крест и унес с собою в могилу? — подумалось мне поневоле. — Какая романтическая история. И если это так... если так... если так... то что тогда?... что тогда?..»

А через день во все той же реанимации скончался еще один декан того же университета. Поглощенные своим вниманием к первому случаю, все как-то забыли об этом человеке, рассчитывая, что этот-то уж, про кого сами врачи говорили, что у него положение еще ничего, «фифти-фифти», да ведь помоложе, что этот-то как-нибудь выкарабкается. А не выкарабкался. И та же странность. И смерть всего в двух днях разницы, всего-то в двух днях!

И с новой силой вспыхнули пересуды. Прокручивались все те же симптомы, диагнозы, предположения. От Африки до Чернобыля. От ненависти до любви... Цепь логических построений вела меня уже не по банальной, накатанной прежде дорожке, по которой, как на санках, мысли катились, как и тогда, в одну только сторону — в направлении Зла. Вторая Смерть своей аналогией заставила меня еще более усомниться во всеилии Добра. Моя интуиция стала копать еще далее, в самые недра, мысли, вспыхнув, погасли бы, если бы не были подкреплены этим странным сходством, своим повторением...

«Ему не хватило Любви! — обожгло меня, выдав конечный результат. И если Первый Декан сам покинул свою любовь, то этого, Второго Декана, она, его Любовь, сама, очевидно, покинула, — это точно!»

И вот мы встретились со своим однокашником. Некогда мы учились с ним вместе в одном Городе, одном институте, и ректором у нас был отец Второго Декана; и я уже знал, о чем спросить однокашника.

— Он собирался жениться, а она от него ушла, это так?

— Да, — посмотрел удивленно на меня однокашник. — А откуда ты знаешь?

— И он тогда аж почернел...

— Ну да.

— И вспоминал об этом?

— Да всю дорогу... однажды в кафе он был со мной особенно откровенен...

— Ну вот! — преодолел я внутреннее напряжение от этого своего однокашника, чтобы прекратить впоследствии всякие лишние разговоры. — Я думаю, мне лично известна причина смерти... диагноз того и другого... разгадка ясна...

— И какая же? — заинтересовался, прямо-таки из себя выходил мой однокашник. — Вино — женщины — деньги?

— Не меряй все по себе, — сказал я ему сожалеючи.

— А что же?

— Им обоим не хватило Любви!

— Что ты говоришь! — вспыхнул мой однокашник.

— Нам всем сейчас не хватает энергии! — настаивал я, вглядываясь в точки его глаз. — Биоэнергия — главный дефицит нашего времени! Я полагаю, диагноз таков: расход превысил поступление, разрушена биоэнергетика организма... И я искал ее, эту утечку. Если вино — нет, деньги — нет, служебное соответствие — тоже нет, то что же тогда?.. Да, но я все же нашел ее — причину всего, это — Любовь! Затаенная, неудовлетворенная с молодости — она жаждала случая, чтобы себя проявить... Две модификации одного явления: она оставлена им, он оставил ее... Но суть-то одна: в биоэнергетике организма. А всему причиной — Любовь!

— И как ты дошел до того? — удивился мой однокашник. — Откуда в тебе все это, из книжек?

— Из жизни, — засмеялся я грустным, но впервые, может, за все это время искренним смехом. — Надо просто любить.

...Это только в книжках описывают красивые чувства, а в жизни издревле, с древнейших племен влюбленных оберегали, Любовь берегли. Известно, от большого чувства рождаются красивые, сильные дети. От большой

Любви — красивый, сильный народ... И все это ведомо было последнему нашему царю. Больно много знал, чего даже ему, Государю, нельзя было знать... Вот однажды что выудил я из «Акафиста», какой читают по будням и по воскресеньям в Москве, на месте бывшего Храма Христа Спасителя, который все-таки строят.

Осень 1994 г.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

АНЕЧКИНО
ПИСЬМО





Мать ее была «королевой бензоколонки» и посему с высокой колокольни взирала на отца ее — своего мужа, на это ничтожество, приносящее с завода в виде зарплаты совершенно ничтожную, по ее мнению, сумму. И, когда он опился «зеленой» и почил в бозе, она перенесла свое отношение к мужу на дочку — единственное у нее, четырехлетнее, совершенно прелестное дитя — чудо природы, в котором она с растущим отвращением отмечала черты своего без времени ушедшего мужа.

Она считала себя красивой, а во дворе Анечке сказали, что она не красавица, а «мегера», с отвратным характером.

А Анечка была вся в отца — мягкой, отзывчивой, доброй. Теперь она сама кормила своего любимого попугайчика, подаренного папой, и все чаще задумывалась, почему это спать к ним на ночь является не папа, а этот чужой молчаливый дядечка. От мамы всегда веяло тонким, тлеющим духом бензина, а от дядечки так и перло запахом кожи — от его блестящей, негнущейся новенькой куртки. А от обоих — клопами; щелкнув по носу ее, дядечка сказал: «Конь-я-ком, дура!»

Однажды Анечка подслушала их разговор о себе и ужаснулась.

— Пугается тут у нас под ногами, — сказал он строго.

— А куда ж я ее дену-то, — вздохнула ее мама.

— Не знаю-не знаю! — сказал он и, хлопнув дверь, ушел.

После этого Анечка стала бояться всего. А особенно, что не хватит еды не только ей, но и ее попугайчику. Перья у попугайчика перестали быть зелеными, синими, красными, сделались какими-то серыми, грязными. Как и единственное ее платьишко, как и сама она вся, серея лицом.

— Ты заболела? — подходили тетеньки к ней во дворе.

— Не-а, — бодро мотнув головой, улыбалась она своей солнечной, детской улыбкой.

— На отца похожа, счастливая, — говорили одни.

— Нет, почему же, — возражали другие. — И на мать. Вон как черты обострились.

К вечеру мама пришла одна, без дядечки, и с заплаканными глазами. Ходила по комнате из угла в угол, бормотала себе под нос: «Мне надо устраивать жизнь... я еще молодая... красивая...»

«Мамочка! — хотелось подбежать к ней Анечке и уткнуться в коленки ей. — Ма-а-мочка!»

Но тут пришел мамин дядечка, от него уже тоже пахло бензином, и так глянул на Анечку, что она тоже заплакала.

— Собирайся! — сказала решительно мама.

— А где же мой папа? — смотрела она на них обоим широко раскрытыми глазами.

— В ямке твой папа, в ямке! — зло ответила мама.

И Анечка стала собираться покорно. Положила в сумочку только что умершего папиного попугайчика, молоток папин, папину книжку про станки, своих книжек у Анечки не было...

В это время по телевизору рассказывали, как в Америке из-за любовника мать убила двух своих малолетних детей, увезла на машине и убила, вся Америка в шоке. И Анечкина мама как впилась в телевизор, так и не могла оторваться...

— Ладно, — махнул, уходя, дядечка. — Вези куда хочешь.

И они с мамой поехали не на машине, а по железной дороге, в электричке.

Так Анечка оказалась в деревне, у старенькой-старенькой бабушки — маминой мамы.

Анечка живет теперь с бабушкой. Ходит в старенькой бабушкиной кофте, играет бабушкиными кастрюльками, спит на ветхоньком бабушкином тюфяке на печке. Стережет бабушкиных кур и овец. Говорит бабушкиными словами.

Вот она перед двором — бледненькая, личико в саже, дробненькая такая. Играет серыми щепочками, копает щепочкой ямку.

— Милая дочечка, — проходят мимо люди с пустыми ведрами — на колодец. — На кого ж ты похожа!!

— На бабушку, — отвечает с готовностью Анечка.

— А где же твоя мама? Где папа?

— Моя мама красивая и молодая, она в городе, — вздыхает Анечка и отворачивается, глядя на солнце. — Она там устраивает свою судьбу. А папа мой... в ямке...

— Счастливая! — жалея, гладят люди ее по светлой головке.

10 ноября 1994 г.





У Гречишкина окончательно разболталось здоровье, а тут еще навалилась бессонница. Едва дождавшись отпуска, с набором всяких аптекарских снадобий Дмитрий Сергеевич отправился к каким-то дальним жениным родичам в деревню, на молочко. К нему пристроили двенадцатилетнего сына Игоря, а с Игорем увязалась Олечка, десяти лет, соседская девочка. Гостей поселили в большой чистой комнате, в которой было прохладно и сумеречно, правда, попахивало сыростью: окно выходило на яблони, в сад.

Соседка обварила супом живот и лежала в постели, обложившись лопушистыми листьями копского щавеля, который, по ее разумению, «украдал жар». Она попросила Кленьшевых подменить ее, постеречь поселковое личное стадо. Бабушка Паша как раз цедила вечерешнее молоко и гадала, отпустят или не отпустят ее завтра с фермы, как в сенцы просунулась круглая загорелая рожца, в зеленке вся, — Митька, сестры двоюродной внук.

— А Игорь дома?

— Митька! — пришла к бабушке Паше догадка. — Ты бы завтра коров постерег. Постерегешь, Митька, вдвоем с нашим дедом?

— Коров-то? — запнулся Митька в разгоне мыслей, кивнул важно: — Ладно, постережем... Вон с вашим Игорем. Сами...

Вышел из комнаты Игорь. Стояли, шептались. Игорь тощ, вяловат, огуречный плетень в жаркий день. Митька ему по плечо, зато сбитень.

— Спознались уж? — заворчала, пролив молоко, бабушка Паша. — И когда успевают?

— Мы согласны, бабушк, постережем, — весело сказал Игорь.

Звонкий выхлоп кнута возвестил поселку о том, что рогатых кормилиц пора провожать на околицу, в стадо. Митька ловко заводил кнут и резко кидал на себя — получался сухой и короткий выстрел. У Игоря бре-

зентовый кнут, извиваясь, то захлестывал какой-либо куст, то грозил ожечь глаз или ноги.

— Ты гляди, это так, это просто... положи книжку наземь, — обнимал за плечи Игоря Митька и вел его руку рукой, сильно бросал назад на живот.

По улице, перемукиваясь, шествовали коровы — черно-рябые, бело-молочные, красные. За колхозным двором хозяйки сбрасывали поводья и уходили, коровы тут же утыкались в траву. А трава была загляденье: волглая, росная, пылью даже не пахло. Митька залюбовался: эх, по ней с утраца — по отмяклой — походить бы литовкой догляженной. Вчера с отцом вмиг смахнули ложок.

День выдался жаркий, ни единого облачка. К обеду и вовсе стало невоготу, молоко в бутылке расселось, не пресно, не кисло — бурда, а губы сохли, родника поблизости не было, да Митька привык, знал, что если начнешь пить, одуешься. А Игорь страдал. Митька все примечал: как небрежно тот стал держать под мышкой своего «Всадника без головы», как ленивее залучал с клеверов корову.

Стадо хоть и небольшое, какой-то десяток с телушками, да всего-то полоска под пастбищем: туда нельзя — хлеб, сюда — клевер. Упустил — нахватается клеверу, разнесет, сдохнет. Митька помнит, как лет пять назад на клеверище тучно лежали огромные туши, дед успел отходить лишь одну: отбил от бутылки горлышко, заткнул корове в подхвостье, легонько стравливал воздух...

Солнце полезло в зенит. Овода тучились над коровами и уже не докучали, а просто мучили, лезли настырно в ноздри, уши, глаза. Особо нахальничали яркие, с крапчатыми крыльями, мухи-«красавки», впивались в шерсть по зеленую шейку, и Митька знал, что после коровьи спины будут зудеть, бугриться, под буграми возникнут угры, и тогда шкура дрянь, как прострелена.

Бабушкина Зорька так и норовит зыкнуть, косит глазом, когда отвлечешься. Сандали у Игоря кожаные, с медными бляхами, долго по стерне не набегаешься. А у Митьки вечные, отцовские. Как пошла травка, так со стадом — хоть по паханому, хоть по кошеному. Пятку ножиком теперь не урежешь, подошва железная.

В обед коровы разом срываются в зык: хвост трубой

и куда глаза глядят, нет стаду удержу. Зорька устремляется к водопою, за ней все остальные.

День постепенно уходит. Солнце садится большое, воспаленное, шаром — день завтра снова выдастся жаркий, а ведь и завтра пасти — уже за свой двор, за себя.

— Не проспи гляди, — щелкнул Митька бичом и, не оглядываясь, с сумкой холщовой через плечо, уходил по дороге на старую кузню.

Вечером бабушка не знала, куда Игоря и усадить. Олечка тарашилась на него. Отец прятал улыбку в усах на все разговоры. Игорь был рад сейчас месту — выпить молока, хлопнуться на подушку, уснуть.

Его пробудил легкий толчок.

— Встаешь, Игорек? — услышал он голос бабушки Паши. — Вставай, милоч.

Олечка совалась ко всем и гундосила:

— И я с ними, и я.

Ноги у Игоря сладко гудели, ломило все тело. На глаза попалась отцова аптечка. Порылся в ней, выгреб таблеток целую горсть, сунул в карман.

Все шло, как и вчера. Только Олечка навязалась, шиньряла всюду, без конца тараторила, даже коровы слегка поднимали уши на нее, суматошную. В полдень овода опять озверели, и коровы начали зыкать. Игорь что-то шептал Митьке. Подойдя сзади, Олечка услышала лишь конец его слов:

— ...они у нас будут как вкопанные...

Митька вроде не соглашался с Игорем. Игорь стоял на своем. Наконец, любопытство взяло верх, и Митька взмахнул кнутом, двинул стадо к леску, к усохшему бочагу.

Коров поили из ржавой каски, валявшейся тут же: каждой, как цаце какой, подносили в отдельности. Содержимого Игоревых карманов не хватило всем, досталось лишь самым зыкливым.

Сидели теперь — посиживали в тенишке, дубнячке, поджидали хозяек к обеденной дойке.

— Вишь, пеньшек? Срезано чисто и землей замазано, — кивал Митька в сторону и сам зевал, едва разлипал вски. — Факт она, незаконная рубка.

— Где, где незаконная рубка? — подлипала Олечка.

— Лес у нас рубят зимой, — говорил врасяг Митька. — Зимой древесина крепче. Морозом осушена... А

хоть расскажу, в каком году дереву жилось хорошо, в каком плохо?

— Ну.

— По кругам... Гля, кукушка! У меня в голове стучит, когда слышу кукушку, — лег Митька затылком на землю. — Так, страшно чего-то. А вдруг оборвется? А жить еще хочется. Тебе хочется, а?

— Не знаю, — приподнялся Игорь на локти, — я не думал. А в книжках часто пишут о смерти.

— В нехороших, наверно, — вздохнул Митька. — Хорошие должны помогать людям жить... Дед мой целых три года валялся по госпиталиям. Нет, говорил, Митька, ничего гаже на свете, чем себя кем-то другим прикрывать. В жизни, говорил, как на фронте. А на фронте тоже разные были: с кубарями и без кубарей. Дело не в кубарях... Человек каждый в себе свое носит, хочет слово сказать... Говорил, когда помирал: «Помогай бабке с мамкой держать корову, от нее навоз, унавозишь землю худую — пойдут травы густые, другая поднимется жизнь...» Иду в школу, она от нас шесть километров, и голова пухнет, все думаю...

Солнце остановилось. Коровы прилегли, присмирели. Пришли бабы с подоюнками, растолкали коров, а те, чего еще не было, снова легли. Бабушкина Зорька дремала с целым гнездом оводов возле глаз.

— Пойдут травы густые, не остановишь, — держал Игорь книжку на нужной странице. — Куда там...

— А что это, Мить, у тебя на лице?

— Красивый какой, хоть на елку, — прыснула Олечка.

— Дуй отсюда, коза! — дернулся Митька к кнуту, Олечка мигом нырнула за дуб. — Да вогни-и-ца у меня, — протянул Митька. — Плюнул, говорят, на огонь. Может, и плюнул. Я такой. В школе по поведению еле-еле «уд» натянули... Мне и тестом прокислым «вогницу», и к бабке водили на первый вечерний огонь заговаривать. «Вогницу»-то, хоть, расскажу. Может, тоже на огонь когда плюнешь...

И Митька сжался весь, стал каким-то таинственным, зашептал, повернувшись лицом на восток:

«Звезда синийя, златоверхыйя, зорька ясная да вечерняя, трепет — первый вогонь на оконушке... вы кажите вдаль путь-дороженьку храбру воину свету Дмитрию, переймите вы на себя самих с уст клейменных

боль перебольчивую за слова его дерзновенные, за дела его в людях правые... Звезда синий, росы сизый, холоните вы душу-вогницу...»

Митька перевел дух, молчал. Отсвет дальнего огонька словно ходил по их лицам, по болячкам на Митькиных чуть припухлых губах.

— А что ж у тебя не прошло? — кивнул на болячки Игорь. — Еще бы попробовал.

— Самому нельзя, — перевалился на другой локоть Митька. — Слово силы такой не имеет... Надо, чтоб друг, например... Чтоб не боялся перенять на себя.

Молчали теперь уже оба.

— Митя, — сделала Олечка большие глаза и усмехнулась, — а ты еще песни такие красивые знаешь?

— Гэть, коза, — отмахнулся от нее Митька, как от оводов, и пошел поднимать коров: что-то нынче совсем залежались.

И ко «Всаднику без головы» Игорь уже не притронулся. И все ждал-дождался сумерек, первого огонька.

Пригнали стадо в поселок. Разобрали люди коров по дворам.

— Что-то совсем паша молочка отказала, — брякнула подойником бабушка Паша на кухне.— Загрустила, сонная какая-то, ай заболела? Ветенера надо бы... Не схватила чего? Игорь, не схватила чего наша Зорька?

Игорь отмалчивался.

Прибежала соседка — Костриха.

— Моя Моменталка и свеклу с солицей не ест, — замолотила Костриха. — И все вымя пустое.

— Скажу, что ты подсыпал им что-то и давал им из каски, — толкала Игоря Олечка. — Скажу.

— А мы тебя не возьмем на «вогницу», — ущипнул ее Игорь.

Вышел отец. Спросил бабушку растерянно:

— Не знаете, Пелагея Сергеевна, куда я седуксен заховал? Помню, клал в аптечку.

Игорь показал язык Олечке, глянул смело в глаза отцу:

— Я забрал седуксен. Хватит, папочка, седуксеном травиться. Ты же спишь сейчас хорошо. И дома не надо тебе нужны силы, у нас впереди столько дел.

Отец посмотрел на сына внимательно, очень внимательно. И ничего не сказал. Бабушка перевела взгляд

с одного на другого и только вздохнула: эх, жизнь, везде приходится людям откушивать...

На вечернюю зарю прямо с фермы, по пыльной дороге, на взгорок, уходила бабушка Паша. За ней крались две детские фигурки, третья — поменьше — шла, крадучись, следом за всеми. У одинокой грушинки двое остановились. Олечка подобралась ближе.

— Ты таблетки коровам больше не сыпь, — услышала она Митькин голос. — Толку-то пасти на таблетках. От смирных — видал? — как от козла молока. Пусть лучше зыкают... А «вогницу», малый, я сам наполовину придумал...

Вдруг они встрепенулись. Бабушка Паша шагнула вперед: далеко-далеко, за лесами-долами, за звонкими травами и быстрыми речками, в подвосточной стороне дрогнул всполохом краешек неба. Тени веялись по бабушкиному лицу. Слова ее Олечке показались знакомыми: прошлым летом бабушка клала ей под подушку наговорную траву, прогоняла дурной глаз. Олечка вспомнила это и усмехнулась. И все же слушать бабушку было жуть как хорошо: «Плакун, плакун! Плакал ты долго и много, а выплакал мало. Не катись твои слезы по чисту полю, не разносись твой вой по синю морю... Трудно в городе деревенским нашим, облегчи их участь. Помогни хорошему человеку Дмитрию Сергеичу в его добрых делах.. Будь мое слово крепко-накрепко, твердо. Век веком!»

Олечка подошла к ребятам, они ее не прогоняли. Смотрели все вместе, как где-то далеко-далеко под лесом замлел огонек.

— Хочешь, Митька, — положил Игорь руку товарищу на плечо, — «вогницу» на себя перейму, хочешь?

Звезда прочертила к огоньку на земле длинный огненный след.

Лето 1978 г.





Они познакомились через знакомых: русская, которую звали Люся — Людмила, и француженка, имя которой — Моник. Они встретились в Москве, в условленном месте — у памятника Пушкину и сразу узнали друг друга. С трепетом Моник собиралась сюда, в Россию, в чьих снегах замерзли войска непобедимого Наполеона, а по столице до сих пор бродят медведи.

Они встретились и сразу, с первого взгляда, друг другу понравились. Тут же, для завязывания международных отношений, Люся купила мороженого, и они ели его, это фруктовое мороженое — даже не эскимо, несмотря на жуткий арктический ветер, холодный, хоть и летний, пасмурный день, и — смеялись. Просто так, из ничего, из обоюдной симпатии.

— Нельзя победить тот народ, который и зимой ест мороженое, — сказала Моник по-французски.

— Вы приехали с Лазурного берега, — сказала Люся сначала по-русски, затем по-французски. — И, видите, стало тепло.

И дернула молнию свитера, сунула шляпку свою в целлофан.

Через знакомых Моник просила Люсю побыть гидом в русской столице, и Люся приехала к ней сюда из провинции, из Орла. Московским гидам Моник не вполне доверяла — дороги и коварны. Как деловой человек Моник сразу обговорила условия договора, на что Люся беспечно махнула рукой. И Моник приступила к исполнению своих туристских обязанностей.

— Скажите, а кто скульптор — автор этого памятника? — подняла она голову к Пушкину.

— Знаете, — сказала Люся, — такого ранга Пушкиных у нас два: в Москве и, э, в Санкт-Петербурге. И у каждого, представьте, свой автор: Апикушин и Опекушин. Как одно лицо, а какой где именно — выбирайте. Я, например, до сих пор еще путаю Латвию и Литву...

— Олля-ля-ля! — рассмеялась Моник. — Это мне

нравится. Это как Бретань и Британия, и обе во Франции.

— Я бы сюда добавила еще и Женевское озеро, — сказала Люся.

— Почему? — спросила Моник.

— Потому что мне оно тоже нравится.

— А как насчет Лазурного берега? — ревниво спросила Моник.

— О, я бы завоевала его, этот берег. Но боюсь за свои возможности.

— Ничего, — засмеялась Моник. — Наши с вами возможности... в смысле возраста... почти одинаковы. Вас можно звать Люси? Мне так ближе.

— Конечно. А вас можно звать пани Моника? Мне так проще.

— Се сертен. Безусловно, Люси, Люд-ми-ла.

— К черту эти условности! — засмеялась Люся. — Пусть ими занимаются политики. А я, например, ничего другого по телевизору, кроме кабачка «12 стульев», не хотела бы видеть...

И русская Люся — Люси — Людмила стала водить француженку Моник — пани Монису по Москве. Уже к вечеру Люся взяла бразды на себя.

— Моник, — сказала она, переходя на «ты», — все тут они готовы тебя ободрать. Видишь, за вход в музей с меня берут одну сумму, а с тебя другую — в десять раз больше. Прямо разбой какой-то! А как в гостинице?

— О, и в отеле! — вспыхнула Моник. — Они готовы брать с меня сколько угодно, за каждый шаг и каждое слово.

— А все твой французский! — приостановилась Люся. — Это он, твой язык, доставляет тебе массу хлопот... Давай условимся: говори или «да-да-да», или «нет-нет-нет», когда не согласна, и все.

— Нет-нет-нет, дорогая моя Люси—Люд-ми-ла! — упорствовала Моник. — Я не могу заменить свой французский на русский. Я люблю его, в конце концов, я — патриотка, я — француженка!..

И Моник первой двинулась в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, продолжая говорить по-французски. И, представляете, уже намеренно, из патриотических соображений. Особенно потому, что в этом музее были сосредоточены шедевры именно француз-

ских импрессионистов, в том числе и любимейшая у Люси картина Дега «Голубые танцовщицы».

На контроле Моник, однако, остановили. Отослали обратно к кассе — купить другой билет — для иностранных туристов.

— Оля-ля! — смотрела Моник на Люсю теперь уже с пониманием. — Они меня разорят — эти ваши шедевры.

— Идем, — сказала Люся, увлекая Моник к другой двери, как раз подошла экскурсионная группа.

— А это моя сестра, — сказала она, подавая контролерше билеты. — Она из деревни.

— Не с Тамбовщины ли? — поинтересовалась контролерша, отрывая билеты.

— Нет, с Лазурного берега! — гордо сказала Люся.

— И где же это — в Крыму? — уже в спину кричала им контролерша.

— Да нет, нет, — через головы отвечала ей Люся. — Крым — это уже заграница, а мы с Орловщины, из русской, как ее называют... Вандеи... А это моя сестра, пришла специально... и я ее очень люблю...

Моник остановилась сама, остановила движение туристической группы и прямо при всех, на глазах у всех, обняла и поцеловала Люсю, сказала отчетливо:

— И я тебя очень, очень люблю!

Вот и все. И при чем тут языковые барьеры, когда все понятно и так, без языка. На том первый рабочий день и кончился. И они подошли к отелю, в котором снимала номер Моник. И, когда Моник назвала суточную сумму оплаты во франках, Люся за голову схватилась. Обозвала главного администратора «драконом», а кассиров — «рвачами». И заявила, что завтра же, когда у Моник закончится оплаченный срок, переведет ее на другие квартиры — к знакомым...

Так и пролетела неделя. Красивая такая неделя в Москве. «...Где медведи, где замерзли войска Наполеона? — Это, наверно, в Сибири. Тут они разве могут замерзнуть? — Кто — войска Наполеона? — Нет, медведи. — Русские и французские? — Разве французские медведи бывают? — А кто, по-твоему, бродит у вас по Парижу? — Тени великих предков: Наполеон, Гюго, де Голль... — Королевский дух, Моник, до сих пор, по-моему, сидит в вашем Елисейском дворце. — Откуда мы знаем, Люд-ми-ла, что там сидит. Пусть об этом дума-

ют президенты»... Срок пребывания истекал, и это было печально, грустно обоим: русской, имя которой Людмила, и француженке, которую звали Моник.

Условия договора были, конечно, выполнены. Моник подсчитала, сколько она сэкономила, и хотела вернуть эти франки России в лице Людмилы. А Люся сказала, что она тоже не кто-нибудь, а патриотка, дочь великой России, но валюта — кому она не нужна?..

Так они и расстались, унося обоюдную симпатию в разные стороны света — на юг от Москвы и на Запад.

...Домой Люся вернулась похорошевшая. «Как на курорте побывала», — заметил муж, собираясь в свою деревушку на целое лето, — такая уж у него работа, — и забирая семью. И у нее как у педагога тоже ведь два месяца отпуска. Вот и живут они это холодное лето в деревне, и она вспоминает Моник, теплую неделю в Москве...

Ох, уж этот рынок, интеграция в мировую систему! Мир полон загадок и обещаний: лечь на рельсы, бросить пиджак на колосья... Все пришло в движение и пока своего места не обрело. И надеяться можно лишь на себя.

Лопату в руки — и копай глубже — швыряй дальше. Вот уже дважды из-за Чернобыля чернели сады, огурцы без пленки не вырастают, а помидоры жить не могут без солнца.

И холодно уже половину лета, и дожди. А когда погода установилась, было поздно: помидоры красными так и не стали.

— Что ж, хороши и зеленые! — констатировал Люсин супруг, закатывая банку с маринованными помидорами. — Будем есть вместо яблок...

Нужно есть, чтобы жить, но не жить, чтобы есть. Ох, уж эти французы! Каждый — то Руссо, то — Вольтер.

К осени Люся со своей семейной компанией переехала обратно в Орел. И пошло-покатило: рутинная работа, рутинная жизнь. И вдруг, как праздник, телефонный звонок.

— Это Люси, Люд-ми-ла?

— Откуда, откуда?

— С Лазурного берега, Франция...

— Европа достает, — констатировал супруг, передавая трубку жене.

— Это Моник, Моник? — по-французски затараторила Люся.

— Кто же автор Пушкина в Санкт-Петербурге? — говорили оттуда.

— Приезжай, приезжай, моя дорогая, — тараторила Люся. — Зачем отель, какой Пушкин? Мы поедем вместе туда, у меня в Ленинграде подруга... подруга... А у вас там, наверное, солнце, да? Все же Лазурный берег...

И тут черт ее дернул сказать про холодное лето в деревне, про зеленые помидоры.

Пи-пи-пи. Тишина. Отключилось. Объясниться толком так и не успели.

— Это они там в Москве, — говорила Люся супругу, — со своими ценами для Моник... за телефонные разговоры.

А через пару недель на имя Людмилы пришла посылка из Франции. Люся побежала на почтамт, тут же вскрыла: помидоры. Паштет, соус, томатный суп в пакетах, в стеклянной банке консервированные в собственном соку помидоры — в разных видах, и все красные, красные, красные помидоры. И еще, конечно, конфеты...

Люся выложила все это на стол — все красивое, в невероятной упаковке, французское. И вспомнилось ей, как в деревне к ним наведывалась соседка-москвичка, местная, из бывших «лимитчиц», все рассказывала о гуманитарной помощи, какую им там кое-когда выдают. Из всего набора Люсе запомнилась... чечевица. А у самих тут ушел под зиму горох, целое поле...

Так и живем. И когда в молодости, в первые годы супружества, она забеременела, и надо было сделать выбор — сын, семья или поездка во Францию, она, конечно, выбрала сына. И еще потом, тоже по молодости, вступилась за студентку — бедную, без родителей, та упала в голодном обмороке прямо на улице. И студентку чуточку позже выперли из института, а родная тетка ее бросила Люсе в лицо: «Никогда, никогда больше не помогайте!» Как Дон Кихоту тот пастушонок, которого выпорол кнутом после его заступничества еще более ожесточенно: «Дяденька, дяденька, никогда за меня больше не заступайтесь!»

И шлейф из молодости протянулся через всю ее жизнь. Она стала «невъездная», ни разу во Франции так и не побывала. Как какой-нибудь ядерщик, засе-

креченное лицо... Все ездят, а тебя не пускают. И представилось все это Люсе так ярко, и так стало больно и горько, что не выдержала, заплакала, разрыдалась прямо во французские эти зрелые-перезрелые, совершенно красные помидоры.

И опять вскоре телефонный звонок:

— Это Люси, Люд-ми-ла?

— Откуда, откуда?

— Говорят с Лазурного берега, Франция...

— Люсь, Люсь, тебя! — окликает ее супруг и констатирует: — Достает Европа.

— Это Моник, Моник? — говорит Люся, и голос ее дрожит, вот-вот сорвется.

— Моя дорогая, любимая, моя русская подруга, — и это голос оттуда — Моник, как с соседней улицы. — Я не хотела вас обидеть... не хотела... достранваю дом на природе (как это у вас?) — дачу... дачу...

И пи-пи-пи. Тишина. Опять отключилось.

— Это они там в Москве, — объясняет Люся супругу повеселев. — Для Моник цены специально накручивают...

И держит трубку наотлет, улыбаясь сквозь слезы, — все ждет. Прямо с телефоном на длинном шнуре она переходит на кухню. Сидит в уголке, подперев щеку ладонью. Как понимает ее эта Моник, как она ее хорошо понимает! Как вообще-то действуют эти флюиды, и люди чувствуют друг друга на расстоянии...

И она открывает холодильник и начинает извлекать оттуда все это от Моник: паштет, соус, банку консервированных помидоров, — все красные, красные, красные помидоры. И расставляет красиво по полке над холодильником. На самом видном месте. Чтоб как только войти, так и увидеть, оценить с первого взгляда, как и любовь.

Да, Моник, да, подруга моя! Ты из Африки родом, кажется, из Алжира? Не сразу увидела свой Лазурный берег и ты, — так ведь? Ты все переезжала, я оставалась на месте. В самом деле, Моник, нельзя победить тот народ, который и зимой ест мороженое. А еще красный, нерафинированный сахар и зеленые помидоры. Вот ведь что интересно: в любые, даже в самые холодные летние дни, при арктическом ветре, оказывается, люди погоду себе делают сами.

10 ноября 1994 г.





Знает в России интеллигенция, как спастись от глада и хлада. По рецепту доктора Живаго, припадаем к земле, картошкой родимой и кормимся, не растляя души, поддерживая свое брненное тело. У меня давно уже в собственности крестьянский домишко во Мценском тургеневском крае, в фетовских духовитых местах, в непосредственной близости к Абрикосовой пасеке, где бывал Лев Толстой. Уж какое лето живу тут в разнотравии — весь в духах и дұхах, путаю прошлое с настоящим...

С веничка полынового брызгаю по картошке какой-то вонючей японской дрянью, воюю с колорадским жуком. Вот в какое «окно» Америка въехала, при Толстом «колорад» не летал...

— Михалыч, эй, Михалыч!

Вздрагиваю от резкого, командного голоса за спиной. Это, я вижу, директор Тургеневского музея-заповедника в Спасском-Лутовиново.

— Здорово, Михалыч! — приближается он. — Ну что — совсем опростился? Слушай, я вам французов сюда, на поселок, привез. Слышь, баян возле Тихоновых, идем...

Слышу, конечно. И вижу, конечно, себя опрощенного — в выцветшей штормовке, в калошах резиновых.

— К-каких ф-французов? — говорю я медлительно, чтобы потянуть время.

— Да Полину Виардо! — пресекает всякие мои смущения директор своей широченной улыбкой. — Ну да, из тех самых, тургеневских... Вылитая! А смугла, а чернява — испанка!..

— Жарких испанских кровей? — говорю я, оживясь. Это меня интригует.

Топчусь на месте, все оглядываю себя такого — с полыновым веником — истинного борца с «колорадами» за нашу национальную безопасность.

— Я говорю, — смеется директор, — тут у нас пал-

ку ткни — вырастет тарантас, а писателей — пруд пруди...

— Ну нет! — возражаю я твердо. — Талант — явление редкое, национальное достояние...

И сомнения прочь. А пойду-ка я оденусь во что по-лучше, — все-таки заграница!

Посередке поселка, на вершке за Тихоновыми, — кучка народу, смех людской и баян. А перед всеми нами красотища какая! «Орловской Швейцарией» называют наше местечко: высокий зеленый бугор за речкой, ниже речка Алешня по лугу, припойменные места...

...А лето в самом разгаре. Солнце парит вовсю, сено пахнет! Востроватые коврижки стожков, свежескошенная трава уж чадит, на земле распушенная. Зайчик, — конь-нутрец, работяга хозяйская, — ходит тут же, вздрагивая, каждый раз прядая ушами от сильного взрыва смеха...

Баян рыкнул и, сведенный, заглох.

— Это Михалыч наш, — знакомит нас Тихонова Нюра, хозяйка. — А это наши дорожные гости: Полина и Ален...

— Меня зовут Поль, — с трудом, но по-русски говорит француженка, подавая мне руку.

Все только что из-за стола — хорошо посидели! Французы пляшут «Русского» — под баян, под балалайку. А сестра Нюрина — Нина даже голосит частушки. С год назад она похоронила мужа и этот год молчала, совсем думали уж, говорить разучилась. Нина только что тоже с огорода, в вязаных чулках и калошах; после смерти Володьки хоть рот-то раскрыла.

Зато легка, прямо-таки летает эта Полинка, — челнок. В самом деле смугла лицом, волосом черна, — неужто отпрыск, какая-нибудь правнучка по линии Виардо? Сейчас это в моде — ехать из-за границы, искать свои корни, владения, титулы...

И тут же стоит, улыбаясь, перегибчивый такой, муж Полинин — Ален, художник-витражист. Это им получен заказ на изготовление витражей в тургеневском музее во Франции — в Буживале. И вот он тут у нас, приглашен с женой для встреч с людьми — потомками тургеневских героев, для впечатлений. А жена его Поль — тоже писательница, пишет прозу... И праздник сегодня в Синявском, надо же, международный тургеневский праздник...

— Мой отец был крестьянином, я — крестьянского рода! — с гордостью заявляет Поль-Полина, обнимая Нюру за плечи.

Отсюда видать белую цинковую крышу — владение Ланового. Брызнули все из Москвы. Василий Семенович строит не дачу — целый театр. Может, к нему и везли заграничных гостей, к проверенному человеку, а, за неизменным, попали к нам сюда, к Нюре, в самый народ. Я давно знаю, что, если бы Лановому вздумалось набирать труппу, Нюра была бы у него «примадонной» — настолько талантлива в жизни, естественна и умна.

И стою вот и думаю, глядя на Поль-Полину, отчего-то о ней же — о Нюре. Да не может она быть артисткой, не может! Даже и самой первой, наивысшего класса! И именно оттого, что никогда ничего не играет, она сама такая, как есть, существует, живет. Она знает себя, свой талант — кормить людей, большой рассеянный род, и всех, всех нас по городам. Она любит это, ей это нравится... И вот, глядя на Поль-Полину, у меня отлетает одно из главных моих сомнений в мыслях о Тургеневе. Вот и он жил там у них, за границей, в Париже, а крестьяне в Спасском тут, думалось, вкалывали, кормили его... Да, кормили! Но, если так и такие, как Нюра, то — с удовольствием, знали кого, — за талант!

А вот и сейчас, не в пример многим, одуревшим в периоде первоначального накопления, Нюра не дрогнула; без нее не было бы ни этого праздника, ни нас тут на празднике, ни этих частушек, ни встречи моей с Виардо...

Знает Нюра, как нужны людям праздники после тяжелых трудов сенокоса, пусть играет гармонь.

И стоит Нюра бок о бок с Поль — русая, с обветренным, засвеченным солнцем лицом, под клонящимся за ракиту светилом. И Иван, муж Нюрин, наяривает на балалайке, и частит свои частушки с картинками сестрица Нюринина — Нина, а из-за копны выглядывает, спеша сюда, баба Дарья — старейшая на поселке: вот диво-то! в последний из заграничных были тут немцы непрошенно в году сорок третьем...

А Виардо подлетает ко мне, вызывает — увлекает в круг. Топнет ножкой, сверкнет взором — какой темперамент! Срываю самую крупную красную розу с куста

и в волосы ей — Кармен-сита! И она дерг меня за нос слегка, смеется. Берет балалайку у Ивана да по струнам:

— О, и я когда-то играла на дудке! В Париже, прямо на улице. Была уличным музыкантом...

Праздник сегодня в Синяевском! Люди так хотят, людям праздники очень нужны. Кто-то пенный квас несет в кружке, кто-то в чаше царицу-клубнику, а кто яблоки в чистом переднике.. «Как все они рады жизни, естественны как!» — вот о чем думаю я, глядя на них, на всех этих нынешних — потомков тех и оттуда, из недр межвременных и пространственных, что свели нас сюда...

Через неделю я отправился в Спасское-Лутовиново. Захотелось продлить вспыхнувшее ощущение близости. Однако кино в кинозале настраивало на иное. Аллеи, образующие римские цифры — XIX век, веяли прохладой, большие липы явно не допускали к солнцу подрост. А голос директора — строг...

Мы прошли к пруду Савиной, и я все ждал, когда же снова между нами возникнет прежнее ощущение. Может быть, и это уже все в прошлом? Миг в Синяевском не возродить...

— Он и вам сказал, что я — Виардо? — придвинулась Поль ко мне и стояла, смотрела на меня откуда-то снизу, из-под ресниц.

— Кто — директор?

— Он всем, наверно, так говорит, — взглянула она понимающе, приложив пальцы к губам.

Рыжая белка мелькнула на липе, перенесла с ветки на ветку свой пышный хвост. И тут же рядом зашлепали капли — в те же самые лунки на пыльном асфальте, на красновато-коричную, песчанистую подушку аллеи.

— Что вы пишете?

— Я пишу письма Тургеневу, роман в письмах, всю свою жизнь...

Не рыжая белка — солнечный луч мелькнул откровенно в старой, возможно, еще притургеневской, липе и исчез навсегда.

И все это было в начале, в самом начале. И это очень и очень важно. И я вернулся к своим колорадским жукам, директор — к своим обязанностям. А Поль под шутливым псевдонимом Полины Виардо провезли по тургеневским местам, по потомкам — для впечатле-

ний. И были они у портретистов-художников, были в тургеневском Льгове.

И когда я приехал из своего Синяевского проводить Поль с Аленом домой во Францию, она и сама уже верила, что она тургеневская Полина. Вот что делают с нами люди, которые всегда ведь именно на земле сотворяют себе небесных кумиров.

И жаль мне, что при прощании в Тургеневском музее в Орле она уже не взяла меня за нос так шутливо, кокетливо. А когда все же я насмелился сам, чтобы что-то напомнить, она взглянула на меня из-под ресниц и слегка удивилась.

А из Франции пришло в Орел недавно письмо. Гости благодарили за все. А Поль-Полина, после общих с Аленом строк, сделала приписку: «Особо спасибо за праздник в Синяевском, за любовь, естественность и простоту». И я вспомнил взгляд ее из-под ресниц и глаза при последнем прощании — слегка удивленные.

Да, все в жизни бывает лишь раз, только раз, миг прошедший не повторить.

11 ноября 1994 г.



СКАЗ О ЛЕБЕДИНОЙ СТАЕ



Есть один такой день перед молодым бабьим летом, когда бегают к речке: тиха вода — быть этой осени мягкой. Гладят щеки ветра-тиховей, солнце уже засыпает, холодает утрами. Я стою — ожидаю лебединую стаю, сейчас должна пролететь надо мною, над Зушей, над высоким откосом, на который выходит садами-усадыбами этот маленький, удивительной древности город. Говорят, на пути лебедином и вырос он; говорят, сентяблями вот уже сотни лет он встречает и провожает пролетных, и летят они над жнивьем, па деревнями, по-над деревьями — червоными кленами, словно грусть, словно песня, душа человечья.

Там, внизу, левобережье — слободка. Там по хатам, под железо и шифер, живут бабы-певуны. Что за песни знают они, что за дивные давние песни! Дай лишь выпадет времечко, поуправятся в поле — выташат из сундуков залежалые сарафаны — паневы да соберутся к кому-либо в хату, взвеселятся-забудутся, да и заведут, подперев щеку жесткими пальцами. Только слушай. Главная песнь — про лебедушек...

Зажигаются окна. Отражаются в розовой речке. По воде докатилось тонко, прерывисто:

Зачем цвели обман-цветы?
Зачем закат... горел... такой?

— Глаша Трелева, — встрепенувшись, глядит Калидулова в сторону голоса.

Томкий голос ударяется в берег, утекает вниз по течению — за бетонный мост, к ГЭС:

Зачем цвели обман-цветы?

И сладко так, трудно дышать: густ воздух от антоновских яблок. Вдали откликнулся еще один голос — грудной, слегка приглушенный. Голоса сходятся, расходятся, вдвоем ведут чисто и широко.

Слетаются лебедушки, собираются после лета на спевку. На щеку упала паутинка-тенетник. Сдув ее, слу-

шаст сумерки Калидулова... И вся она, невысокая, стройная, в той серединной поре, когда так красивы русские женщины, когда в глазах угадывается и ум, и желанья, и чувства, а щеки способны вспыхнуть румянцем, но порывы уже в глубине, и движения ровны, спокойны. Плавно, что под короной, несет она русую голову.

Как слышится, видится отсюда, — Заречье, Зуша на километры. Да во-он на вершке жива еще хатка певца, знаменитого ныне на всю Россию.

— Да и гора, на которой стоим, — обращаясь лицом ко мне, сбрасывает Калидулова косынку на шею, — называется Певчей. Когда-то темнел тут острог, рядом было острожное кладбище. Я, бывало, наслушаюсь тут и ведь знаю, что сказки, что ведь ветры это гудят по откосу в гнездах стрижиных. А вот хожу и приглядываюсь, и прислушиваюсь: в самом деле ль поет под ногами земля?..

— Так и ходите, значит, по песням?

— У нас песен здесь море Хвалынское. Каков хор по слободским хатам! А в Тюково! У тюковцев и записали «Лебедушек». Сколько помнят, певали ее — эту песню, хороводили по округе — в здешних селениях. И в каждом — со своими цветами, оттенками. Поет баба, как бог на душу положит, тянет из своего бесконечного сердца.

Подошли Глаша Трелева и Варя Котельникова, подросли другие девчата:

— Алевтина Иванна, голубушка! Так за лето соскучились.

И, взглянув друг на друга, приосанились да привстали, перебирая мелко, поплыли вокруг Калидуловой, завели, запели «Лебедушек»:

Вдоль по морю, вдоль по морю,
Вдоль по морю, морю синему...

Как все это издревле привычно, как близко, — этот ход лебединый, и эти лица.

— Родные мои, — шепчет Алевтина Ивановна. — Родные...

Они поднимаются на второй этаж. Скрипуча деревянная лестница. Грузен в углу кованый голубоватый сундук. Здесь их приданое: платья атласные, сафьяновые сапоги, короны все в бисере. Сами шили и вышивали, украшали жемчугом платья...

Сколько радости, не видались целое лето. Когда поутихли расспросы, Калидулова увидела новеньких:

— Как зовут тебя?

— Любочка.

Молодая, любимая, — и вижу я, как, показывая Любочке ход лебединый, поплыла она, поплыла, взмахнула крылами. Девушка угловато потянулась за ней. Грянул хор, хлестнул синей волной, а в волнах

Плывет стая, плывет стая
Лебединая...

Что-то упало в душу, сердце остановилось...

Ухо Калидуловой чутко держит мелодию, а в синей волне колышутся годы — что было, что будет... Всяко бывало; когда жены оставались на спевки, аспидничали дома мужья. Опускались крылья в такие дни у «лебедушек».

— Мой-то вчера пришел выпимши, — затевала одна.

— Целый день, — говорит мой, — ты в своих ихашках, а у нас дети.

— А мой пока с шуткой...

Слушала такие речи подружек Алевтина Ивановна: а что могла? Спасибо, у самой муж обходительный:

— Вот ты, Алюша, перед зеркалом часто.

— А разве тебе не нравится, что жена у тебя красиво одета, причесана, видна на людях?

Все отцом ее утешалось, устранвалось, — такой уж он человек. А родом сам из большого крестьянского рода в соседнем селе. На семейный стол клали, бывало, двадцать две ложки. Одних детей в семье учили скрипке, других — баяну, но всех одинаково — песне. По воскресеньям все рассаживались под раkitой и пели. «Звонаревы поют», — узнавали издалека.

Покидая село, староста хора оставил его — молодого, безусого — вместо себя. И тут же, на маслену, у ледяной горки, церковные певчие закатали такое, такой устроили праздник! Сколько лет тому. И теперь вот они все поют и играют — музыканты, преподаватели, в хорах... Поют, поют Звонаревы!..

И вот «лебедушки» выступают в Москве — девчата зушенские в концертном зале имени автора «Лебединого озера».

Ушел в сторону занавес. В мягком голубоватом под-

свете, на холстинном заднике — море. Впереди челны, а в челнах — хор песенный, выдвигается с обеих сторон на стремнину. Замерли они на стремнине да чуть шевельнулись, колыхнули синью своих длинных платьев, повели рукой с белою оторочкой — закипело, запенилось. Упал в зал первый звук:

Вдоль по морю, морю сплещу...

И на зов голосов, из-за низких челнов, выплывают лебеди, лебедушки-княгиношюшки. В снеговых атласных платьях, под коронами, в русых косах до пят. Как сверкнут жемчуга-оксамиты, как качнет плечом Главная Лебедь,

Что не Марьюшка, что не Марьюшка,
Свет Ивановна.

Так и стелется, так и стелется хор под лебедушек.

Поет Алевтина Ивановна, а сама ловит, чуткая, голоса — то вторые, то третьи. Как плывет Главной Лебедью Любочка — прирожденная Лебедь. Не в крестьянской семье выростала, — среди лебедей на лесном таинственном озере. Звенит хор, ручьятся сопрано. Алевтине Ивановне грезится лес, лесной берег и озеро, свирельный ручей, хуторок весь в рябинах. Страшно даже подумать, они — лебедушки, эти крестьянские девушки, сегодня на сцене, где танцуют лебедей знаменитые балерины, в зале самого Петра Ильича...

А мелодия вдруг изменилась, заметалась в тревоге, сквозь сопрано пробились басы:

Отколь взялись, отколь взялись
Там два сокола.

Гнется, прогибается белая струйка лебедушек. Отбить хотят Главную Лебедь соколы. Оба статные, оба пригожие... Один сокол белый, другой сокол черный...

И море не море, не озеро, а лесная поляна. Вот-вот оживет вся опушка, весь хутор, загремит под рябинами свадебное застолье, запоют хуторяне. Ведут перед женихом и невестой хоровод свой лебедушки. А хор забирает все выше:

Один сокол синим глазом
Подморгнет,
Другой сокол, другой сокол
Черной бровью поведет.

Кому праздновать, кого выберет Главная Лебедь? Плынут, плывут за нею лебедушки, невестушки-подруженьки...

Ах, да чернобровому подала белу ручку Любочка — Главная Лебедь. Ах, да сердце ему предпочла огневое! Плынут, плывут мимо лебеди, лебедушки-княгинюшки:

Ах, любовь, любовь,
Ах, любовь.

Хоровод застывает. Зал с минуты молчит...

...И опять они дома, в городке своем на откосе, на Зуше. И жизнь течет так же, как и текла. Женихов лишь под окнами что-то больше стало. Не пройти, не пробиться.

— И твой тут? — проходя через строй, подмигивает Любочке Варя Котельникова. — Уж мы свадьбу споем вам, сыграем...

Смущается Любочка, паренек озорством прикрывает смущение;

— Мне не к слеху, больно ночи коротки.

И хохот взрывает весь вестибюль. Сгорает, не смея поднять глаз, девчонка. И смотрит на Калидулову, тянется к ней, умоляет: заступница!.. И задумывается Алевтина Ивановна, смотрит в окно, за Зушу. Как ясны, привычны, перемыты словами заботы женщин о доме. Сидится здесь, на спевке, порой допоздна, все поется, играется, а домой надо... Что же держит всех, спасает нас от всего? Песня, конечно...

Ах, песни эти, что с нами делают песни? Придет женщина сюда из дому усталая, сникшая, а побудет вместе со всеми, распоется, расправится и, глядишь, уйдет домой молодой и красивой, — русская женщина. Как бы ни было нам тяжело, эти песни нам праздник. В человеке всегда найдется местечко для песни...

...И опять я на Певчей горе, на откосе. Под ногами гудит земля. А вверху надо мной, через всю золотую Россию, летят на юг гуси-лебеди. В орешнике шевелят землю, отволглую от туманов и рос, тугие грибы-листопадники. И вечереет Зуша. Повис над ней ясный, трепетный, по-осеннему зябнувший голос:

В заветной тихой рощице
К березке прислонилась...
Стоит, обняв березоньку,
Полна печали девушка.

-- Отчего печаль-то? — подхожу к Глаше Трелевой, сидящей, обхватив колени, на берегу. — А где же тамада ваша — Алевтина Ивановна?

Глаша смотрит в сторону и молчит. Наконец, отвечает:

— Не поет она больше... Улетел ее лебедь, пока она пела людям. На другое озеро сел...

Вот она, жизнь-то, какие пласты выворачивает.





Городку накатило тысячу лет.

Возник он на Руси еще до христианства в густых лесных дебрях на пути «из варяг в греки». Через него перекатывались вороги с огнем и мечом, от батыевских полчищ до наемников Лжедмитрия, и пропадали в вечности. Росли, возвышались другие, соседние города, а Тучневск за тысячу лет едва ли прибавил и тысячу жителей. Как стоял на высоком откосе Десницы-реки черной хлебной коврижкой с церковными шпилями, так и остался стоять, созерцая спокойные, зеркально-зеленые воды Десницы. Правда, в последние годы шпилей поуменьшилось, зато выросло длинное белокирпичное здание — филиал одного из столичных заводов.

Местные власти решили придать юбилею тот размах, на который был только способен районный бюджет, при этом ресурсы филиала играли, безусловно, главную роль. В замысле отцов города венцом юбилейных торжеств намечалось стать открытие памятника Бояну. Все тучневцы всерьез считали его своим земляком. Почти каждый уже первоклассником повторял наизусть строки:

Вещие персты он подымал
И на струны возлагал живые.

На первую встречу с историческим бардом в вечный град спешили его нынешние единомышленники — поэты соседних городов и весей. Их оказалось не так уж много, всего трое: либо время открытия совпадало с «бархатным сезоном», либо на братию не хватило гладкой бумаги для пригласительных. Эти трое — бородач-мыслитель Матвей Дрынов, предприимчивый Николай Рындин и легковесный Миша Капустин — въезжали в Тучневск на исходе дня, видели впереди «Колхиду» с сосновым ящиком в кузове и, конечно, не подозревали, что прибывают в родной город Бояна почти в одно время с его изваянием.

Как это часто бывает в русских народных сказках, памятник вырос на берегу Десницы-реки всего за ночь. Вернее, его только поставили на пьедестал, подготовленный прежде, и держали пока под полотном. Ветер с реки полоскал складками белой материи и возбуждал интерес. Гости и местные жители уже с утра прохаживались по подчищенному, умытому древнему городу, собирались кучками, схлестывались в спорах, с нетерпением ждали урочного часа. В это время похожий больше на попа-расстригу, чем на поэта, заматеревший Матвей Дрынов просыпался в отведенной ему резиденции. Лежал и смотрел в потолок, соображая. Ну устроились в помере — помнит. Ну Коля Рындин потащил выступать в райотделе внутренних дел («для налаживания контактов с сенью закона») — помнит. Ну молоденький следователь милиции Вася Несмирнов читал стихи и краснел, словно девушка, — тоже помнит. Вася оказался земляком, из Матвеева города, даже в школе одной учились. Дальше была пустота, чернота, провал, Марракотова бездна...

Они вышли на центральную площадь Тучневска. Городок гудел, словно улей. Народ валом валил к Бояну, но, увидев его в полотне, а дощатую сцену перед ним покамест пустой, рассыпался на множество ручьев и ручейков. Песни, смех, подковырки. Кремплины, сапоги-чулки, сапоги на платформе. Где-то пискнула и закатилась гармонь, тут же взвилась частушка. Ринулся на звук Миша Капустин («медом его не корми, куплетиста»), Николай Рындин («тоже мне, артист») тут же подсел к девчатам на лавочку, и Матвей не заметил, как остался один. Он прошел глубже в парк, выбрал глухое местечко, присел.

Отсюда хорошо виден плес, плавный изгиб Десницы-реки, сквозь деревья едва угадывается белое пятнышко — вознесенный над землю Боян. Пока скрытый от глаз, пока в покрывале. На берегу приземистые лабазы, остатки крепостного вала, за бойницами голубой, с золотистыми блестками, купол собора. Чист и прозрачен воздух бабьего лета, листья клена шуршат, шуршат, шевелятся, как и шуршали когда-то... Матвей сидел в оцепенении и чувствовал себя то самим собой, то Бояном, то снова самим собой, и все, о чем пели когда-то Бояновы струны, обернулось в нем осязаемой плотью, взвилось и затрепетало.

«О Русская земля! О тебе наши думы и боли, для тебя и живем. Костями своими стелем тебя из веков и в века. Вон стрелой целит в самое око половчанин-кочевник, вон несут латышяне смерть на кончиках копий. И корчатся в междоусобице княжества, хлыщут сабли кривые по серебру Дона, и вот-вот разметется — разветется и исчезнет народ, как стирались их тысячи на бесмертном лике степи, но держит его, не дает пропасть кем-то сказанное впервые, — о Русская земля! И уже воспеты слова-звоны вещими струнами, и уже клонятся, заслоняют их, будто червленый стяг, сдруженные в дружины, за дружинами стоит, упирается, выкрепает и здравится матушка Русь.

И ведь гусли твои, Боян, не сильнее шума дубрав, и ведь голос твой затопает в шорохе крыльев лебязьих, да затронь лишь, дыхни словом-звоном где-то под Киевом, а услышат его аж у Великого Новгорода. И ведь очи твои, Боян, давно сгинули, лопнули, выкипели от трахомы, нещадных пожарищ, и ведь водит тебя в ночи малец-поводырь, да рассыпь по дорогам щедрые звоны — не князья, не советники княжеские, а ты, только ты, неподступный, и видшь горевые и светлые дали Руси. Лишь перстами своими на струны — баскаки посусличьи ускользают в свою Золотую Орду, псов-рыцарей тянет сталь на дно Чудского озера, и смывает ливнем ливонцев, накрывает снегами поляков, французов. Так и мнится, как Невский или Коловрат, Донской, Пожарский, Кутузов призывают его, ясновидца, перед сражением: «А ну вдарь, Боян, в свои вещие струны. А ну глянь в наши судьбы: что там скрыто за тучами туч?»

И плывет плач Боянов по русским пробитым кольчугам, восславляет Боянова песнь уснувшую и уже пробужденную жизнь.

Воспой, Боян, праздник вечного города, каждый день прожитой тысячи лет.

Возговори же, положи в душу слово!»

А люди, мимо Матвея, идут и идут по аллее в ожиданье урочного часа.

Стояч и прозрачен воздух бабьего лета. За валом словно врезалась в небеса колокольня — так явственно все на ней до малейшего, даже колокола. Говорят, собор стоит на фундаменте древней церквушки, звон которой, может, слышал Баян.

Листок упал на колени, и Матвея слегка подернуло

от озноба, он встал. Приятели сидели на прежнем месте. Предложение Дрынова осмотреть колокольню, на которой бывал, по преданию, Боян, было встречено с энтузиазмом.

Прошли к крепостному валу, к Деснице-реке. Через буераки, куски труб и какие-то бревна подходили к собору. Миша Капустин, зацепившись за доску, чуть не влетел в яму с известкой.

— А что если б влетел? — вертел копной темных кудрявых волос этот Миша.

— Кто бы тогда куплеты писал? — подковыривал его Коля Рындин.

Подошли к собору, к самой двери. Она была вся в известке, рядом высилась горка битого красного кирпича. Из дощатой будки напротив выскочил щекастый маленький человечек. Новая болоньевая курточка и болоньевая фуражка с лакированным козырьком.

— Вы от городских властей? — человечек даже подпрыгнул от радости. — А мы ждем, ждем.

— Мы оттуда, — серьезно сказал Рындин и серьезно посмотрел на Матвея. — Мы комиссия отца Дионисия.

— Какого отца? — человечек на миг приостановился, перевел взгляд на Мишу.

— Ну... это, — опустил глаза Миша Капустин. — От всех отцов сразу... от отцов города.

— А, ну будем знакомы, — суетливо подавал руку каждому маленький человечек. — Прораб Перепелкин.

— Ну так что, товарищ прораб, — уже входил в роль Коля Рындин, — начнем без всяких-яких, с объекта? Переделки-перепелки, недоделки-недо...

— Я бы предложил, — Перепелкин перевалился с ноги на ногу, заглянул в глаза каждому, — предложил бы сначала в прорабскую. Документики, ради праздничка и т. д. и т. п.

— А что, указание какое? — спросил было Дрынов, но Коля Рындин уже вел за рукав Перепелкина. — Можно, понимаете, и без сокращений, понятно?

Стол в прорабской ломился от яств.

Выходили из прорабской в высочайшем расположении духа, всем хотелось на колокольню. Коля Рындин хлопал по плечу Перепелкина, говорил, что здесь не в пример другим прорабским участкам дело, пожалуй, поставлено хорошо, но еще не совсем, можно, конечно,

поставить и лучше. Дрынов все хотел втолковать Перепелкину, что они никакая не комиссия, а всего-навсего гости города в связи с юбилеем, но Перепелкину так хотелось, чтобы это была непременно комиссия, и потому он не слушал Матвея. «А где лучше? В тресте по ремонту памятников мы вроде бы не из последних», — ставил он в тупик Дрынова. «А везде хорошо, — отвечал за Матвея Коля Рындин. — Например, у Куропаткина... слышал такого?.. на ремонте этого... ихнего леса». — «Ты даешь, — улыбался Перепелкин сочувственно и подмигивал Матвею: — На объект пойдем или так, на слово поверим?» — «На объект, — было сказано строго. — На колокольню».

Поднимались в темном и затхлом каменном мешке, по вконец разошедшейся лестнице. Доски под ногами всхлипывали, стонали. Эхо гудело в колодце, затихало где-то внизу. Матвей на минуту представил, что будет, если рухнет под ними все это гнилье, и махнул рукой: ладно. И едва поспевал за Перепелкиным. В спину Матвею противно сопел Миша Капустин, от него пахло кожанкой и еще чем-то гнилым, нехорошим, капустой, что ли? «Аденоиды, — раздраженно подумал Матвей. — Давно б выдрал, чертова бочка. От твоих куплетов моль в ушах заведется, никакой дуст не возьмет». Постепенно Матвеевы мысли обретали устойчивость, переходили на твердую юбилейную тему, из глубины подымался Боян, даже лицо воображалось отчетливо, явственно, копия соседский дед Митрофан — пшеничные брови, пшеничные усы, родинка на правой щеке... Вот поэт, из поэтов поэт. Золотое слово, со слезами смешанное...

Пахнуло воздухом, ослепило светом. Колокольня стояла на семи ветрах, кругом так и сквозило. Голуби с шумом бросались вниз, кружились взволнованно, вовсе близко от тех, кто посмел нарушить покой. Весь Тучневск был как на ладони, со всеми своими улочками и закоулками, огородами и курганами, остатками вала и крепости. Далеко в голубые леса уходила Десница-река. Вот с таких сторожевых мест и оглядывали местность бородатые пращуры, дымами подавали сигнал об опасности дальше по линии, до самой Москвы. Колокольня. Колокола. Вот они, большие и малые, бронзовое литье. В них душа певучая предков, в каждом звуке глубинный смысл... Там, по кромке леса, враги, и тогда удары

частят, нагоняют тревогу, обгоняют друг друга, воедино сливаясь, срываются, переходят в набат. И тогда чье же русское сердце не вздрогнет, не наострит себя мужеством, чья рука не потянется к палице? Там они, те леса. Заколodило стежки-дорожки, блудит путник в измраке дебрей. И вдруг, как из сна, явью дедовой сказки, где-то тут малиновый звон!

Колокольня. Колокольное царство. Главный колокол в рост человека, остальные собратья поменьше — висят на черных, дубовых брусах, молчаливоугрюмые, все в пятнах, в голубином помете, прозелепелые, полусъедены временем буквы. И немые — срезаны все языки. Не получится «русского звона». Где-то там, внизу, уже гудит площадь и трепещет белое полотно, все готово к апофеозу. «Как же так, без Бояна? — мечется Коля Рындин по колокольне. — Сейчас мы что-нить придумаем, голос его подадим». И сует Перепелкину ломик железный.

— Это как... по программе? — берет за локоть его прораб Перепелкин.

— По программе, по программе, — объясняет Коля Рындин популярно, с применением рук. — Как врежу в главный колокол — бум, так ты вот по этому — динь-линь-динь. Понял? Делаем благовест... Ну-ка, Миша, глянь, чего там на площади? Поползло полотно?

— Поползло, поползло! — закричал Миша.

— Ну, пошли. — Для торжественности Коля Рындин слегка задержался и, поймав настороженный взгляд Матвея, размахнулся, ударил в край главного колокола, сверху посыпались хворостинки и перья.

— Динь-линь-динь, — ответил массивному гулу тонкий колокол Перепелкина.

Коля Рындин метался по колокольне, показывал, кому за кем вступать. Выходил, получался у них благовест, они это слышали. Гремели, пели свое колокола, Боян с колокольни подавал голос Бояну на площади. Звук главного колокола казался Матвеем коричневым, Мишин — синим, этот — зеленым. Стояли люди под древние звоны, вглядывались в изваяние, и не было на площади никого, кто бы до слез не гордился сегодня эпохальным своим земляком...

Под конец Коля дал команду ударить «всеми наличными средствами» — сделали перезвон. Трезвон еще долго стоял в воздухе, звенело в ушах.

— Где это ты наловчился? — спросил Матвей удовлетворенного Колю Рындина и слабо слышал свой голос.

— Потомственный музыкант, — смотрел весело Коля. Собрались спускаться на грешную землю.

— Шуму не будет? — заглядывал вниз Миша Капустин.

— Чего теперь, — утер Коля Рындин лоб тыльной стороной ладони.

— А вы что, ребята... не по программе? — беспокоясь, переводил с одного на другого свой взгляд прораб Перепелкин.

— Ладно, не помирай, — тряхнул головой Матвей Дрынов и улыбнулся прорабу: — Не бойсь, нас поймут. В такой день и не подать голос Бояну?

Шли парком к площади, к памятнику Бояну. В объятия бросился Вася, Василий Несмирнов, следовательно.

— Ищу-ищу, где хоть вы пропадаете?

И потащил всех в павильончик на главной аллее.

— Иже еси на небеси, — пропел Рындин и подморгнул Матвею.

— Я пас, ребята, — сдерживал шаг Миша Капустин. — У меня, ребята, желудок.

— А у нас, по-твоему, что — лоханки? — говорил Дрынов сердито. — Давай, брат, не отставай. Русь сегодня гуляет.

Шли, захватив в ширину половину аллеи. Василия толкнул случайно мужчина средних лет, седоватый, в светлом плаще.

— Стоп! — остановил мужчину Василий. — А ты знаешь, кого толкаешь? Кто я?

Мужчина стоял и смотрел на него внимательно, очень внимательно.

— А ты знаешь, кто я? — выговорил, наконец, он спокойно и усмехнулся.

— И знать не хочу.

— То-то и оно, что не знаешь, — теперь уже твердо сказал мужчина. — Вот и я тебя тоже знать не хочу. Захочу — сам расскажешь.

И пошел своей дорогой.

Василий стоял без движения. Побежал догонять ребят.

— Ну, обменялись мнениями? — усмехнулся Миша Капустин.

— А-а, — раздвинул брови Василий и, хохоча, потащил всех к обрыву читать у обрыва стихи.

После вечера поэзии в местном Доме культуры возвратились благополучно на «свою базу», в гостиницу. В номер к ним, в их отсутствие, подселили еще одного «клиента», уложили дядечку на раскладушке. Администраторша извинялась, просила войти в положение: такая дата, все у них переполнено, а где-то надо же переночевать человеку, тем более тоже гость города: солидный дядечка, генерал в отставке. Миша Капустин, кровать которого прижали по такому случаю к печке, заворчал было на всех этих «солидных, от которых несолидным хоть в трубу лезь», но Коля Рындин прищипнул, сказал, что положит его к себе на постель, а его, Мишину койку отдаст генералу. Генерал оказался тот самый, встреченный на аллее, — шупленький, подвижной, ничего мужик. Во-первых, наотрез отказался от Мишиной койки, во-вторых, так легко и просто вошел в разговор, что даже Матвей Дрынов, который предпочитал в гостиницах больше внутренние монологи, и тот не заметил, как вскоре втянут был в разговор. Владимир Петрович — так звали нового жителя комнаты — попал в суть, словно в яблочко.

— Шутка ли, почти тридцать лет не быть на родине, — говорил он с волнением. — Тридцать лет! И теперь у меня здесь никого... Ах, какие тут молодцы, какой праздник устроили! Как гремели колокола! Помню с детства. Особенно этот, сиреневый — динь-лин-динь...

— А вот за колокола надо бы взгреть кой-кого, — упершись в стену затылком, смотрел Матвей на Николая Рындины с легкой улыбкой.

— Как это взгреть? — забеспокоился Владимир Петрович и посмотрел на Матвея внимательно, очень внимательно. — Все, по-моему, к месту: открыли Бояна, ударили колокола.

— Религия — опиум для народа, — парировал бесстрастно Матвей.

— Э, батеньки-матеньки, позвольте с вами не согласиться, — пропел генерал и даже зажмурился от удовольствия. — Да, не согласиться... Вас, молодые люди, еще и на свете не было, когда я ходил в комсомольцах. Диспуты, атеистические вечера. Колоколам языки отрезали, даже сбрасывали на землю... В колоколах, батеньки мои, действительно, если глянуть в историю,

есть и герон... Колокола, как людей, ссылали в Сибирь...

— Пусть висят, пусть звонят, — сказал Миша задумчиво.

— Нет, зачем же так иронично? — живо обернулся в его сторону Владимир Петрович. Переводил взгляд с Миши на Матвея и обратно на Мишу, оценивал каждого. — Я вот о чем. С уничтожением церкви мы зацепили многое из культуры. Иконы, сами здания, колокола, а это — живопись, архитектура, музыка... Поезжайте в Азию или Европу — вас непременно поведут смотреть пагоду или костел. А туризм, батеньки мои, сейчас в моде... Есть и нам, конечно, что показать: Байкал, Кавказская ривьера. А им интересно посмотреть, что создано нами, нашим народом, и тут мы им новый аэропорт, новый квартал. Конечно, это интересно. Ну, а что у нас с вами за дух? С чем идем, так сказать, из веков? Вот что, батеньки мои, нам никак нельзя упускать. И для туристов и для себя. А вы, говорите, колокола... Очень даже было сегодня волнующе. Я орган слушал в Домском соборе — хорошо. Но сегодня так прошибло: полотно скользит, открывается людям Боян, и гремит этот, коричневый: «Бум, бум!». А между ним голубые, сиреневые: «Динь-лннь-динь, тлннь-тннь-тлннь»...

Матвей слушал, соглашался, молчал. Все устали, и все соглашались.

Утром первым с постели схватился Миша Капустин, растолкал Дрынова. Набросили полотенца на шею, прошли на цыпочках к выходу. Пол в коридорчике был цементированный, скользкий, стены в полтора метра, не гостиница — крепость. Окатились ледяной водою до пояса — вмиг слетела дрема, постепенно снималась тяжесть с темени и висков, очищалась мысль. Что ни говори, а распрекрасное это средство — ледяная вода.

— О чем думаешь? — повернулся Матвей к Мише Капустину.

— Что-то не нравится мне этот генерал, — клацая зубами, ответил Миша Капустин. — Для генерала какой-то неправильный.

— И кто он тебе? — растирал полотенцем тело Матвей.

— Журналист, наверно, — пожал Миша Капустин плечами. — По-моему, так.

Дверь выбросила их металлической пружиной на улицу.

У парка они встретили Василия Несмирнова, как раз шел к ним в гостиницу, теперь уже в форме.

— Ну что, микромайор, еще звездочку не поймал, не привесили? — задевал его Николай Рындин, всегда задирает, заноза.

— Последнюю, спасибо, не сняли, — сделал под козырек Василий и усмехнулся: — Вот что выручило. — И Василий вытащил из кармана газету. — Местная. «Голос Бояна». Видите, сверху крупными буквами «И ударили в колокола».

— Ну что я говорил? — крутанулся на каблуках торжествующе Николай Рындин.

— Высокие гости, в общем, довольны, — сделал бантиком губки Василий и засмеялся. — А отцы города мне пальчиком: это твои, мол, орлы?

— Все довольны, чего еще? — пожал плечами Матвей Дрынов и двинулся к площади, на которой был открыт теперь уже всем ветрам и взглядам Боян.

Утро разгоралось. Солнце золотилось на листьях, безмятежно голубело небо. Голуби клубились над колокольней, видно, справляли гнезда. Боян сидел лицом к Деснице-реке, к лесным чащобам и поймам, и словно бы видел сквозь время то, что каждому здесь, у его подножья, не дано было видеть. «О Русская земля», — шевелились сухие губы Матвея.





«Милая Антонина Васильевна! Вы знаете, как памятен мне этот день, как необычайно дороги Вы для меня. Здесь у нас набухают акации, а там, в России, на родимой Орловщине, наша деревня сейчас тонет в снегах»...

Письмо тихо белеет в сумерках, строчки растекаются перед очками. Рухнула за раскаленную дверцей здоровенная головешка — кровавые всполохи залили бумагу. Антонина Васильевна отпрянула от письма, боль резанула сердце:

«Боже мой, Сере-еженька-а!»

Каждый год, когда наступает это число и офицер Алексей Воронцов — друг Сережиного детства — присылает ей письмо и посылку, она ясней, чем всегда, понимает, что отняла у нее война...

Скрипнуло в сенцах: вошла заведующая клубом.

— Антонина Васильевна, сегодня в клубе вечер по случаю Армии. Мы просили бы Вас рассказать молодежи...

«Рассказать молодежи... — Антонина Васильевна устало погрузила седые виски в ладони. — О чем я? Ах, да о войне... А зачем? Все это так далеко...»

В тот день было тоже метельно. Где-то мерзли в окопах наши, а здесь, под соседским сараем, заметало фашистский танк. На душе было тяжело. Она вязала у печки, изредка взглядывая на читающего Сережу.

В дверь вдруг отчаянно загремели. Она положила вязанье: пришли за ней — значит, с кем-то случилась беда. В дверях стоял Воронцов Алеша. Он жадно хватал воздух искажившимся ртом, а к горлу всем телом гнало новые волны.

— Алешенька, — испугалась Антонина Васильевна, и волны прорвались, наконец, слезами, всхлипываньями, обрывками слов.

Только через полчаса в доме Сибирцевых выяснили, что случилось у Воронцовых. Алешу угоняли в Герма-

нию. Забирали Малютина Валерку, Петьку Сбитнева... На станции, говорили, уже стоял эшелон.

Сибирцева мучительно смотрела в окно. Потом привычно стянула с полки свой фельдшерский чемоданчик, наклонившись, зашуршала бумагой.

— Одевайся, — кивнула она Алеше. — Ты можешь теперь не бояться, тебя не угонят в Германию.

Алеша заглянул ей через плечо.

— Это рецепт, — спокойно сказала Антонина Васильевна.

Прощаясь, она поцеловала Сережу в щеку и почувствовала, как она дрожит под губами.

По дороге крутила поземка. Немцы забились по щелям, и Сибирцева с Алешей были сейчас одни среди взвихренной улицы. Никто не остановит тебя, не потребует пропуска, не оглушит прикладом... Алеша пырнул в калитку. Оглядевшись, Сибирцева прилепнула к забору бумажку с крупными, как непромолотая соль, серыми буквами: «Сыпной тиф».

Свежий полоз уходил из деревни и растворялся в пурге. Где-то там, за пургою, было Залесное и Андрюша Егоров — человек, которому впервые в жизни она сделала аппендицит.

Это было вершиной ее мастерства. Когда-нибудь, когда закончится война, на районном совещании еще удивятся тому, как она всего лишь фельдшерица, мастерица принимать роды и ставить клистиры, как она сотворила эту операцию на колченогом столе, простым кухонным ножом. Она была для Егоровых «спасительницей», «чертом-дьяволом», «душегубом» и, наконец, «ангелом», все эти два с половиной часа, пока Андрюша лежал на столе...

А теперь его угоняли в Германию.

Антонина Васильевна почувствовала, как невесть откуда взявшиеся силы разгибают ее. Все эти месяцы ее давил животный страх, грызла тоска: а что будет с ней и Сережей, что будет со всею Россией? — а тут вдруг соделанное ею сегодня подняло Сибирцеву над той Антониной Васильевной, которой она была еще утром, и укрепило в мысли, что она снова нужна людям, что может что-то делать для них.

Сибирцева всем телом качнулась к пропадавшему полозу, и ветер, вырвавшись из-за хаты, полоснул ее снежным песком по глазам. Она попятилась, напустила

полушалок на брови, пригляделась к ветке — не часовой ли? И, угнувшись, втиснулась плечом в упругое снеговое место, которое сразу же завинтило перед носом, засвистело, завыло, стало валить с ног.

Еще утром она испугалась бы этой дороги и, может быть, стала искать в совести шелку, куда бы протиснуть оправдание слабости, но сейчас было не до раздумий: Залесное было на ее участке, и она шла, как всегда, на вызов...

Обессиленная, Сибирцева привалилась к корявой соосе. Пурга заметно сдавала, напознала вечерняя темь. За сосной было тепло и спокойно. Сибирцевой вспомнилось, как жили перед войной. Жили всяко... Почему же нужны потрясения, чтобы люди стали друг к другу добрее? Почему в мирные дни они гасят в себе это чувство? И будто бы так уж нужен свинец да пламень, чтобы поднимались душевные глубины...

Назад она возвращалась под утро. Подходила к себе огородами. Представила, как спит, не дождавшись ее, Сережа: одеяло съехало на пол, правая нога сучит поверх простыни...

Сибирцева вышла из-за сарая и похолодела: распахнутые в хату двери глянули на нее черным провалом. С крыльца, изрыв непочатый снег, вели следы солдатских сапог — лапотные, с шестигранными шляпками. Рядом семенили калоши.

«А бумажка? Спасительная бумажка! Она забыла приклеить на своей калитке, о-о!!..»

Ветер хлестал над нею калиткой, снег не охлаждал рук и лица.

...Антонина Васильевна засобиравалась, заметалась по хате. «Да-да, рассказать молодежи... Пусть слышат, пусть знают, как это было».

Потянулась привычным движением за своим фельдшерским чемоданчиком, вспомнив что-то, махнула рукой.

Возле Воронцовых остановилась, подумала про Алешню письмо и посылку: «Надо матери его завтра сказать»...

В клуб, пересмеиваясь, сходилась молодежь.

* * *

Здесь нет фамилии, голько имя. Но она, эта женщина, не придумана, нет. Только, назвав ее, боюсь раню еще раз, попаду в материнское сердце.



Федор проклял тот день и час, когда отстал от колонны и скрылся вроде бы по нужде в ближайшей леваде. Он просидел в ней часа полтора, пока не прочавкала мимо последняя повозка. Раздвинув опасливо ветки, он с трудом узнал в одной перебинтованной кукле Витьку Киреева, озорника, балагура, с которым еще утром сегодня он, Федор, ел на привале из одного котелка. Витька был теперь черен, скуласт, некрасив. «Что ж это я? — шевельнулось в Федоровой душе. — И котелок Витькин нешто с собой унесу?.. А, — махнул он рукой, успокаивая себя, — все равно не жилец Витька-то. Помрет скоро. Зачем ему котелок? А мне в хозяйстве сгодится...» Так стоял и рассуждал Федор за лозняком, даже вспотел от натуги, представив, как взводный, не обнаружив в строю его, Федора Андронова, пошлет кого-либо искать протставшего, и они найдут его здесь, в лозняке. Потому Федор костенел от страха и, не застегивая, держал в руках штаны.

Прошло полчаса... Куда им там? Не до него. Вторую неделю тащатся по осенней распутице. Падают лошади — под комбатом уже, наверное, третья, выдохлись люди, а враг прет, насаждает, сидит у них на хвосте. А они все идут, все идут на исходные... А ну их к черту, с исходными ихними, со всею войной, когда вот она, в пяти верстах, родная Андроновка и там, за околицей, его хата!.. Федор, наконец, подпернул штаны, закинул за спину вещмешок, озираясь по-волчьи, двинулся неглубокой балкой к деревне.

Он постучал в оконце, когда уже вовсе стемнело.

— Кто там? — прильнули к стеклу. Федор узнал Ксюшин голос. В другое время чертыхнул бы ее раза три, заорал бы: «Отворяй! Не вишь, что ли, — хозяин!» Но сейчас сказал ей перед сенечной дверью неузнаваемо тихо и даже жалобно:

— Ну кто еще! Я, конечно...

— Федор! — замлела Ксюша у него на плече. И тут

же заволновалась, начала щупать шинель: — Не раненый, а?

От нее пахло луком... Не любил Федор Ксюшу. Так, неизвестно зачем и женился. Может, на зло красивой, фигуристой Любаве Петровой, когда спуталась Любава с инженером заезжим? Та — березка, та — ветер. А Ксюша? Ну, что она? Так, сушняк, из трех щепок. Перед ним, перед парнем на всю деревню, удалым гармонистом! Видно, чуяло ее сердце, что она ему, Федьке, не ровня, потому и ходила — дома ль, на людях — тень тенью, глаз, бывало, не кажет. Так вот и не было между ними искорки. Лишь перед самым тем днем, как уходить на действительную, родила она ему сына Федора. Вои он спит в новой люльке за печкой, подперев щеку перевязанной ручкой.

— Ишь ты, — растрогался Федор. — Человек!

— А как гулькает... Гуль-гуль-гуль-гуль, — обрадовавшись, зашептала, задышала в плечо Федору Ксюша и кинулась к лампе.

— Не надо, — остановил ее Федор и потупился. — Люди увидят...

Ксюша бессильно опустилась на коник. Он подсел к ней, сказал как-то наигранно весело:

— Все, Ксюша. Отвоевался. Ушел я из армии.

— Как же так? — задохнулась она. — Как же так, Федор?

— А ты что хотела? — озлился он, уловив в ней смутное сопротивление. — Ты хотела, чтоб воронье выклевало где-нибудь в поле очи мои?! Третий месяц ползем, отступаем. Грязь, слезы, смерть, все горит, рушится. Я не могу больше, выдохся. Крышка...

— Стой! — вскочил он через минуту, прислушавшись: сквозь цокот дождя о стекло долетел шум движения большой живой массы.

Побледнел Федор, кинулся к печке. Потом в сени. А шум все приближался: явственно слушался топот коней, скрип немазанных тележных осей.

— Ксюша! — поглядел Федор на жену умоляюще и вновь опустился на коник.

— Иди, — сказала она низким, совсем чужим голосом и двинулась в сени. Приоткрыла ему творило — из ямы шибануло такой гнилой затхлостью, что Федор замешкался, плечи повело неприятным морозцем.

Он опустился по лесенке, и Ксюша надвинула на

творило ветхий комод, выставленный Федором еще по весне. «Глухо, — подумал Федор, почувствовав над собой тяжесть. — Как в могиле».

Так началась для него та жизнь в земле, которую и трудно назвать было жизнью.

Несколько дней просидел он на кадке, вслушиваясь в то, что творилось наверху. Иногда в сенях звякали шашками, сыпались короткие фразы. «Наши. Не немцы еще... Батарейцы или кавалерия? — веселел Федор. — Ну, а что тебе наши? — осаживал себя через минуту. — В трибунал мигом и к стенке. Как тогда, под Бобруйском, Брусова Веньку из их отделения. Струсил, подлец, перед танками... А ты, Федор, не струсил, не побегал. Ловко ты его под гусеницу гранатой, сволочь такую! Потом перед строем комбат руку пожал, говорил, что представит к медали».

Вспоминая об этом, Федор начинал чувствовать себя человеком, даже пить вроде бы хотелось не очень, не так, как сегодня, вчера и позавчера, как, наверное, всю его жизнь. Пить! Он пытался черпать ладонями огуречный рассол, подносил его к потрескавшимся, воспаленным губам, но целебная влага, которая не раз, бывало, спасала его по утрам после хмеля, на сей раз отвращала, тянуло к рвоте. Федор пробовал языком отсыревшие балки на потолке, а однажды, нащупав грибки на тонюсеньких пожках, проглотил их, не почувствовав вкуса. Временами он порывался подняться наверх, даже бил головою в творило, но комод держал здесь надежно, а кричать Федор боялся.

Наконец, в сознание привел его грохот отодвигаемого комода — в яму ударило воздухом.

— Пить, — прошептал он.

Ксюша швырнула ему тряпья, опустила ведро воды и кастрюлю картошки. И Федор зажил. Он прокопал в земляной стене за кадушками нору — кротовью нору, просунул доски в нее, устроил постель и лежал, размышляя о жизни и о земле. Не об этой — о той, что была там, наверху, по которой ходили люди, скрипели по железному насту, дышали туманом, пургой, лепили в оттепель снежную бабу. «Эх, жисть!» — вздыхал Федор, вслушиваясь, как скребется рядом знакомая мышка. Она и вовсе теперь не боялась его: точила да точила себе под ним трухлявую доску. А и пусть. В поле сейчас ей какая житуха — холод и голод, а здесь ни-

чего... На память приходили Ксюшины вести, что немцев остановили и держат за их деревней по Кривому оврагу. Вот и лежат теперь в лютой земле, в мерзлых окопах ребята, все его отделение — Гриднев Витька, Володька Акмаев, Сережа Сбитов... Лежат там, где не хочется жить даже мышке. И жаль Федору становилось в такую минуту ребят, но тут же начинало думать о себе, и тогда жаль становилось себя: «И здесь ведь не хлеб... А они бы, Федор, тебя пожалели б? Витька Гриднев первый всадил бы пулю в тебя, как в дезертира».

Пришли весенние дни. Об этом Федор узнал по оттаявшему творилу. Куда-то исчезла и мышка — ушла, должно быть, на теплышко. По условному стуку Федор поднимался по лесенке. Ксюша стояла над ним в телогрейке, покрупневшая, властная, не такая уж теперь и нескладная.

— На, — приседала она на корточки, подавая кастрюльку с картошкой, и молча смотрела, как двигается в еде кадык у него, выступает испарина от непривычных усилий.

— Вон люди огорода вышли копать, — смотрела она ему прямо в глаза. — И ты не бариш, чего даром хлеб жрать?

Завершилась война. Редко в какую хату вернулся мужик в Андроповке. Бабы правили миром: пахали и сеяли, руководили и растили детишек. И не у кого было выплакаться на жестком, сильном плече, некому излить бабью радость и горесть, не с кем было на пару потянуть эту лямку, когда от бесхлебья пухли и мерли по хатам детишки — еще те, довоенные, кровинушки их, память об искалеченных и погибших мужьях. Мужики были в редкость, один на пятнадцать дворов. И только Ксюша могла иной раз прийти к своему. Да горько полынное, краденое было у нее это счастье.

Когда она забеременела, по деревне пошли всякие разговоры, указывали то на семидесятилетнего деда Ермилу, то на безногого Титка Архипова. Если бабы приставали особенно, Ксюша их обрезала:

— Откуда? Откуда и все — по телефону!

— Может, еще придет твой мужик-то, — стыдили бабы. — Сколько их, безвестных, нынче по госпиталям...

А еще через год, когда у нее появился второй, Ксю-

ша начала говорить, что ездила в Тулу, что завелась у нее там любота.

— Ничего, — посмеивались в деревне. — Народ теперь нужен.

— А может... того... перетянешь к нам сюда свою люботу? — затевала с Ксюшей разговор председательша. — Все бы бороны сладил али сбрую. Пахать скоро... Тяжело, Ксюша? Потерпи, на ребят схлопочем пособие.

А Федор все сидел в конуре. Тысячи раз передумывал все давнишнее, прежнее. Весть о победе он принял как-то спокойно: не было в ней его доли. Да и то хорошо, что живой, а то бы и не до победы, кормил бы собой в поле где-нибудь воронье...

С годами страхи Федора не уменьшались. Он представлял, как Витька Гриднев, смазав его по харе, ставит к каменной стенке, орет ему прямо в лицо: «В расход тебя-я-я!..»

— А-а-а! — вскакивая, кричал тогда Федор, и мышка — всегдашняя его зимняя спутница — затихала под досками, а в творило стучала Ксюша:

— Чего тебя черти?!

Подросток его первенький — тоже Федька. Материн помощник. Пошел в первый класс. Федор смотрел кой-когда из сенец, как, серьезный, он сидит за столом, шевелит потихоньку губами — читает букварь: «Рабы не мы, мы не рабы». И сжималось у Федора сердце, слезы наворачивались на глаза: нет, не мог подойти он к сыну, положить руку ему на головку. Не знал, вишь ты, даже какого цвета у сына глазенки. Как-то Федька увидел его в сенях, а потом, Ксюша говорила, все расспрашивал, кто да кто это? Чужой, отвечала, приезжал тут из города, чей же еще?

А с некоторых пор по Андроновке поползли упорные слухи, что в округе что-то неладно. В погребах, по ближним поселкам, пропадают огурцы и сметана, на дорогах видали какую-то тень. Все поглядывали на Ксюшину хату, вспоминали о «чудесах»: то за ночь у нее, словно в сказке, вдруг окажется поправленной крыша, то вскопанный огород. Посудачат, посудачат, и все.

— Да сиди же ты, ирод, — говорила после этого Федору Ксюша и грозила: — А не то иди, объявляйся!

Притихал Федор. Лежал в кротовьей норе своей, уставившись в землю, упершись носом в истлевшие тряпки. Видеть, кажется, мог теперь он и в темноте — эту

изморось на слизистой плесени, дождевые паливы на стенке, где сквозь глину вели наружу черноземные жилы — бывшие корни деревьев. Это по ним сюда веснами затекала вода, тянуло кой-когда воздухом, а знакомая мышка приходила и уходила по ним в поля, под скирды. Когда вздумается. Когда нужно... А ты, Федор, не можешь. Ничего ты не можешь. Вот выйдешь, объявишься и — к стенке тебя, и опять сюда, в землю. Только тогда уже не услышишь ни этих капель, ни шороха мышки, ни босых Федькиных пяток над собою по сенцам — ничего.

А еще через год он совсем заплошал, почувствовал, что не может не только думать, но даже и вспоминать. И только из жалости, отец ведь ее детей, Ксюша продолжала подавать ему в яму питье и еду.

Осенью в сельсовете украли деньги. Их привезли из города, не успели раздать и оставили в сейфе на ночь. Унесли в окно вместе с сейфиком. Понаехало милиции. На машинах, с собакой. Собака привела всех прямо к Ксюшиной хате, ткнулась носом в творило.

— Это что же за фрукт? — удивился участковый Ермолкин, когда предстал перед ним во всем своем облики Федор. — Ну и красавчик... А ну, давай выкладывай кассу!

— Федор! — ахнули в толпе. — Гля-ка: Федор! Откуда?

Федор стоял, тыкаясь своим мутным, невидящим взглядом то в стенку, то в колени Ермолкина.

— Кассу,— горько, как-то навзрыд заговорила Ксюша. — Да вы поглядите: да что он может! Ведь кассу взять нужна сила...

— А что же ты, милый, тут делал?

— Сидел, — вздохнул Федор.

— С какого, позвольте?

— С октября сорок первого.

Участковый заглянул в творило и съежился.

— Н-да... В тюрьме, скажу тебе, легче. Прогулки, скажу тебе, и питание. А ты, выходит, сам себя заточил?

— Сам.

— Постой, постой! Да ведь уж несколько лет, как вашему брату амнистия! — хлопнул по лбу себя участковый и расхохотался: — Вот это фокус! Перестарался, выходит, а?

Хохотала толпа, вместе с нею и Ксюша, и Федька — Федоров сын; и сам Федор, тощий и жалкий, хохотал, открыв свой бездонный, щербатый рот, глядя на всех слезящимися от света глазами. Хохотали все пуше, забористее, тыкая пальцем в Федора, хватясь за бока и за сердце, чуть ли не падая наземь.

— Хватит, — первым остановился Ермолкин, равнодушно махнув рукой, затерялся в толпе.

Федор стоял, озираясь, не ведая, что делать. Кто-то крикнул: «В сельсовет его!» Кто-то вспомнил о Федоровом отце, который одиноко доживал свои годы в хатенке за Косорецким оврагом.

Федор стоял на площади, поодаль от всех, и видел, как с другого конца деревни надвигается люд на него. Впереди шел с Георгием на груди седой, совсем белый старик, осторожно неся свое ветхое тело. Он шел, и бабы вздыхали, утирали глаза, поворачивались вослед.

Заходила над лесом туча, обкладывала всю Андроновку. Федор стоял, опустив плечи, черный, дикий, всклокоченный. Взгляды их встретились — Федор понял: прощенья не будет! Но слабое подобье надежды взяло верх. Он просипел:

— Прости, отец! — и упал на колени.

Старик стоял, не шевелясь. Лишь ближним видать было, как вздулись и заходили на шею старика синие жилы. А туча уже нависла над колокольней, над холмами, над фермой. Воздух стал сух и прозрачен, ракета перестала мотать рукавами.

— Прости, отец! — едва прошептал Федор и положил голову на сапоги старика. Галка сорвалась с креста колокольни и с криком упала в пролом от снаряда.

— Ты не мой сын — глухо выговорил старик. — Мой сын погиб... в сорок первом...

— Я, я твой сын, Федька, разве не узнаешь? Смотри, ну смотри!

Старик шатнулся, но его тут же подхватили, поставили на ноги. Он глядел куда-то ввысь — на колокольню, тополь, на хату Полюхи-горюхи, где стоял в гнезде анст. Слезинка текла по сухой стариковой щеке.

Кто-то в толпе тоже захлюпал носом. Толпа зашевелилась, надвинулась на Федора.

— Ирод, — закричали в ней, — опозорил отца! Деревню свою опозорил!

— Ты вот остался, паразит, — закричала Полюха-горюха, — а мово немцы вон на том тополе!

— А мово под Берлином.

— Под Орлом.

— Под Понырями.

— Сволочь! Бей его, гада! Бей!

Толпа шла на Федора — страшная, смертная. Бабы засучили рукава, взметали ввысь кулаки. Федор пятился, прижимался к плетню, искал жадной рукой калитку.

— Господи, — крестилась в сторонке старушка, — господи, не допусти смертоубийства.

Над головой полыхнула молния, потом еще. И еще. Словно прогрехотало с десятков телег.

— Люди! — бежала по улице счетоводка Настасья. — Фекла Кривова горить! Молоницей сейчас.

Толпа вздрогнула и отступила от Федора.

— Горить? — очнувшись, переспросила Полюха-горюха. — Фекла горить?

— Молоком надоть, — сказал кто-то не очень уверенно.

— Команду из города.

— А ну, все за ведрами! — скомандовала Полюха-горюха и первой бросилась к своей хате.

Федора дергало, знобило, тошнота подступала к горлу. Не замечая ни огня, уже бившегося в хате напротив, ни отца, лежащего снопом на дороге, по плетню, по плетню он протащился к калитке. Шел огородами, межами, сослепу натываясь на вишенье и малинники. Бежал, выдерживая из штанов пояс ременный.

А впереди, на погосте, кружило с криками черное воронье. «Что ж это я?» — испугался вдруг Федор и остановился.

Осень 1969 г.





Жил человек, и никто не знал, как он жил и как умер. Ни фамилии не знали, ни роду-племени. Считали его прибывшимся, с чужих краев, кого только война ни прибывала. Звали того человека просто Тиша-грудан. Тиша — потому что был тише воды, безответный, грудан — потому что убогий. С годами он стал для махонького райгородка Сосновска чем-то вроде достопримечательности, как бы вместо взорванного в войну храма — точной копии Софийского собора в Киеве. Вокруг биографии Тиши-грудана, заполняя белые пятна, велись всякие мифы, тут уж каждый мог отличиться. Это поднимало духовную жизнь, отвлекало от извечных забот о картошке насущной, а также от сплетен друг на друга и кляуз, на что были здесь превеликие доки.

— Все жалуемся, все плохо живем,— перекидывала на соседский огород свое мнение какая-нибудь Варвара Ивановна какой-нибудь Анподисте Геннадьевне. — А Тиша-грудан уж куски не берет. Деньги ему подавай, ай эти... пустые бутылки.

— Бутылки, кума? Ну их к врагу. Хуть бы все собрал да в овраг куда. Совсем мужики захлестнулись...

И был для всех Тиша-грудан так привычен, что попробуй он куда-нибудь деться, в душах образовалась бы яма. А так особо не волновались: как живет, на какие шиши? Живет да живет. На милость людскую. Есть кто-то рядом, кому всегда хуже, чем, скажем, тебе, и то ладно, и то хорошо... Сколько стукнуло ему — было понять невозможно: и старый, разбитый, и еще моложавый. По лицу шрамы, шрамчики, белые пятна, словно выжжено чем-то. В общем, странный такой человек...

И зимой и летом Тиша-грудан ходил в застиранном пиджачке с голой, багровой в морозы грудью, в калошах-шахтерках на нитяные носки или вовсе на босу ногу. При этом шаг у него получался длинный и мягкий, кошачий. Короткое тело нес он бережно, ровно, держа голову прямо, что дало мужикам в пивной повод счесть его за бывшего дворянина, деникинского офицера, ко-

того недорубила в гражданскую конноармейская шашка. Сторонники этой версии подкрепляли мысль неотразимейшим доводом: все сейчас — посмотреть — выходцы из простого народа, а куда ж подевались левые, к примеру, эсеры? Завзятые рыбаки, у которых удачливый Тиша-грудан частенько отбивал «хлеб», видели, как Тиша-грудан берет на крапивку обыкновенных лягушек, а потом в кустах жарит и ест. «Все ясно, — подводились итоги, — парижская выучка».

И только женская часть Сосновска считала Тишугрудана несчастным с рождения человеком и потому привечала его, подавала ему с состраданьем. В первые годы мужики намекали, что корявый нравится бабам, потому как весь ушел, дескать, в сук. Но потом успокоились и самые язвы, Тишу не обижали. Дважды сосновцам было по-настоящему не до Тиши-грудана: когда на Петровке поблизости заложили серьезное производство — филиал одного из московских заводов и еще когда стартовал с Байконура выпускник местной школы...

Где обитал Тиша-грудан — было тайной, пока ребята не наткнулись случайно на Тишино логово. Самые лютые морозы он переживал на Подгородненской ферме: заползал на крышу кормокухни, где проходили трубы запарника, лежал там в обнимку с трубой. В таком положении и застали его ребята. Этот факт обсудили на заседании горсовета, было принято развернутое решение вырвать эту позорную страницу из летописи Сосновска. Тише-грудану выделили комнатку в доме у самого кладбища, но он в нее не пошел. И вскоре вовсе исчез с горизонта. Поговаривали, что Тиша-грудан испугался соседства с санитарным врачом Копыловым. Замечали, что при встрече с Копыловым Тиша перебегает на другую сторону улицы, угибается, словно ожидая удара, и, как всегда, когда сильно волнуется, стряхивает левую руку указательным пальцем сверху вниз, сверху вниз, в землю. И в этом была какая-то тайна.

Тиша-грудан исчез с горизонта, не выходил из своей постоянной обители за городом, на «салотопке» — так называли овраги и врытую в берег оврага землянку, где до войны забивали больной скот. Место безопасное, тихое, но с дурной славой. В исторически недавние времена здесь высился девственный лес, в овраги сбрасывали лошадей и коров, павших от сапа, сибирской яз-

вы, чумы. Позже под пнями зарывали трупы бродячих собак. У жителей городка, поднявшегося среди болот и потрясаемого вспышками малярии и туберкулезом, на «дикое сало» — собак, барсуков и медведей — издавна чуть ли не молились. А поскольку вслед за лесами здесь исчезли барсуки и медведи, оставалось уповать на собак. С них и драли, разумеется, шкуру.

В последние годы и «салотопка» бездействовала, поскольку бродячие животные отказывались бродить, скот предпочитали отправлять в мир иной по месту жительства или на мясокомбинате. Мрачная же слава за «салотопкой» держалась. Здесь-то и обитал постоянно Тиша-грудан.

Перед землянкой стеной стояли многоцветные мальвы, возле которых в траве валялась дырявая лейка. Мальвы делали сумрак в жилище более плотным, а в солнечные дни светло-зеленым, каким-то русалочьим, как на дне неглубокой реки. Земляные стены были обшиты где фанерой, где ржавым железом, кое-где оклеены газетами и картинками из журналов. В углу ютилась печурка, возле нее деревянный топчан, служивший и столом, и постелью. Тут же лежали кое-какие тряпки и съестные припасы: стеклянная банка с рафинадом, иссохшая луковичка, кусок сухаря. В открытую дверь сосна вечно шумела, вздыхала, осина все трепетала.

Вечерами Тиша-грудан сидел у печурки, грел озябшие руки. С пизины натекали свежие токи, начинала побаливать голова. К летней боли в висках он привык, страдал лишь под зиму, когда крепкий ветер пачинал задирать голову осине и моросили дожди. Тогда словно раскаленные прутья протыкали мозги... Как когда-то в гестапо... Этот санврач... этот гестаповец давил его металлической дверью, трещали кости, вся грудь... Молния ударяла в темя, Тиша валился ничком на топчан. Из угла на него смотрела старая рыжая жаба — его напарница по землянке, его помраченье, болезнь.

После случая с комнатухой Тиша-грудан появился на людях бледнее обычного. «Постарел как, — замечали с грустью сосновцы. — Оно и сами не молодеем».

Никто никогда не слышал от Тиши ни единого слова: глухой не глухой, немой не немой. Сходились на том, что Тиша-грудан не слышит, но схватывает по губам, по уголкам губ, если стоишь к нему боком, потому и нельзя, когда говоришь с ним, поворачиваться спиной.

Невозможно было представить Тишу глухонемым от рождения, и тому причиной были его глаза...

В эту зиму его приодели. Дали теплую шапку, сапоги с прожженным голенищем, солдатский ремень.

— Тиш, пиджак-то у тебя подносился и спины не выручишь, — остапавливала его какая-нибудь Анподиста Геннадьевна. — Приходи, понщу чего-нить, от деда осталось, царство ему небесное.

И Тиша-грудан облачался в засаленный, вытертый на запахе и под плечами, но все же кожух.

В зиму, когда особо нечего делать, принялись поговаривать о том, чтобы Тишу отправить в дом инвалидов, но пришла весна, начались огороды и было уже не до него. Но вот отсажались, и снова общественность вспомнила про дом инвалидов. Особо усердствовал санврач Копылов.

— Дался Тиша тебе, — вступалась какая-нибудь сердобольная Варвара Ивановна — активистка десятидворки, рабочая маслозавода. — И чего человека трепать, он же не рикошетит.

И совещалась со своего огорода с соседкой Анподистой Геннадьевной:

— Ой, чует сердечко мое! С этим Тишей что-то не то. Скидается он на одного человека... Ты-то не замечала?

— На кого скидается?

— Ухваткой, походкой скидается.

— Ты же, кума, активистка, а куда-то гнешь не туда, — отвечала ей Анподиста, приемщица ларька «Стеклотары».

«Стеклотара» эта всем давала ума. Постоянные сборщики поделили весь городок — стадион, парк, берега пруда, кюветы у магазинов — на зоны влияния. Вне конкуренции был лишь Тиша-грудан. Причем брал он всего три-четыре бутылки в карманы — на хлеб, к остальным был уже равнодушен. Если кто-либо из сборщиков приходил после воскресенья с мешком и сильно жадничал, Тиша-грудан бледнел, оскалываясь, без конца стряхивал левую руку указательным пальцем сверху вниз, сверху вниз, в землю.

Вот на этой, бутылочной почве и произошло у санврача Копылова с Тишей-груданом столкновение. Тиша нес в «Стеклотару» свои три-четыре бутылки, как вдруг внимание его привлек человек в лопухах. Он то делал

стойку, как охотничий пес, то прижимался к земле. Тиша продлил его взгляд и уперся прямо в окно ларька Анподисты. Тиша присел за сирень и через несколько минут стал свидетелем того, как, вода носовым платком по прилавку, Копылов топал, кричал и совал Анподисте бумагу, от которой та шарахалась в сторону, плакала. Тиша-грудан не выдержал, вышел из своего укрытия и, стряхивая левую руку указательным пальцем сверху вниз, в землю, взял Копылова за шиворот. Копылов так и присел...

С этой встречи Копылов с Тишей обходили друг друга. «Черт их знает, что у них на уме... у идиотов-то, — думал Копылов, примечая издали Тишу. — Не рикошетит, не рикошетит, а потом как ахнет. А какой спрос?.. Вот так укладываешь все силы, а на тебя волком. Как какой интервент живешь. Просто жить — скулы сводит — противно».

Со «сведенными скулами» Копылов к весне доработал до пенсии, получив благополучно квартиру у кладбища, где в том же большом доме в свое время помещали и Тишу. Дверь в дверь, носом к носу с ним, Тишу-грудана напротив бывшего санврача Копылова. Что после этого сделал Тиша-грудан, известно: он забился в свою «салотопку». А вот бывший санврач настолько разволновался, что стал обивать пороги всевозможных госучреждений, доказывая, что он «укладал для народа здоровьишко» не для того, чтобы в один прекрасный момент какой-нибудь идиот, ненормальный, придушил его на заслуженном отдыхе. Поскольку кандидата на поселение в комнату не было, естественно, не было кого и выселять. Так в чем же вопрос? Так в горсовете Копылову и заявили.

Гораздо большее впечатление столкновение с бывшим санврачом Копыловым оказало на Тишу. Большое воображение Тиши вспыхнуло, в висках заломило, в уши ударила мина. Тиша-грудан стал сторониться людей, подозрительно смотреть на всех, а потом и вовсе залег на своем топчане. И все думал, думал... Этот Копылов... лисье лицо... втянуты щеки... тот гестаповский офицер... Откуда он здесь и зачем?.. Все это придавало расстроенным мыслям Тиши-грудана новую силу.

Порою ему казалось, что все в Сосновске совсем не те, за кого себя выдают. Пашут, удобряют, опрыскивают — перестали петь птицы, пчелы летать. Какие хозя-

ева? Хозяева будут потом, когда сдвинется фронт, с наступлением. Переоделись все, ходят, пюхают друг против друга, чтобы донести, изломать, растерзать. Под простыми поясами у них солдатские бляхи, под пиджаками — витые погоны. Как-то, перед пивной, в гуле хмельных голосов он так явственно различил под тонкой материей контуры этих погонов, что, не поборов искушения, подошел и потрогал плечо незнакомого ему человека. Тот отпрянул, но ему объяснили, и он успокоился, покачал головой.

Когда где-то за лесом собиралась гроза, Тише воображался гул танкового сражения. Он без устали лазал по зарослям и буеракам, все искал пушки, танки, самоходки, полевые кухни и склады — запомнить, выяснить, сообщить. «Запомнить, выяснить, сообщить», — стучало в висках на постели. «Запомнить, выяснить»... Выплывало из крови лицо Нади-радистки. Там Копыловы-гестаповцы лили на нее льдистую воду, тут мозги его — кто он такой, кто он? кто? — раскаленно шипели, все меркло.

Мозг его, истощенный непосильной работой, сдавал, лицо желтело и морщилось, тело ссыхалось. Могучий некогда организм изнемогал под тягою дум. Он так силился вспомнить: кто он? откуда? зачем здесь, в этой землянке, на топчане, в этом зеленом нептуновом царстве, у окна, за которым уже зацветают красные мальвы?

Он умирал в стороне от глаз, в одиночку. И никто так и не узнал о его последнем желании. А оно, желание, было. Когда губы уже перестали слышать шелест наглежащих мух, луч заката рванулся в оконце и, вспыхнув, через глаза осветил ему всю темноту головы изнутри: он, наконец, вспомнил себя, дом свой и улицу, мать здесь поблизости, в Сосновске. И себя мальчишкой. — как был, так и умер весь в мечтах промчаться босиком в Тиняков березняк. По росе, по траве, по грибы...

А Сосновск, как и вся страна, в это время готовился к празднику. Люди встречались, плакали, вспоминали. В редакцию местной «Звезды» пришло одно небольшое письмо.

«...Нас было двое, заброшенных в сорок третьем в Сосновск: лейтенант Константин Константинович Ширяев — командир группы, и я, радистка. Мы прятались где-то за городом, в так называемой «салотопке»... В

эфир выходили каждые сутки: через Сосновск проходило снабжение фронта, мы давали ценные сведения. Их приносил Константин Константинович, Костя — обаятельнейший человек. Я, наверно, любила его. Иногда он читал мне стихи:

Я знаю: жребий мой измерен...

У него были красивые глаза. Иногда он приносил мне домашние пирожки, он говорил — от мамы. Он знал каждую шелку... Он ничего не сказал. У меня на глазах ему раздавили грудь дверью, и я потеряла сознание... Благодаря ему и живу»...

Весь городок ахнул: Костя Ширяев и Тиша-грудач. Это же Тиша! Стали вспоминать его походку, движения рук, головы. Но глаза так и не могли вспомнить.

— Да зеленые ж они, зеленые глазыньки, — аж приседала от волнения Анподиста Геннадьевна в разговоре с Варварой Ивановной. — Когда Копылова за шиворот взял, они так и сверкнули — зеленые!

— Я ж говорила, он на кого-то скидается, — сообщала всем Варвара Ивановна. — А на кого — не пойму. На Ширяева Костю!

Всполошился Сосновск: стали искать самого Константина Константиновича, хоть кого-нибудь из Ширяевых! Никого. Всех расстреляли. И тогда понятно стало, почему расстреляли и почему всех, всю семью.

...Жил человек, и никто не знал, как он жил и как помер. Ни фамилии не знали, ни роду-племени. И только недавно пришел в парк Феоктистыч, — маляр с ремонтной конторы, и на обелиске над братской могилой, на котором написано: «Они погибли за Родину», вывел черным в самом конце: «Ширяев Константин Константинович». И первый стакан теперь в Большой День солдатский, общенародный поднимают в Сосновске ныне за освобождение и добавляют: «За нашего Константина Константиныча».

9 мая 1973 г.



УРОКИ РУССКОГО



(Фатьяновские соловьи)

(Автобиографический рассказ)

Орловщина готовилась к полустолетию своего освобождения от пришлых врагов, от захватчиков. И все вспоминали о принесенном на алтарь: кровавых жертвах, сожженных домах, стертых с лика земли деревнях. А я подумал: а что светлого оставило мне, мальчонке тогда, это освобождение? Золотой век ведь всегда позади. А мы все, поколение наше, родом из детства, мы — дети войны...

...Они уходили осенью — в дождь, в распутицу, — последний батальон. Сгорбясь, командир сидел на лошади с кучым хвостом, весь заляпанный грязью. Бойцы чавкали разбитыми сапогами — не глядя на нас, измученные; сыночки наши, защитники, — на кого ж вы нас покидаете; на что мы обречены?

А вернулись — молодыми, розовощекими, в полушубках и с автоматами, сибирская часть. И мы стояли у погорелого — измученные, едва только что не сгоревшие заживо и улыбались им, и я у коленок матери. А месяца через полтора мы, пацаны, шмыгнули за спину автоматчикам, во двор школы, к кучке военных, и я, здрав голову, стоял и глядел на высокого дядечку — «хозяина», самого Рокоссовского, и он распекал своих генералов, хлопая то и дело хлыстом по хромовому сапогу.

И вскоре они опять уходили. Но теперь уже с нами. И тут уже недалеко — километров за двадцать, в Луковец, в своем же районе. И, выпучив глаза, мы с дедушкой тащили сундук на приделанных им колесиках — мастерство его рук, то единственное, что не сгорело, осталось. И там же, в Луковце, мать учила буквам меня: осенью в школу, в первый раз — в первый класс.

— Это «А», это «Д»...

А где-то гремит канонада. Над нами воздушный бой,

«ястребки» бьются насмерть. И на фронт, под Поныри, везут артиллерию, а с фронта... а с фронта...

— Мама, мамочка! Отпусти меня, я их провожу!

— Это «Д», это «О», это «М»...

Клубом катятся голоса, визг собачий — собачьи упряжки, раненые в тележках — в госпиталь с поля боя.

— Мама, мамочка! Это же наш Угрюм, он отыскался, он жив!

— Где Угрюм, где?

Мать глядит в одну сторону, я шмыг за сарай — и в другую.

— Безотцовщина, неслух! Гляди у меня!

И днем я катаюсь на танке — вои они, «битые», еще пахнут гарью, у нас тут ремонтная часть. А вечером я с ремонтниками сижу у костра, на коленях у дядечки — чистенький, в белой рубашечке. И он, смазной, гладит меня, упрекает:

— Чего же ты матерю-то не слушаешься? Она тебя грамоте учит... А отец где? Ясно, где все... Учись, сынок, дело такое. Нельзя нам без этого дела, видишь, как истекаем кровью? Безграмотным землю свою не защитить...

И вот тебе первый урок русского. И тут же второй, когда из штанов я вытаскиваю всякие там патроны, винты-шурупы со дна «битых» танков, один из шурупов — тоже промасленный, черный, но с розовой косточкой, — палец...

И вечером на плече моей матери плачет молоденький лейтенантик. Письмо получил — все в блокаде погибли, а завтра в бой. «И я сгорю завтра...» И днем узнаем от прибывших с передовой: люки заклинило, горел на нейтральной — кричал...

И слезы в глазах у матери, и слезы во мне, мальчишечьи редкие слезы. И это все — сорок третий, то самое, что после назовут «Орловско-Курской дугой». И это всем нам еще один такой — огромный урок!..

А вечером снова костер. И берег Сосны. И танкисты. И подходит с газеткой пехота — свеженькие стихи.

Только речь перед кончиной
Он какую произнес?

И только потом я узнаю, что это — Твардовский.

И мы поем, поем, поем всякие песни. Их много у нас, какие же все красивые! Душа замирает и падает,

падает туда, где отщелкивается от нас соловей. И только потом узнаю, что это — Алексей Фатьянов. Такой человек и поэт. А мы еще говорим что-то — нужны стихи людям или не нужны. И это еще один урок русского.

Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат.

Не знаю, слова эти, может, и написаны позже тех дней. Но, кажется мне, оттуда они — от костра на Сосне, от танкистов, уснувших к утру под глухую, отдаленную канонаду, под щелканье соловьев...

Как велел мне тот дядечка, тот солдат наш — танкист, так я весь век и учусь. Осенью наш Малоархангельск окончательно освободили, и я пошел в первый класс. А потом уже, после института, приехал обратно сюда, в тот же Луковец. Надо же, был сам учителем, там, где солдаты учили меня, давали мне первые уроки русского. Вот и в трудовой книжке записано: «Луковская средняя школа... Учитель русского языка и литературы, истории...»

И вот, уже сам давая уроки детям, что я говорил? О доблестях, о подвиге, о славе. Труба и лира, мужество и любовь. Новые времена — новые песни, а музыка та же. Как меня учили солдаты. Как учили петь соловьи. А может быть, что-то во мне и от генов: и мать моя пела по молодости в еще первом, крестьянском хоре у Пятницкого, и дядьки мои — братья материны делали гармони и балалайки. И все они, дяди эти мои и наши отцы, не вернулись. И я в семье уже семи лет стал из мужчин тогда старшим, кроме, конечно, дедушки — отца не вернувшихся сыновей...

Меня научила петь песни сестра. Послевоенными долгими осенними — голодными вечерами они с подругой брали в руки гитару, подсаживались к горящей печке и, чтобы обмануть свои пустые желудки — самим обмануться, запевали и пели на два голоса, и я к ним пристраивался:

Бьется в тесной печурке огонь...

Это, конечно, не фатьяновские слова — другие, но фатьяновские песни, как и, впрочем, другие, мы знали все.

Вот о чем говорил я в школе, давая уроки русского.

И дети пели вместе со мной, когда, помнится, мы соби-
рались в хор и пели под Новый год для отцов и мате-
рей. И это тоже были уроки русского. Ах, какие то бы-
ли уроки, наша русская речь!..

Но вот я уже и писатель. Пишу свои книжки, а это,
скажу вам, дело не легкое. И первой книжкой у меня,
как и первым уроком, была книжка такая — «Берестя-
ные песни». Почему «песни»? Сказал уже. Почему «бе-
рестяные»? Не знаю, но скорее всего в своем поэтиче-
ском космосе я попал, что называется, в самую точку.
По гороскопу я, оказывается, «береза» — родился в
день такой — единственный в году, под венец лета, в
День Русской Березы. Я — под ветвями березы, под
крылом матери своей Марии, под защитой — солдат.
Они научили меня Мужеству и Добру: ковать из меча
орала, но не из орала — мечи. И это мне, может быть,
самый важный урок...

Трудно, брат, на пути, нелегко. А тут еще эти враги
(ей-богу, а как их еще называть?) и откуда берутся?
Кто-то плодит их, сами, что ли, плодятся, оттого что
взялись за соловьиные песни, а не соловьи?

А у меня перед глазами — пример. Уходил из Орла
Алексей Фатьянов в сорок первом, как тот батальон,
под дождем, измученным, страшным в составе войск
Орловского военного округа, где был он художествен-
ным руководителем. А вернулся в сорок третьем — пес-
ней, солнцем в каждое сердце, красивым. И ведь не ка-
кой-нибудь литературный генерал, не обласкан был
свыше — поэт просто, талантливый человек, всего лей-
тенант, а как все у него получилось. «Опять, Алексей
Иваныч, — останавливал его кто-то на улице, — тебя
обошли?» — «Да нет у них для меня ничего такого, —
отшучивался Фатьянов и добавлял: — Подбирают...» И
шел он, рассказывают, как-то мимо, а тут в общежи-
тии — песня, его песня, поют молодые. Зашел к ним
туда, да там до утра и остался...

И когда в Орел 5 августа — к полувеку освобожде-
ния приезжали друзья, на встрече в Доме писателей,
что на обрыве, я увидел жену Фатьянова — Галину Ни-
колаевну. «Скажите что-нибудь гостье». А что я ска-
жу? И я запел тогда, помните?

Майскими короткими ночами...
Соловьи, соловьи...

И гитара нашлась, да какая! В десять струн — целый оркестр в руках виртуоза Рафаэля Аюпова. Как мы пели! Как пел Алексей Фатьянов опять и опять вместе с нами! И жена Фатьянова поцеловала меня за «соловьев». И тогда не смог я ничего ей сказать, как отшибло, пусть сейчас хоть все мое про Алексея Фатьянова передаст этот рассказ.

Золотой век не забывают. И это, дорогие, тоже урок нам русского. Соловьи — они вечны. А песня — что мехи у гармони: быть не могут без воздуха, как без звука на стяг и растяг.

И когда мне бывает трудно, я вспоминаю. За спиной у меня — те солдаты, их уроки русского, и они у Сосны-речки — те фатьяновские соловьи.

2 ноября 1994 г.



Вот уж как две недели Шурочка ночует в узеньком, тесном коридорчике редакции газеты «Глас демократии». Спит она на трех колченогих, расшатанных стульях, подложив под голову вместо подушки жестковатую хозяйственную сумку из дерматина и укрывшись ветхоньким своим пальцем. Сюда из милости пустил ее редактор Антон Пеликаныч — добрейшей души человек. До этого Шурочка ночевала то на той же помойке, то в зарослях ивняка на берегу Оки, а то и прямо на кирпичках недостроенных зданий. Но подоспел октябрь-месяц и почевать на улице стало невмочь, к утру у нее даже волосы примерзали к этому дерматину.

В знак благодарности Шурочка теперь подметает и моет полы во всех кабинетах, разносит «благотворительные» номера газет по адресам, да и просто иной раз отвечает на всякие телефонные звонки после рабочего дня или когда в редакции нет никого. Получается, она тут вроде за сторожа или «ночного» редактора. Ей тут все **доверяют: кабинеты и столы** нараспашку, бумаги у них лежат по столам. С крышей над головой жизнь-то не такая уж и собачья. И только дважды она плакала за эти две недели: когда бухгалтерша забыла закрыть сейф и Шурочка испугалась, кабы чего не случилось. А во второй раз — когда разносила по адресам газеты; она плакала там же на речке: не могла отличить правый берег Оки от левого. Чужой, незнакомый город, и она в нем чужая...

Шурочка из заключения тому каких-то четыре месяца. Пришла сюда еще в середине лета, когда было холодно, все время лили дожди и яблоки не успели. А в этот коридорчик привел ее чуть ли не за руку сам Антон Пеликаныч прямо из районного отдела милиции. В милиции Шурочка хлопочет о выдаче документов — паспорта. Кроме справки об освобождении, и то под чужой фамилией, у нее нет ничего. И вообще ее как бы нет. Нет, и все. Нигде, ни в каких списках она не значится,

даже в той же Шаховской колонии, где она отбыла свой срок от звонка до звонка...

— Господи, — шепчет сама себе Шурочка, крестясь в темный мышинный угол, и трогает одной рукой себя за другую руку, ощупывает свое худое, какое-то иссеченное, постаревшее тело, ветхонькую кофтенку, расплзшуюся на впалой груди, юбку из грубой мешковины, поправляет на голове красивый платок, подаренный ей на днях Инной Утцевой, здешней сотрудницей.

Да, она, Шурочка, есть, существует. И это не сон. Ей хочется пить и есть. Она протягивает руку к поллитровой стеклянной банке в головах на столе. Слава богу, воды сколько хочешь. А последний кусочек хлеба она съела еще вчера. А есть и сегодня ведь хочется, в животе бурчит и попискивает, ишь, идол — старого добра не помнит. Когда начинает и вовсе тошнить, а в голове темнеть и кружиться, Шурочка стискивает до боли глаза и затихает, лежит тихой мышкой...

Про нее, ее «честность» уже знают во всем дворе, в соседних домах и соседних конторах. Ее и зовут к себе то сторожем в магазин, то уборщицей в исследовательский институт, — мыть и мести их «гектары» полов, а то и нянечкой — в детскую больницу. Но не может Шурочка уйти, оторваться отсюда. Антон Пеликаныч обещает выправить паспорт, вернуть ей «лицо», снова сделать ее «человечком»...

Где-то там, далеко-далеко, в Челябинской области, остались Шурочкин дом в деревне, хозяйство: две коровы, два поросеночка, шесть овец с ягнятками, тридцать гусей, тридцать одна индоутка, две кошки, собака Рыжик... Господи, и все это, наверно, прахом взялось, ничего не осталось... Но самая тяжкая тягость из всего — так это думки о сыне, он где-то на Дальнем Востоке, а у сына — семья, дети — ее, Шурочкины, внучата... А муж Шурочкин — Петр Николаич — умер уж лет семь тому прямо в поле, в борозде, когда пахал под зябь. Помнится, она уезжала в райцентр, в прокуратуру, отвезти им какую-то справку, так ветер трепал пустой калиткой...

Самое тяжкое, что за эти четыре года она не смогла написать сыну ни строчки, не получила от сына ни одного письма. И не потому, что ему стыдно за мать, она у него такая — тюремщица, а скорее потому, что ему и писать-то некуда, некому. Нет ее на белом свете, про-

пала она, ни в каких жизненных списках не значится. Вот как все хитроумно устроено. А она есть — вот она, есть! Смотрите, разговаривайте с ней, опрашивайте, хоть сейчас, сию минуту, она свободная, освободилась, не за колючей проволокой...

Шурочка протягивает руку к столу. Нашупывает стеклянную банку, опять принимается пить тепловатую, жесткую воду из-под крана. До чего же противная тут она, эта вода! Известковая, Орел, говорят, стоит на известняках, и люди часто болеют из-за камней в почках, а чтобы пиво варить хорошее, так воду везут, говорят, откуда-то, правда ай нет, аж из-под Брянска. ...И откуда это пахнет колбасой, сливочным маслом, ей-богу же, колбасой?..

А есть как хочется! Как хочется есть! Хоть бы скорее уж ночь проходила, скорей бы, что ли, рассвет. Хотя, господи! Что толку-то, что ночь сменяется днем, а день — ночью. Все равно небо низкое, и машины мимо окон бегут и бегут. Как сорвутся с утра, затрезвонят трамваи, так и колотят по рельсам до позднего часа...

Кряхтя, Шурочка сползает со своей лежанки, принимается ходить угловатой, мужской походкой по коридорчику. Туда-сюда, туда-сюда. Ничего, что тесно, она к близким стенкам привыкла. Это в телятнике, где она являлась старшей телятницей, бетонные стены были не видать где, огромные потолки. А счастье да разве же было когда? Вечно в резиновых сапогах, ревматизм там себе зарабатывала. На животе своем, в фартуке, большие тысячи тонн руками перетаскала, — тень тенью, рабыня двадцатого века. Вот теперь и отгрыивается, все щемит, все изнылось. И не знаешь, чего больше болит: руки-ноги, в желудке или душа? Она и тюрьму-то выдюжила, потому... потому как... жизнь там была еще ничего, жить можно: три раза в сутки кормили, и спала она иной раз на простыне. Да и работенка пустячная — мерить метром ткань для раскроя, после фермы-то пустяки...

Телефонный звонок прерывает мысли. Шурочка включает электрический свет.

— Это редакция... да, редакция... а вы скорее всего ошиблись... а вы не ругайтесь, не угрожайте... да, стою на защите демократии... а вам скорее всего надобно в вырезвитель...

Шурочка медленно кладет телефонную трубку. Тупо

смотрит в угол — на рулоны бумаги. Позавчерашний выпуск, газеты почти не распроданы. И если бы не торговля, не товаришко кое-какой (сейчас все конторы, оказывается, торгуют), — что было бы с ихней газетой? У них по городу — два киоска и один магазин. Сантехника, промышленные товары. Сама слышала, как Пеликаныч договаривался с кем-то по телефону о покупке автобуса, без которого «пу никак невозможно, нужен теперь позарез»...

Шурочка снова устраивается на своих кривеньких стульчиках, стулья выхляются, норовят уйти из-под нее.

— Опять этой колбасой прет откуда-то, — говорит она вслух. — А, наверно, с ума схожу... и сливочным маслом...

Сначала там, где погасла электрическая лампочка, начинает светиться потолок. Потом дверь, стенка напротив. На стенке обозначаются чьи-то горящие глаза — белые-белые кольца с зеленым посередине. Зелеными были ее глаза, когда это было? Когда она была еще молодой, до замужества. Когда любила своего Петра до беспамяतства, тогда и он был буйноволосым, не буйным, не плл...

По стенке пробегают тени от автомобилей на улице. Тени сгущаются, передвигаются, приобретают человеческое лицо, строгое, паистрожайшее выражение. Это лицо того человека, кому ей велели отвезти справку. Это — прокурор района, а она тогда была старшей телятницей и все же депутатом райсовета. И этот человек оставил ее там у себя... Не шуточки, куда-то подевались сто тридцать семь теляток. То ли был запутан учет, то ли «хвосты» ушли «налево», — доподлинно про это знало только начальство, откуда же знать ей про все махинации, она ведь была не материально ответственное лицо. Но то был 1990-й год. И отыгрались на ней, нашли крайнего. Она якобы оскорбила в лице прокурора юстицию.

Оттуда ее «продали» сюда, в женскую колонию. И укрыли под другой фамилией — умершей женщины. Тут она и отбывала срок сначала под одним именем, потом — под другим. Но даже в колонии, как и дома когда-то, ее звали все по-прежнему Шурочкой...

Опять по потолку перебегают автомобильные тени. И вот оно — это лицо прокурора, который приезжал к ним в Шахово. Она запомнила его — русоголовый, та-

кой моложавый на вид, почти мальчишка. Он внушал доверие. Освободясь, она явилась к нему в прокуратуру, прежде, чем войти, она заглянула в дверь, увидела его там и обрадовалась. Но он отбросил ее окриком: обождать! Она ждала час, ждала два. Прошел мимо дядечка, тоже в прокурорской форме, — важный такой, пожилой. И туда же, в ту же самую дверь. Она бы стояла еще неизвестно сколько, но проходила женщина. «Чего вы стоите?» — спросила. «Да жду вот», — сказала ей. — «Там же нет никого». И женщина потянула Шурочку к окну во двор: «Смотрите, они?». Они стояли уже возле машины. И женщина рассмеялась: «Первый этаж...». А Шурочка едва не заплакала: неужели и прокуроры, как мальчишки какие-нибудь, выпрыгивают так бессовестно в окна?..

Шурочка протягивает руку снова к стеклянной банке, пытается нащупать ее в темноте. Один из трех стульев выскальзывает из-под нее, и она оказывается на полу. Она поднимается, недоуменно смотрит на светящуюся стену перед собой: на ней, как когда-то у них там на деревенском экране, возникает, идет сюда к ним какая-то женщина — красивая и молодая. Шурочка впиается в нее взглядом и узнает в ней себя.

Шурочка проводит ладонью по груди — дырявая кофта, по бедрам — зачем эта грубая мешковина? Она сбрасывает ее с себя и в темноте остается голой, без ничего. Она ежится, ей становится как-то целовко, даже стыдно. И она подходит к рулону газетной бумаги, раскатывая ее, отрывает с треском длинную-длинную полосу и обтягивается ей — узко, по фигуре. Ей хорошо. Она улыбается. Она опять молодая, идет на свиданье к Петру...

Легкой, гарцующей походкой, Шурочка движется по коридорчику — туда-сюда. Ей тут все-таки тесновато, силы требуют выхода. Она толкает ближайшую дверь — это комнатка Инны Утцевой. Вот ее стул, телефон, ее вязаная шапочка на телефоне. Изорванные листы бумаги брошены мимо урны. Шурочка начинает подбирать их.

Светает. Шурочка берется за веник, сырую тряпку, берет жестяным ведром. Как всегда, утренняя уборка, но начинается она отсюда — с Инниной комнаты...

Неожиданно входит Инна.

— Чего в такую рань заявилась?

— А сегодня газетный день, надо идти в типографию... Я бы и сама, — как-то стесняясь, говорит Инна.

— Ничего-ничего, — прячет за спину Шурочка половую тряпку, как будто ее могут у нее отобрать.

— На зарплату Пеликаныч тебя еще не оформил? — спрашивает Инна.

Не успевает Шурочка ответить, как входная дверь отлетает в сторону, появляется сам редактор — ее благодетель.

— И еще один магазин покупаем, — бросает он Инне, быстренько проходя в свой кабинет, и тут же хватается за телефон.

Антон Пеликаныч названивает по вертушке — в Москву, по своему городу, в другие города центральной России.

А Шурочка как застыла, так и стоит с тряпкой в руке.

— Я их выведу на чистую воду, — летит время от времени оттуда в приоткрытую дверь. — Не как в прошлый раз — на сей раз «лимончиков» четыреста сдери в пользу газеты...

— Умственный мужик, — с уважением смотрит Шурочка в полуотворенную дверь.

Инна собирается в типографию. Телефон вырывается у нее, падает на пол. Обе сразу — Инна и Шурочка — кидаются вниз за аппаратом, их руки встречаются, и Шурочка неожиданно для себя ловит Иннину руку и неожиданно для себя целует ее. Вырвавшись, Инна, чуть ли не плача, выбегает в дверь.

А Шурочка уже выставляет из кабинетиков пустые бутылки. Многовато пьют мужики, а денег не получают, но ведь как-то выкручиваются. А ей бы одних бутылок этих на хлеб хватало бы, да вот беда: посуду в городе сдать невозможно...

Шурочка опять облачается в грубую свою мешковину. И принимается укладывать в сумку «благотворительные» номера газеты, что разнести не успела. Опять поташнивает ее, кружится голова, и опять этот помрачительный запах вареной колбасы. С ума сойти! Такую иногда выдавали у них там, в Шахово... и еще откуда-то, как из подвала, запах сливочного масла... Шурочка выпивает последнюю воду из стеклянной банки, растирает себе виски.

Во двор, под самые окна, вкатывается машина.

— Пеликаныч, ты здесь?! — входит редакционный шофер-здоровяк, каких поискать. — Привез тебе продавцов для нового магазина, оформляй...

После некоторой заминки возле двери Пеликаныч, наконец, открывает склад, среди всякой всячины из промышленных товаров Шурочка видит ящики с торчащими ввысь палками колбасы, а также сливочное масло, тушонку...

По стеночке-по стеночке Шурочка выходит из коридора отсюда на воздух. Какое-то время ловит пустым ртом резкий утренний дух. Затем перебрасывает сумку с правого плеча на левос, решительно спускается вниз по ступенькам. Идет по двору и, уже набравшись силенок, напевает под нос себе свою, уральскую:

Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы...

А навстречу ей девчата — медсестры из соседней детской больницы. Из-за угла выплывает важная такая, обширная женщина — директорша соседнего гастронома. Шурочка здоровается со всеми, и они здороваются с ней, как с равной. А директорша так и вовсе говорит, улыбаясь:

— Приходи ко мне, Шурочка, место для тебя берегу.

— Спасибо, Алевтина Петровна, — улыбается в ответ директорше Шурочка и старательно прячет за сумку свои узловатые, почернелые руки. — Я вот видите, чем занимаюсь: правду людям несу, счастьеце — паспорт себе зарабатываю...

И встряхивает сумкой с газетами, Выскользнув из сумки, бутылка дзынькает об асфальт. И гулкое эхо долго еще ходит по каменной мешковине двора.

1 ноября 1994 г.





И вот мы, — два поэта-кочевника, два поэта-скитальца, — прибыли на гастроли в Шаблыкино — глуховатый такой, отдаленный райцентр. Гостиницу здесь изображает из себя махонький, приземленный домишко в одну комнату с пятью вечно занятыми койками. И потому в прошлый раз мне пришлось бросать одеяло прямо на полуостывшей плите. Если и ныне не хватит «ранга» на потаенную комнату в здании администрации, чего доброго — ночевать придется на улице.

В знак особого к нам расположения — «сверху» позвонили в районную больничку, что за прудом, в знаменитом Киресвском парке. И дежурный врач любезно согласился принять нас: есть тут одна комнатенка, правда, как лед, холодильник. Если согласны — ночуйте...

Друг мой Санек Лонгинов сразу же отключился, спит, как убитый, мертвецки. А я никак не могу уснуть. В окно падает лунный свет, отсверкивает зеленоватым глазом в бутылке. Мы пили с Саньком еще с вечера, для «сугреву», чтобы не превратиться в пингвинов. А стенки, кажется, промерзли насквозь, серебром отливают. Мы — в царстве холода, у рта вьется парок, а ведь всего-то конец октября. Только что была золотая осень — и сразу мороз...

Все в комнате пронизано белизной: стенки, страшные эти — высоченные койки, на которых мы не лежим — возлегаем, даже лицо Санька. Луна падает в окно, усиливает белизну, делает комнату странно-мертвенной, мертвенно-бледной. Тревога, поселяясь в душе, не отпускает: это — больница, где-то должны быть люди — хотя бы шарканье тапочек, стоны больных, старческое покашливанье. Но — ни звука, мертвая тишина. Только шорохи, шорохи: иней сыплется со стены...

— Уж не в морге ли мы? — шевелятся, дичая, губы. — Трупы кладут на эти самые койки?

И жуть от такого прозрения. Луна утягивает в окно, к вековым деревьям, в знаменитый Шаблыкинский парк.

— Санск, — пытаюсь пробиться я в его богатырские сны.

Вотще! Одеваюсь и выхожу.

Вот он — парк. Вот они — голубые мечи. Луна такая круглая, бледная почная красавица, так одинока. Страшно смотрит сюда. А листья еще не сброшены, деревья мощны, в серебре, тверда от мороза земля. И странно, так странно состояние воздуха, там, где Луне удается пройти сквозь стволы, она образует мечи; они и стоят эти мечи — столбы голубые, и только покачиваются между стволами, едва шевелятся — от времени, от тепловатого пока еще дыханья земли. Какой странный отсвет на всем — пепельно-голубой; голубое — скорее всего от неба, от высокой миссии света, а пепельное — от миазмов пизменных, кладбищенского чернозема...

Когда-то здесь властвовали иные люди, иные и времена. К Киреевскому, на его знаменитые охоты с борзыми и гончими, наезжал Лев Николаевич Толстой. И эти голубые мечи, эти стволы, этот могучий парк с его лунным пепельным светом навеяли лучшие страницы «Войны и миру...». Наташа не могла спать, она вышла на воздух, к луне... И далее, далее где-то:

«— Так весело, как никогда еще в жизни! — сказала она, и князь Андрей заметил, как быстро поднялись было ее худые руки, чтоб обнять отца, и тотчас же опустились. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастья и горя...»

Подхрустывая палым мерзлым листом, я возвращаюсь в больничку. Ни единого светящегося окна, мертвая зыбь. Мне идти по коридору на ощупь — до нужной двери, до Санька моего, распластанного на этой странной, совершенно дурацкой койке. Странно все, очень странно, а главное, что мы находимся в морге в такую волшебную ночь...

Я двигаюсь по коридору, выставив руки. И вдруг упираюсь во что-то... мягкое, рыхлое...

— Кто это?! — содрогаюсь я.

— Я.

— А кто ты?

— А кто ты?

— Живой человек.

— Вижу, что живой. А почему голый?

— А вот, — взяв за руку, ведет меня человек за собой. — Вот кладовка и гроб. Я из гроба, я как бы уже не живой...».

«Ага! — мой мозг срабатывает мгновенно. — Ага, приятель, так это из-за нас твой гроб и ты в гробу оказались в этой кладовке».

— Идем! — и я веду его, голого, в нашу комнату — в морг.

План действий уже готов. Я снимаю Санькову одежду со стула и одеваю Призрака (так назвал я его про себя). Мы проходим по парку, луна смотрит на нас напряженно, с нашим приближением голубые столбы опадают, разлагаются на световые пятна у ног, на деревьях, на нас. Ближе где-то забрехали собаки, значит, дома неподалеку. У меня тут одна зазноба, а у зазнобы — муж подходящего роста. Туда и идем...

Залетаем в какую-то яму, попадаем в шиповник, кажется, все против нас, лицо от шиповника кровоточит, а глаз сведен и косит...

— Голубые столбы, — киваю я на белые лунные прочерки. «Не знаю, имеют ли призраки имена?».

— Голубые мечи, — улавливает он мою мысль.

— Мечи-и??

— Похоже также на нож хирурга, на скальпель. Я видел... Сосед летом умер, при мне брюхо резали...

— А череп долбили?

— И я опился... Сосед только своей, а я «роялю» хватил, заграничненького...

— Ну и дурак.

А сам думаю: «Голубые — да! Но неужели мечи? Мечи эти стоят над кладбищем, и мы идем по душам усопших, по пепельно-серым, голубоватым столбам»...

— Слушай сюда, — говорю я вслух («Слушай сюда, Покойничек, Призрак или как там еще тебя называть») и трогаю его за локоток для реальности. — Ты Эдгара По знаешь?

— Эдгара? Шпо... Шпона знаю, — отвечает Покойничек. — Но он не Эдгар, а Колька, Николай.

— Так вот у него есть рассказ. В общем, случай собраны, про тех, кого хоронили заживо.

— Сволочь он, этот «рояль»! — отворачивается Покойничек. — Своя, как в утке, перегорает, а этот...

— Так вот случай, говорю... заживо погребенные.

Описаны, и все в девятнадцатом веке... Что — сейчас, что ли, живых не хоронят?

— Свят, свят, свят, — крестится мужик на голубые столбы.

— Одну девушку где-то в Германии или в Италии, а то, может, во Франции в фамильный склеп положили... навроде как мертвой... в летаргическом сне...

— Лично я сплю нормально, — дергается мужик.

— ...И дверь склепа закрыли наглухо. А когда пришли хоронить другого, девица упала с двери и рассыпалась. А волосы все росли, золотились...

— Тихий ужас, не надо!

— А то одного гусара похоронили. На другой день друг его, тоже гусар, пришел на могилку-то помянуть. Сидит и чокается сам с собой, а земля шевелится, и голос оттуда: «Оставь хоть на донышке». Гусар-то бежать, а потом одумался, привел людей, разрыли — живой. И жил человек еще тридцать лет и три года...

— Дает наука! — смеется Покойничек. — У нас оттуда не возвращаются.

Идем по столбам голубым, и собачий брех то был слева, а теперь справа. Не увлеклись ли, не пролететь бы мимо.

— А то у нас в России, — говорю я, — в Москве слышал, мне лично рассказывали... Донской монастырь знаешь? Ну где сейчас патриарх? Так вот там Гоголя земле сначала предали. А когда стали перезахоранивать, так он в гробу лицом вниз оказался... И Пушкин...

— Что Пушкин?

— А то. В войну в Святых Горах насыпь от взрыва осыпалась, и гроб Пушкина обнажился. Оказалось, лежит не в таком положении...

Дом, где живет она, эта моя знакомая, где-то тут, где-то рядом. Может, даже за этой сиренью, а сирень стоит непроходимой стеной. Уже и собаки не брешут — сморило и их, значит, дело к рассвету. Спит дворовая челядь и видит серые свои, нецветные, скучноватые сны. И Луна куда-то девалась, словно съели собаки, и пропали голубые столбы...

— Ножи хирурга, голубые мечи, — вздыхает мой спутник. — Ну да, в девятнадцатом веке... Теперь живьем не хоронят, прежде пускают под нож...

— Под нож, — говорю, — из гуманизма. Не то каково, — говорю, — проснуться в могиле живым?

— Виктор Иванович, — замечает мужик, — этого не допустит.

— И кто это?

— Да хирург наш. Он денежки любит, мертвякам брюхо вспарывает. Хирургам за такое дело хорошо платят, бррр...

— Подумать страшно, как бы он меня скальпелем, бррр, — крутит мужик головой. — На рассвете обычно, как раз в такое вот время. С ножом является, с перепую...

Опять Луна прорезается, и тут же снова вытягиваются перед нами голубые столбы. И столбы уже ниже, ниже, цвета снятого молока, а где-то с другого края неба намекается слабая, но живая розовая полоска. Представляю, как Виктор Иванович (хорош еще после вчерашнего), чертыхаясь, ищет дома во тьме штаны, а они никак не находятся. Отхлебывает оставшееся в бутылке, заткнутой кукурузной кочерыжкой, и, обтерев насухо губы ладонью, тащится, опять-таки чертыхаясь, торным путем до больницы. Манится туда чуть свет, потому что там в шкафчике всегда что-то есть...

— Ну вот мы и пришли, — вздыхает мужик и отфыркивается, как жеребец.

И тут мозги мои как электросваркой прохватывает.

— А Санек?! — кричу я этому жеребцу.

— Что Санек? — останавливается он как вкопанный.

— А то! То, что спит он мертвецки... а деньги не пахнут...

— Ну да! — бьет жеребец копытом.

И, забыв обо всем на свете, через сирень и шиповник, ломая валежник, прямо по голубым столбам — по мечам голубым мы несемся обратно к больничке: только бы не опоздать!.. не опоздать, не опоздать, не опоздать!..

Оба разом влетаем в холодильную камеру — в морг. Санек на месте, спит сном праведника и, в отличие от иных, видит цветные сны.

— Санек, Санек, живой?!

Он таращит глаза спросонья. Видит прямо перед собой мужика — в своем пиджаке, в рубаше своей и штанах. Глаза Саньковы готовы вылезать из орбит:

— В чем дело, ребята??

— Вот ты живой! — говорим мы наперебой. — А вот

он, — я показываю на мужика и впервые так вслух его называю: — По-кой-ни-чек, понял?

— Ничего не понимаю, — приподнимаясь, скрипит Санек всеми своими пружинами.

— Пить надо больше, — говорю я решительно, — как вот он! Тогда все поймешь.

— А как же насчет?.. — охлопывает Покойничек себя, а на себе чужую одежду.

И я даю ему свою запасную рубашу, Санек достает из сумки трико. Так сидим в этой своей холодильной камере, в этом «морге», чутко прислушиваясь к входной двери, где вот-вот появиться должен этот самый Виктор Иваныч со своим хирургическим «бебутом». Ох, уж эти «бебуты» — голубые мечи, эти столбы за окном голубые! Луна смотрит на нас, перекривившись, и голубые столбы то стоят, то колышатся, они протянулись всюду по знаменитому Киреевскому парку, где когда-то бывал Лев Толстой и где, вероятно, вот такая же лунная почва навевала ему совершенно другое.

А у нас с Саньком тут, в районе, гастроли. Со стихами свободное перемещение. И когда наш приятель предлагает нам посетить его деревушку, дабы удостовериться перед женой факт его оживления, мы принимаем с воодушевлением его приглашение. Хочется, право же, рассказать людям пару случаев из Эдгара По и собственной жизни.

А вот и сцена встречи вернувшегося с того света покойничка. Представляете, да?

— Господи, боже мой, Вася! — всплескивает руками жена перед ним. — Как же ты постарел!

— Я не Вася, — стоит он столбом. — Я же — Миша, а Вася наш сын.

— Миша, — никак не может войти в себя бедная женщина. — Мы за Мишей уже в морг послали...

— Вот кто карты попутал, — кивает на нас с Саньком наш новый приятель и отдает приказание жене: — Встречай моих спасителей! Но только «рояль» не носи. Ну ее к врагу, эту заграничную музыку.

— Мелу знать надо, — успокаивается жена. — Это тебе — наука!

А не почитать ли нам, Санек, им чего-нибудь из Эдгара По или, может, лучше, из своего, тоже ведь не истуканы? И я смотрю на этого Мишу без единой царапины под голубыми мечами, а вижу голубые столбы,

парк Киреевский в лунном сиянии со столбами и Виктора Иваныча в очередном экстазе над ослепительно белым столом... И ничего ведь не произошло, все живы, как видите, а чего б вы хотели? Главное в нашем деле — это вовремя заметить, что когда кому каким хочется видеть, и видится.

* * *

ОТ АВТОРА. Действительно, мы с Сашей Логвиновым — критиком и поэтом — однажды в Шаблыкино почевали в больнице, в таком холодильнике, что вполне похоже на морг. И это все-таки лучше, чем в той же местной тесной гостинице спать и поджариваться медленно, но верно на узкой, еще не остывшей плите.

— А лирику эту вашу с голубыми столбами в гробу я видала, — сказала жена его, прослушав этот наш с Саньком святочно-сатанинский рассказ.

2 ноября 1994 г.



АНЕЧКИНО ПИСЬМО



Всю неделю Анечка ждала субботы, когда придет ее очередь стеречь деревенское стадо. Наконец-то можно будет остаться одной и где-нибудь под ракиткой написать письмо сестре Нине. Нина уехала в город учиться на учительницу по чтению, Анечка помнила ее каждый день и каждый день очень любила все эти два года. В школе Анечка выпросила красных чернил, налила в пузырек, носила его в кармашке старенькой, еще бабушкиной телогрейки, боясь, как бы они не пролились, не испортили платьышка. Однако, думая, как они лягут красными буквами на белое поле, как это будет нарядно, Анечка забывала о платье.

Коров в этот раз выгнали к Акиптьевской рощице. Такая светлая, такая белостолица, перегнулась с бугра, смотрится в речку. Так кругом хорошо! Так тепло-солнечно, празднично сидеть Анечке на весеннем, затравевшем бугре, глядеть в невесть какие далекие дали, где, словно глаза Нинины, голубым отвечают на взгляды заречные старицы. Коровы все больше стоят, за зиму подтощали, ткаются мордами в черную землю. А с овцами просто беда: то стоят-стоят, как вкопанные, а то как примутся бегать, все с бугра норовят, еще и ноги пообломают, отвечай за них, окаянных.

Анечка взглядывает на них, ведет ладошкой по колкой земле, выкладывает все добро свое, припасенное для письма: пузырек, бумагу и ручку. Долго ловчится к листку на фанерке, вздохнув, утыкается головой в коленки, ведет ручку, шевелит — помогает губами:

«Нина плюс Аня. Шестое апреля.

Здравствуй сестренка Нина.

Згорячим приветом к тебе твоя любимая сестрица Анечка. Нина я посылаю тебе открытки а от вета нет. Нина ты напиши я жду всегда. А почему ты не едишь домой. Нина к нам приезжал мамкин брат дядя Толя, они с Зиной разошлись, он был на бобике. Оставил нам с бабушкой дочку три годика Таня. Все рассказывал про

свою красивую жизнь про города пляжи и ристараны. А как уехал опять стало грусно.

На той неделе переехали на центральную Афоничевы и Блиновы, я кошку к Блиновым хожу и кормлю жалко, у нее же котятки. Теперь в деревне нашей осталось двенадцать дворов. Учительница говорит скоро школу закроют учить некого. А сейчас нас учтсь шесть человек, а именно: в нашем третьем классе трое мы с Колькой Зековым да Оля Филатова, а во втором классе двое, а в первом один Юрик Филатов братик Олин. Мы сразу все учимся, сперва мы математику, а они письмо, а третию чтение. А потом мы сами решаем, а они с Клавдией Егорриной пишут про что-нибудь ну про нефть в Сибири или Байкало-Амурскую магистраль. А мы решаем задачки какой наш колхоз «За победу» получил в прошлый год урожай и какой опять получит. Нина учительница у нас хорошая, учит нас хорошо, у мене за третью четверть одна только тройка. Ни знаю как у четвертой буду стараться исправить эту тройку. А Клавдия Егоррна глянула на мою обувку и отдала мне свои туфли, говорит как подарок выхлопотала от какого-то Всеобуча. Теперь я хожу в ее туфлях на каблуках ноги вихляются, а она ходит в новых и в новой телогрейке, это наверно сй от Всеобуча.

Нина как я скучаю по тебе горюю даже по тебе и по твоему апчежитню. Всю осень холодную зимушку лютую горевала, а то и плакала. Выйду на улицу, а грязи выше колена и шикого нет, Колька Зеков на центральную ушел Оля Филатова дома сидит и просто гулять неохота. Приду домой и заплачу. По тебе плачу по твоим чистым улицам и по трале... трале... нет забыла... по автобусам которые на проводах. Я всегда всегда всегда помню тот театр куда ты тогда меня отвела. Как играли там и как пели. А у нас у дяди Фрола Кривога есть гармошка, я приду к ним домой, а тетя Фрося дает мне играть. Я пробую на кнопках и пою, а тетя Фрося говорит что я способная. Кто говорит работать способные, а вы Зековы скоморошничать. А дядя Фрол придет и ругается.

Ниночка милая возьми ты меня к себе в апчежитне, я на гармонн хочу научиться и штоб шикто перугался. А то к Кольке Зекову из Москвы приежжала двоюродная такая пигалица худая как щепка все хвалилась что играет на форте и пьяно и что мол будет артисткой. А я теперь тоже надену мамкин платок и стою перед зерка-

лом и тоже рожницы строю, это всякий сумеет. Нипочка миленькая возьми меня я буду в магазине вам за хлебом бегать и полы мыть я так хочу научиться на балалайке или на гармони. Клавдия Егоррна дала мне книжку про слепого музыканта и я ночь проплакала и даже сейчас как вспомню хочется плакать. А когда рассказала ей про него она говорит ты голову чем зря не забивай все равно тебе быть дояркой или воп к мамке садиться на трактор...»

В этом месте Анечка капнула на листок и не смогла дальше писать. Она оторвалась от бумаги и посмотрела вдаль, но не увидела ни голубых старик, похожих на глаза Нины, ни стада, оно перешло через колдыбани, в которые прошлым летом ухнула «Волга». Анечка заволновалась, собралась идти залучать стадо, как из-за вишняка показались и коровы, и овцы. Их подгонял хворостиной Колька Зеков. «Сбежал из класса, пришел подмогнуть», — улыбнулась Анечка и снова уткнулась в колленки, в другой, алый наполовину листок.

«Нина а бабушка наша все болеит, а дедушка совсем стал плахой с печки слез и на солнышко значит говорит еще поживу. А дяди Толину Танечку я вчера поругала за што то, а она подошла ко мне и пистолетом как треснет, так у меня в голове потемнело. Я заплакала, а она стоит губы дует. Бабушка стала меня ругать все ворчит что я цыганка какая-то мамка меня нагуляла. Только мама меня и жалеет. Мне маму жалко. Она у нас как мужики ходит в штанах и промасленной куртке. Придет с работы железок говорит натягалась. Как вдарится в постель так мертвая. А то теперь стала ходить домой вдвоем с одним дядей Витей тоже тракторист с центральной. Вдвоем сядут выпьют бутылку, и он начинает ее ругать потом бить руками. Они кричат, ругают друг друга всякими словами. И я кричу мне ужасно, бабушка плачет, а дедушка стонет на печке. А потом мама ходит с синяками и бабушка ее укоряет говорит ты самая последняя пропащая. А мама говорит ничего вы не понимаете, меня может понять только Нипка...»

Анечка оторвалась от бумаги и посмотрела на пальцы: они были красные. Посмотрела вокруг себя: все было солнечно, зеленой дымкой начинали дымиться бугры и перелески, Нипиными глазами глядели из-за речки снова разголубевшие старицы. И было так тепло, так

до боли зрению ярко до самых дальних заречных далей, о которых она столько наслышалась от своих в деревне и дома, от учительницы Клавдии Егоровны. Анечка чуть прищурила взгляд, и перед ней возникли деревни и села, просто дороги и железная дорога до того самого прекрасного, самого чудесного города на земле, где живет ее сестра Нина. Анечка опять глубоко вздохнула и обмакнула перо в пузырек.

«...Ниночка милая сестричка моя забери меня отсюда к себе, мне плохо, не могу боле глядеть как мучится мама и плачут бабушка с дедушкой. А Танька че она понимает. Ниночка я хочу учиться в большой школе. А то нас с Олей Филатовой приняли в пионеры, Клавдия Егоррна дала нам красные галстуки. А Кольке Зекову не дала потому што он бьет стекла в школе и сильно ругается. А нам двоим пионерами скушно, и мы не знаем што нам делать дальше. Клавдия Егоррна говорит а дальше надо идти в комсомол. А я когда выучусь как ты то вернусь в нашу деревню обязательно. Ниночка и ты возвращайся. И я обязательно стану помогать маме и бабушке с дедушкой. Я когда выучусь буду играть на гармони и петь все песни какие знаю про солнце, про нашу землю. Я не совсем к тебе поеду я только штоб выучиться и штоб строить не только центральную но и нашу деревню. А то она стала такая маленькая, так обидно мне за нее. А она у нас такая хорошая, такая красивая. И глаза у стариц как у тебя голубые. И поля когда поспеют как солома старновка, как мамины волосы. Ниночка скорей возми меня в город...»

На листке оставалось места совсем немного. Анечка еще раз вздохнула, обмакнула перо в чернила и подписала: «Нина приезжай к нам к свитой. С тем и до свиданья. Твоя любимая сестрица Анна».

И нарисовала сбоку алый цветок. Вытащила из-за пазухи книжку «Слепой музыкант», полистала, разыскала конверт. Вложила листочки в него, написала Нине адрес по памяти:

«г. Орел, апчежитие № 2,
Зековой Нине Михайловне».

Еще раз вздохнула, лизнула языком, провела ладошкой по сгибам и по сгибам, крест-накрест, приписала последнее: «Лети как Гагарин. Вернись как Титов».

Лето, 1975 г.



ДЕВОЧКА С БЕЛЫМ БАНТОМ

«Мы все родом из детства. Из какого же детства придет в будущее эта девочка?» — думал я, услышав случайный разговор на автобусной остановке. Одна пожилая женщина рассказывала соседке своей по лестничной клетке:

— Вот умничка, такая милая, с бантиком белым, Леночкой зовут... Во втором классе учится. Не ребенок — золото, матери просто богом дадена... Захожу как-то к ним, а она мне: «Бабушка, а у нас несчастье». — «Да какое же, хорошечка ты моя?» — «Мама на работе уже третий месяц не получает зарплату... Да нам всего-то и надо одну-единственную бумажку...»

А дальше было все так. На жизнь — Леночкина мама решила обменять свою двухкомнатную квартиру на однокомнатную, с доплатой. Да не знала, в какие джунгли она попадала. Как только бумаги оформила, так и пропала куда-то, сгнула начисто, как и многие в таком случае в этом большом, бессердечном городе, где жила Леночка со своей мамой. Недаром для круглых сирот, какой теперь оказалась девочка, тут открыли детский приют.

И вот в их квартиру уже вселились чужие люди. И Леночке завтра в детский приют. И это ее последняя ночь в своем доме — этой квартире, где она родилась, прожила с мамой все эти годы.

Вещички ее уже собраны в маленький клетчатый чемоданчик чехословацкого производства. И обезьянка плюшевая с полуоторванной ножкой положена сверх того на чемоданчик. Это — чтобы не забыть, когда завтра утром придет за ней соседская бабушка и отведет ее в приют.

Леночка присела на свою кроватку, может, в последний раз, гладит ладошкой деревянную спинку. А тетя чужая, такая огромная — с трактор, и говорит:

— Чего расселась? Вставай... Тут мы шкаф сейчас будем ставить...

— Да ладно тебе, — говорит ей чужой дядя — жел-

тенький весь такой, сморщенный, как стручок недозре-
лый на даче, наверное, муж. — Да пусть, — говорит, —
посидит, проведет на своем месте последнюю ночь, не
форсируй...

И тетя чужая не стала «форсировать», а просто взя-
ла и бросила Леночкину постель в коридор, к двери, где
у них с мамой когда-то собачка Альфа жила. А саму
кроватьку разобрала и к стене приставила. И стала на
это место одна, без мужа, надвигать шкаф...

Лежит Леночка у самой двери, чует, как из-под нее,
споднизу, патекает холодный воздух. И вспоминает всю
свою жизнь, годы с мамой. И жизнь получается такая
длинная, такая хорошая, просто светлая жизнь. Как она
родилась — не упомнит. Помнит только, как от них ушел
папа куда-то. И мама смеялась тогда, очень сильно
смеялась. И в руках у Леночки тогда мороженое таяло,
мамочка купила целых пять пачек, чтобы у нее — Ле-
ночки заболело бы горло и она бы тоже ушла куда-ни-
будь и не вернулась...

А потом у них с мамой появилась Альфа — специаль-
но для Леночки. Чтобы она не чувствовала себя обде-
ленной. Могла бы дружить, развиваться, как сказала
мама, «в естественной природной среде». Они с Альфой,
чтобы и Альфа могла развиваться, ходили даже в те-
атр, но с собакой их туда не пустили, а сказали, что на-
до в цирк, в цирке им с Альфой самое место. И Альфа
вскоре сбежала... И после этого приходил папа. И мама
выходила к нему на лестничную площадку, чтобы Ле-
ночка ничего не слышала и не видела. И когда мама
возвращалась, уносила туда кошелек, шуршала в коридо-
ре бумажками. А после они до маминной полочки сидели
без хлеба...

И все же те дни с мамой были самые лучшие, очень
хорошие дни! И Леночка вся сжимается в страх, всем
тельцем трепещет не от холода, патекающего из-под
двери, а отчего-то внутри ее самой. Как же будет она
жить без мамы, в чужом таком, огромном доме, ко-
торый все называют нехорошим таким, страшным словом
«приют»? «Мама, мамочка, милая, где ты?..». Но пла-
кать мама Леночку так и не научила. Просто запекает-
ся все у нее изнутри, как это, как его... ну «бутыльброд»
такой... мама покупала ей на базаре... ну этот... «мак-
дональдс» американский, называется...

Посреди ночи Леночка встала, попробовала заткнуть

одеяльцем дырку под дверью, чтобы не дуло. Потом присела на постельке своей — на полу. Взяла на ручки себе обезьянку Марусю, обняла как покрепче и тихо-тихо, чтобы не дай бог услышала тетя чужая, завывала ей по-собачьи, как Альфа...

Пришел дядя чужой. Подсел к ней рядом на пол.

— Ну чего ты? — положил руку он ей на плечо. — Да-а, такая-то жизнь, собачья...

Леночка вывернула обезьянку из-под него.

А утром, едва засинело на кухне, Леночка открыла клетчатый свой чемоданчик. Достала самое лучшее мамино платье — белое-белое, в серебряных розах. И надела его. И оно прикрыло ей не только колени, но даже пятки. И справа, над ушком, Леночка прицепила свой белый, такой прозрачный капроновый бантик...

Позвонили в дверь. Леночка открыла — соседская, добрая такая бабушка пришла за ней, чтобы вести в «приют». Сердце Леночкино так и ухнуло.

— Да миленькая ты моя, — бросилась бабушка к ней, увидев ее в этом наряде — длинном мамином свадебном платье.

Леночка утешала ее, как могла, а сама думала: «Чего она плачет, добрая, хорошая бабушка? Может, несчастье какое? Альфа сбежала или третий месяц дома не получают зарплату?».

— Вот, гляди! — сказала Леночка, чтобы чем-то утешить ее, уже старенькую, и получше поправила на своей голове этот мамин еще — белый, прозрачный такой, очень красивый капроновый бантик.

Осень 1995 г.



ГРИБНОЕ СЧАСТЬЕ

(Сказка для маленьких,
которые хотят быть большими)

МОРСКАЯ РАКОВИНА

Когда-то здесь было море. Потом море ушло и пришел лес. Однажды на краю оврага выветрило огромную Морскую Раковину. Набрел на нее Музыкант, поселился в ней. И стала Раковина напевать ему все, что помнила и знала о море. А Музыкант играл ей песни на флейте.

Но вот Музыканта услышала лесная певунья-синичка. Попросилась пожить, поучиться его удивительным песням.

— А что ты умешь? — спросил ее Музыкант.

— Пьень-пинь, — начала лесная певунья.

— Коло-коло, — поддержала синичка Музыкантова флейта.

— Пинь-коло, пик-коло, — пропел Музыкант. — Ну что ж, для начала неплохо...

Так и жили теперь у Морской Раковины все вместе — Музыкант, флейта Коло и синичка Пьень-пинь. Каждый пел про свое: Раковина пела про море, синичка Пьень-пинь пела про лес, а флейта Коло в руках Музыканта — про то и другое. И у всех вместе получалось легко и красиво.

Так пели они, пока в Раковину не постучалась Улитка.

— Вы добрые, — поклонилась Улитка, — потому что у вас хорошие песни. Вы, конечно, не откажете в почлеге усталой страннице?

И она рассказала, как долго ползет по земле в поисках Счастья, как измучилась с детьми улитятами, как злые ветры пробили камнями ей панцырь.

— Может, вам подойдет эта Раковина? — предложил Музыкант. — Мы уступим ее.

— А как же... со Счастьем?

— Теперь наш черед, — вздохнул Музыкант. — Мы отправляемся в путь узнавать, какого цвета Счастье.

— Ур-ра! — закричала синичка Пьень-пинь, флейта Коло заиграла походный марш, а Музыкант тут же придумал слова:

Мы идем в поход за Счастьем —
Желтым, синим, голубым.
Эй, трам-там! Эй, с нами вместе
По дорогам по крутым.

На прощанье Улитка слегка прослезилась. Улитята пошевелили рожками, а Морская Раковина завела свою печальную песню о море. Уж она-то, древняя, знала, что ожидает в пути ищущих Счастье.

ШЛЯПОЧНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ

Едва они выбрались из родного оврага, как увидели столбик, а на столбике кушище фанеры, а на фанере черные буквы. А так как лишь один Музыкант умел складывать буквы в слова, он и прочитал вслух надпись: «Грибное королевство».

— Ого! — сказал Музыкант. — Давненько я не бывал в королевствах.

— Нас ждут удивительные приключения! — запрыгала в кармане Музыканта веселая флейта Коло, а синичка Пьень-пинь три раза облетела вокруг его головы.

Зеленая Тропинка бежала вперед. Перепрыгивала ямки, огибала дубы, поднималась на крутые холмы. Наконец, она оборвалась, и Музыкант увидел Круглую Поляну.

— Эй, кто тут? — тряхнул Музыкант темноволосой головой.

Никто не отозвался. Тогда Музыкант взял в руки флейту Коло и заиграл. Чудесные звуки поплыли по Круглой Поляне. Задвигались прошлогодние листья, зашевелилась трава. Из травы выглянули странные человечки в больших шляпах, осмотрели пришельцев.

— Опята, — приподнял прозрачно-коричневую шляпу Старший Гриб. — Мы — опята, дружные ребята.

И человечки разом приподняли свои прозрачно-коричневые шляпы.

— Вы и есть жители королевства? — удивилась синичка Пьень-пинь, которая всегда всему удивлялась.

— Сыграйте что-нибудь о ночи, — увидев флейту, попросил Старший Гриб. — О ночи, когда мы растем.

Над дубом поднималась Луна. Серебрились листья и травы. Музыкант взглянул на них и заиграл. Капельками роса покатилаь по шляпкам лесных человечков...

Синичка Пьень-пинь давно уж спала на плече Музыканта. А Музыкант все играл.

— Смотри, — шептала ему флейта Коло, — что-то светлое бродит между деревьями.

Это бродила Луна по молоденьким шляпкам лесных человечков. Вдруг рядом вспух бугорок, из земли показалась грибная шляпка — совсем крохотная, величиною с булавку.

— Ты кто, пьень-пинь? — очнулась синичка. — И почему, пьень-пинь, маленький?

— Я только недавно родился, — пропищал Шляпочный Человечек. — А зовут меня Кталис, ты зови меня просто Кика.

На Круглой Поляне уже было тесно. Шляпочные Человечки взбирались на старые пни, какие посмелее — лезли и на деревья. Свешивались оттуда бледными шляпками, смотрели на Музыканта и на Луну, дрожа, раскачивались под шепоты флейты Коло. И роса капала со шляпок на листья.

Флейта всхлипнула и затихла. Глаза Музыканта были закрыты. «Как меня слушали! — улыбался про себя Музыкант. — Слушали и росли...»

— Кушать, — встрепелась синичка. — Мне почему-то, пьень-пинь, хочется кушать.

— Потерпи, — сказала ей флейта.

— Ты деревянная, тебе хорошо.

— Идемте все к нам, — поднялся Кика, сбросив с себя пожелтевший листок.

И все зашагали лунной тропинкой в глубину Грибного Королевства.

СОРОК СЕРЕБРЯНЫХ ДЕНЕЖЕК

Грибной Мальчик Кика привел их в дальний конец Поляны, к Серым Шляпочным Человечкам. И все увидели: Кика на них очень похож. Их было сорок братьев на одном-единственном корне.

— Не будь я все вместе грибом Бараном, — сказал Серый Хозяин, — если не узнаю, куда и зачем вы, странники, держите путь.

— Накорми их сначала, — шепнул ему мальчик Кика.

— Верно... Эй, дети! А ну, гостям еды и питья.

Ожили Серые Шляпочные Человечки. Одни из земли качали корнями сладкие соки, другие пекли из сушеных шляпок вкусные хлебцы. Когда Музыкант и синичка Пьень-пишь наелись-напились, Серый Хозяин снова спросил: куда и зачем идут они?

— Мы ищем Счастье, — сказал Музыкант. — Вы случайно не знаете, какого все-таки цвета Счастье?

— Не будь я папой Бараном, — вздохнул Серый Хозяин, — если я знаю что-нибудь, кроме земли и сохи.

И он рассказал свою печальную историю. Вот она:

«Жили-были я, гриб Баран, и жена моя, гриб Овечка. Днем и ночью копались в земле, добывали себе на еду. А осенью солдаты на пнях расклеивали королевский указ:

«Мы — Гриб Сатанинский Пятый, сын Мухомора и Бледной Поганки, родной брат гриба Змеи, двоюродный племянник Строчка, троюродный дядя Сморчка и прочее, и прочее, и прочее, повелеваем:

Сдать львиную долю урожая в нашу королевскую кладовую. За неповиновение — шляпку долой!».

Кое-что мы все же припрятавали, тем и кормились. Родился младшенький. Гриб Овечка мечтала, чтобы он попал в Королевскую свиту.

— Я назову сына Некталис, что значит близкий к Сатанинской фамилии, — сказала она.

— Не будь я папой Бараном, — стукнул я по столу, — но этому не бывать!

Я назвал его Кталис. Это он — озорной мальчик Кика. Так зовут его все на поляне.

А недавно гриб Сатанинский издал новый указ: брать по денежке с каждой шляпки. Надоело Овечке жить в бедности.

— Я со своей красотой проживу и полегче, — сказала она на прощанье. И теперь, говорят, живет где-то в сосновом лесу, и гриб Сатанинский сам надел на нее новую красно-малиновую шляпку. И у нее там, наконец, появился Некталис.

Ну, а я... я рашу сыновей. И не будь я папой Бараном, если каждый не станет у меня настоящим Грибным Человеком.

Завтра вы уходите дальше по Зеленой Тропинке. За

рекой вы встретите Черный Терем, а в тереме Королевского Казначей. Передайте ему эти сорок серебряных денежек. Я трудился и день и ночь, чтоб собрать их и заплатить за моих сыновей...»

— Нет, — перебил его Музыкант, — вы не знаете, какого все-таки цвета Счастье.

— Счастье? Может, оно серого цвета? Как наша земля, наши руки, как наше небо?

Но флейта Коло заиграла походный марш, а Музыкант тут же придумал слова:

Счастье-счастье где-то, где-то,
Тут над нами тень листа.
Счастье серенького цвета
Не бывает, тра-та-та!

С Музыкантом, флейтой Коло и синичкой Пьень-пиль ушел искать Счастье и Серый Шляпочный Человечек — Грибной Мальчик Кика.

ОРДЕН ЗМЕИНОГО ГРИБА

Зеленая Тропинка привела друзей к Черному Терему. Из терема выбежали слуги — Серые Мухоморы. На шляпках чешуйками — денежки, на рубашках и под рубашками — денежки, в толстых мешочках у пояса — тоже денежки. Схватили друзей и потащили к грибу Змее — Королевскому Казначей.

Гриб Змея сидел важный, под зонтиком. Он всегда и всюду сидел под зонтиком, даже под крышей у себя в Черном Тереме.

— Это кто еще тут! — закричал он, и молнии засверкали в его змеинных глазах.

У ног Казначей странники увидели мешок с золотыми монетами, в которых Казначей всегда держал пальцы и играл ими, как хотел.

— Мы идем, господин Казначей, за Счастьем, — шагнув вперед, гордо сказал Грибной Мальчик Кика.

— Я покажу тебе Счастье! — зашипел гриб Змея. — А не ты ли один из сорока молодцев, какие вот уже месяц не платят по денежке казне Его Сатанинского Величества? Схватить мерзавцев и постричь в солдаты!

— Господин Казначей, — поспешил сказать Музыкант, — его отец гриб Баран прислал вам свой долг.

Вот, — и он положил перед Казначеем сорок серебряных денежек.

Казначей жадно схватил их и сунул в мешок, а слугам крикнул:

— Все равно постричь мальчишку в солдаты! У короля после сражения как раз не хватает солдат.

Мальчика Кику утащили, а Музыканта и его друзей гриб Змея приказал отправить на Большую Поляну, где разыгрывались сражения для развлечения гриба Сатанинского Пятого и всей его Королевской свиты.

Шатер короля был разбит на Комарином Холме. Музыканта, флейту Коло и синичку Пьень-пинь оставили у подножия холма наблюдать за великим сражением.

С одного края Большой Поляны, из дубов, наступали белые грибы в Каштановых Шляпках. Впереди шел огромный гриб Боровик — всем грибам Полковник. За поваленными соснами засели другие грибы, тоже белые, но в Черных Шляпках.

— Смотрите, — оживлялись в Королевской свите Строчки — Придворные Дамы. — Как красиво умирают Каштановые Боровики.

— Ну что вы, — изгибались перед ними грибы Сморчки — Придворные Кавалеры. — По-настоящему умирать могут только грибы Сморчки.

— Ах! — взмахнула душистым платочком одна из Придворных Дам. — Мой бедный Некталис.

И Музыкант узнал в ней гриба Овечку, мать Грибного Мальчика Кики.

А грибные цепи все шли. В шатре дергали за разноцветные ниточки, и в бой уходили все новые цепи.

Гриб Змея сидел, как всегда, под зонтиком ипил лимонад. Ему было скучно.

— Эй, — подозвал он к себе Музыканта. — Ты, кажется, что-то хотел мне сказать?

— Н-нет, н-ничего, — нерешительно сказал Музыкант. — Я совсем не хотел бы спросить у вас, какого все-таки цвета Счастье.

— Счастье? Ха-ха-ха, — затрясся от смеха Королевский Казначей, так что лимонад заплескался в бутылке. — Счастье, оно, наверное, черного цвета... Видишь, как славно умирают Черношляпочники, как сильно бьют пушки? И каждый выстрел в сто раз дороже, чем те жалкие сорок денежек, что ты мне отдал сегодня.

— В сто раз, пьень-пинь? — удивилась синичка, которая всегда всему удивлялась.

— Да, в сто раз, — важно ответил Королевский Казначей.

На носилках принесли раненого офицера — гриба Сморчка. Это был юный Некталис. Он открыл глаза и прошептал:

— Слава королю!

— Вот храбрый офицер, — сказал гриб Змея. — Он достоин награды.

И прикрепил к груди офицера высший орден королевства — Колючий Репей. Все придворные разулыбались, захлопали в ладоши, а матери Некталиса, грибу Овечке, сделалось плохо.

Сражение продолжалось. Стреляли пушки, падали боровики, маслята, обабки. И вдруг все остановилось: над Большой Поляной плыла волшебная музыка. Это пела в руках Музыканта флейта Коло:

Тра-ля, ля-ля, тра-ля, ля-ля,
Остановите бой.
Нельзя-нельзя, чтоб черный гриб
Вдруг вырос над землей.

— Что ты наделала? — крикнула флейте синичка Пьень-пинь. — Теперь нас схватят и посадят в тюрьму. И мы не сможем, пьень-пинь, помочь Грибному Мальчику Кике.

В САТАНИНСКОМ ЗАМКЕ

Друзей, конечно, схватили, обвязали одной веревкой и потащили в Сатанинский замок, к самому королю.

Замок стоял в диком ущелье. С трех сторон его окружали красные скалы, с четвертой — зеленело болото, которое не выпускало всех тех, кто осмеливался войною идти на замок. Сюда вела единственная дорога — по деревьям. От дуба к ольхе, от ольхи к тополю. На сучья были положены доски, которые убирались, едва надвигалась опасность. На дворе Сатанинского замка стоял преогромнейший пень — трон короля. Пень был очень древний и потому очень трухлявый. Его можно было проткнуть и пальцем. Вот почему со всех сторон его закрывали придворные: низ облепили Строчки, по спине их взобрались Сморчки, еще выше, давя друг друга, ка-

рабкались Колпачки, а на самом верху жались к грибу Змее всякие Спорышны, Мухоморы, Поганки.

Уже вечерело, когда Музыканта и его друзей при-тащили к королевскому пню. Пень весь светился — это горели гнилушки. Гнилушки на короле, гнилушки под королем, гнилушки на лбу короля. Наконец-то друзья увидели гриба Сатанинского Пятого. Блестела слизью темно-красная шляпа, золотилась одежда, оттого гриб казался желтым и старым, а ноги возле самой земли вздулись, наверно, от жира, который стекал сюда со всего тела.

— Так почему вы не платите в МОЮ казну за то, что ходите по МОЕЙ земле?! — грозно нахмурился гриб Сатанинский.

— Почему не платите?.. Почему не платите?.. — закивали, зашевелились придворные.

Музыкант стоял и молчал. Молчали синичка и флейта.

— Отвечай же! — толкнул Музыканта в спину один из Королевских Советников — гриб Мухомор, по красной шляпе которого были развешаны сатанинские ордена.

Музыкант поднял голову, посмотрел прямо в глаза королю, потому что королям иногда нужно смотреть прямо в глаза.

— А вы? — гордо сказал Музыкант. — Вы, король, платите за Небо и Солнце?

— Что?!! — закричал гриб Сатанинский Пятый и по-синел. Он всегда синел, когда злился. — В тюрьму его! Всех в самую холодную, самую сырую темницу!!

— Спасибо за честь, — усмехнулся в ответ Музыкант. — Мы с друзьями отправились в путь, чтобы узнать, какого все-таки цвета Счастье. Мне сейчас очень нравится синий.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЗВУКИ

Друзья очнулись в темнице, на грязной соломе. Болело все тело, хотелось пить. С потолка капала ледяная капель.

— Бр-р-р! — кутаясь в перья, сказала синичка. — Я бы сейчас с удовольствием посидела на солнышке.

Музыкант снял с себя куртку и укрыл ею флейту Коло и синичку Пьень-пинь.

Под потолком засерело: рассветало. Синичка Пьень-

пинь порхнула к решетке. Просунула в нее сначала голову, затем крылья.

— Пьень-пинь, — обрадовалась синичка и посмотрела на флейту. — Ты тоже пролезешь.

— А Музыкант? — сказала печальная флейта. — Куда мне без Музыканта?

— Пьень-пинь, — махнула хвостом синичка и выпорхнула во двор.

Музыкант и флейта Коло сидели и ждали, когда за ними придут Мухоморы и поведут их на казнь. Вдруг флейта подпрыгнула:

— Ах, я вспомнила одну волшебную песенку! Ту, перед которой не могут устоять даже тюремные стены...

Попробовала флейта Коло спеть песенку — не выходит.

Пока сидели в холодной темнице, у флейты замерзли все звуки. Попробовал Музыкант отогреть ее у себя под рубашкой — не смог.

Отворилась дверь, Мухоморы сбросили кого-то вниз по порожкам.

— Кика! — обрадовалась флейта Коло. — Грибной Мальчик Кика!

Когда Кика очнулся, он рассказал им про свои приключения. Кику все же постригли в солдаты. Он три раза ходил в атаку, даже стрелял в соседних Опят. А потом взял и сбежал домой, к папе грибу Барану.

— Мухоморы схватили меня и швырнули в эту темницу, — закончил свой рассказ мальчик Кика.

Все втроем погрустили, стали думать: как же выбраться отсюда на волю?

— Может, ты, Кика, отогреешь звуки, которые заморозились? — сказала флейта, а Музыкант тут же пропел Кике волшебную песенку. Песенка была очень простая и очень красивая, и Кика выучил ее наизусть в один миг. Он взял в руки флейту, но... флейта продолжала молчать.

Наступило утро. Вот-вот за ними придут Мухоморы и — прощайте, все тридцать девять братьев. Прощайте, лунные ночи, когда так растут Шляпочные Человечки. Прощайте, тени под соснами, дубами и елками. И эта волшебная песня, прощай... Горячая слезинка покати-лась по щеке мальчика Кики и упала на флейту. Замороженные звуки растаяли, и флейта запела так нежно.

Стража захрапела, Железная Дверь отворилась. Зашептала вслед Музыканту и его верным друзьям:

— Бегите к Каменной Башне, там пролом. Через пролом выйдете в болото, в болоте у Горелого Дуба найдете тропинку, пойдете по ней...

Когда беглецы оказались у Каменной Башни, они увидели: пролом был недавно заделан.

— Что ж теперь будет? — обессилев, прислонились к стенке друзья.

Вдруг, откуда ни возмись, вот она, синичка Пьень-пинь. Порх на плечо Музыканту. Флейта Коло хотела прогнать ее, но Музыкант сказал:

— Не время ссориться, дети...

— Я сейчас, — прощebetала синичка, — приглашу, пьень-пинь, одного знакомого Аиста.

НА КРЫЛЬЯХ АИСТА

Аист несся над полями, лугами, лесами, по которым внизу бежала Зеленая Тропинка. Синичка Пьень-пинь показывала дорогу. И всем было так весело, так хорошо. Флейта Коло заиграла походный марш, а Музыкант тут же придумал слова:

Страхи где-то, горе где-то.
Мы, трам-трам, теперь не врозь.
Но какого цвета Счастье, —
Так узнать и не пришлось.

Аист молчал. Вертелась земля. Музыкант наклонился к уху птицы:

— Спасибо, Аист. Мы чудом вырвались из лап короля, и теперь он совсем посинеет от злости. Вы верите, что Счастье может быть синего цвета?

Аист мчался вперед. Вертелась земля.

— Все дело в том, — сказал Аист, — что когда кому каким хочется видеть.

Музыкант огляделся: кругом было синее небо — столько свободы.

— Он прав, — вздохнул Музыкант. — В каждом цвете ведь столько разного.

Аист снизился: холмами и балками под ними все бежала Зеленая Тропинка, желтело поле — ржаное, тучное, сильное. Это были уж не Сатанинские земли, это были свободные земли. Друзья махали вслед улетающей

птице, а Желтое Поле уже тянулось к ним своими колосьями. Широкое поле, свободное поле.

— Может, пьень-пинь, — щебетнула синичка, — Счастье желтого цвета?

— Все дело в том, — ответил ей Музыкант, — что кому каким хочется видеть.

ГРИБНАЯ РЕСПУБЛИКА

Зеленая Тропинка привела их к Светлой Поляне. Все услышали мягкий серебряный звон. Это звенели цветы Колокольчики, когда налетал ветерок. Вся поляна была в Колокольчиках. Вся была в ярком Солнце, оттого и называлась Светлой Поляной.

— «Грибная Республика», — прочитал Музыкант золотистую надпись на столбе у дороги, потому что только он один мог читать.

— Республика? Что такое Республика? — спросил Мальчик Кика.

— Он не знает, что такое Республика! — фыркнула флейта Коло. А синичка Пьень-пинь расхохоталась во все свое синичье горло, очень уж она любила похохотать.

— Не шумите, дети, — сказал Музыкант и с грустью посмотрел на Кика: — Ты в самом деле, малыш, не знаешь, что такое Республика, потому что всю свою короткую жизнь прожил в королевстве...

Но тут все увидели что-то странное: двухэтажный гриб Боровик. Молодой грибок Внучек сидел на картузе старого гриба Дедушки.

— Что за чудо? — снова спросил Музыканта Кика. — Насколько я знаю, у нас в королевстве на всех приличных грибах сидели только грибы Некталисы.

— Эти-то, пьень-пинь, лодыри? — вставила слово синичка.

— Мой внучек не лодырь, — обиделся гриб Дедушка. — Просто он еще маленький, и я его провожаю в школу. У нас в Республике все дети учатся. А вы кто ж такие, что не знаете этого?

— Мы путешественники, — сказал Музыкант, — мы ходим по земле, чтобы увидеть, какого все-таки цвета Счастье.

— Ах, Счастье, — закивал головой гриб Дедушка. —

Лучше об этом спросить самого Президента. Его все так и зовут у нас — Грибное Счастье.

И гриб Дедушка показал дорогу к Президенту. Друзья отправились в путь. По полям, по полянам, дорогам, овражкам. Всюду встречались Шляпочные Человечки: Белые Грузди, Коричневые Боровики, Желтые Лисички, Красные Подосиновики. Все веселые, крепкие.

— Почему вы такие веселые? — спросил мальчик Кика. — Вы уже заплатили каждый по денежке?

Красные Подосиновики только пожалы плечами, а Белые Грузди даже слегка покраснели, потому что ничего не могли сказать Мальчику Кике.

Президент оказался преогромнейшим грибом. Когда Президент улыбался, он становился похожим на кочан капусты величиной с двухэтажный дом. Чтобы сделать грибам приятное, он иногда начинал пахнуть орехами. Всем грибам Республики, которые жили честно и дружно, Президент любил делать только добро. За то его и прозвали Грибное Счастье..

Президент сидел на обыкновенной земле под обыкновенной березой. Путешественники приблизились к нему и услышали запах орехов.

— Что привело вас сюда, о гости? — улыбнулся глава Республики и сразу же стал похож на кочан капусты величиною с двухэтажный дом.

Кика хотел поднять на него голову, да чуть не слетела шляпка.

— Мы путешествуем, чтобы узнать, какого все-таки цвета Счастье, — вышел вперед Музыкант и снял свою шляпу, обнажив седину.

— Да, немного тебе, вижу, встретилось Счастья, — вздохнул Президент и снова стал грибом обыкновенным. — Поживите у нас, поищите.

Президент улыбнулся еще раз и снова сделался преогромнейшим грибом величиной с двухэтажный дом.

— Гостите пока у меня, — сказал Президент, — места хватит. — И открыл в самом себе сбоку голубую дверь.

Друзья подошли к первой ступеньке, переглянувшись, вошли прямо в Грибное Счастье...

ДЕТИ СОЛНЦА

Утром по винтовой лестнице Музыкант, Грибной Мальчик Кика, флейта Коло и синичка Пьень-пинь под-

паялись на макушку Грибного Счастья. Из-за леса выкатилось большое, яркое Солнце. Оно обливало лучами все уголки Светлой Поляны. Просыпались грибы Республики, начинали читать умные книжки, играть в веселые игры, загнутыми шляпками собирать дождевую воду, шевелить землю и расти, тянуться к яркому Солнцу.

Музыкант и его друзья целый день работали вместе со всеми. К вечеру Президент объявил их гражданами Республики. А потом они снова взобрались на макушку Грибного Счастья. Музыкант вытащил из кармана деревянную флейту Коло и заиграл. На песню сходились все грибы Светлой Поляны. Затихали, приподнимали свои разноцветные шляпки. И стояли рядами, покачиваясь. И росли, росли. Потому что в Грибной Республике, как и в Грибном Королевстве, кто не любит хорошей песни?

Песня кончилась. Кика встал, этот Грибной Мальчик Кика. Первый раз сказал Кика слово, и его слушали все:

— Грибы Республики! Нас всегда звали: дети тени. Здесь же все любят Солнце. Пусть же Солнце станет гербом нашей Республики. Пусть!!

Кика наклонил над собою березу и на ее белой коре нарисовал круг, который смеялся. Очень похожий на огромный кочан капусты величиной с двухэтажный дом. А потом взял и пририсовал к нему тонкие ноги.

— Вот оно, Счастье, — гордо сказал Грибной Мальчик Кика. — Пусть идет по земле.

— А какого ж цвета оно, это Счастье? — вдруг спросил его Президент.

— Да, какого? — зашумели грибы Республики.

Кика запнулся, обернулся назад.

— Счастье? — поспешил Музыкант на выручку и оглядел все вокруг и засмеялся: — Оно, как вот этот солнечный луч. Его просто не видишь, когда живешь среди Счастья...

Музыкант и Кика лежали на макушке Грибного Счастья и, как в подзорную трубу, смотрели во флейту далеко-далеко. Там жили Кикины братья, там в овраге вздыхала Морская Раковина. Музыкант слышал ее слабый шепот о море.

г. Орел — г. Малоархангельск,

Лето 1966 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. ВЕСЕЛАЯ СЛОБОДА

Бартерные девки	9
Лошадиная нога	12
Муж как разменная монета	14
Волосы Чарли Чаплина	18
«Здесь сидел Хрущев»	25
Черный кот	32
Клуб холостяков	38
Веселая слобода	44
Мерцательная аритмия	47
Чем запивают съеденный автомобиль?	49
Семь уходов Сталина	54
Шуточка Селиверстыча	61
Пирамида Хеопса	66
Гуси, которые спасли Рим	71
Душ по-йоговски	79
Пардон, но где же Блынский?	83
Амнистия	87
На рыбалке	92
«Акурок»	101
Ботинок осиротелый	106
«Педигрипал»	108
Чанкайшишка	111
В дочкиных «особняках»	115
Паблсити	120
Василь Иванович	124
Катится голубой вагон	128
Солист из Одесской оперы	132

Часть вторая. НОЧНЫЕ ФИАЛКИ

«Если бы я был Богом...»	141
Тихий голос челесты	144
Чистые пруды	153
Пастораль-76	160
Ночные фиалки	167
Змеюка	175
Сиреневый макинтош	189
Шорохи за спиной	200
Сквозь медные трубы	208
Свадьба с кордебалетом	215
Талисман	222
Просто любить	228
Загадка двух декапов	234

Часть третья. АНЕЧКИНО ПИСЬМО

Счастливая 241
Митькина «вогница» 244
Помидоры с Лазурного берега 250
Праздник в Синявском 256
Сказ о лебединой стае 261
И ударили в колокола 267
На вызов 277
Кротовья жизнь 280
Имя на обелиске 288
Уроки русского 295
Шурочка 300
Голубые мечи 307
Анечкино письмо 314
Девочка с белым бантом 318
Грибное счастье (сказка) 321

Леонард Михайлович Золотарев

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

Книга издана в авторской редакции
Технический редактор Г. В. Скорикова
Корректор Н. П. Новикова

100000.-

Сдано в набор 13.11.96 г. Подписано в печать 4.8.97 г. Формат 84×108^{1/2}.
Высокая печать. Усл. п. л. 17,6. Уч.-изд. л. 16,7. Тираж 1200 экз. Заказ 3811.
Издательство «Вешние воды». Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 1.
ЛР № 030086.

Типография «Труд» управления по печати, полиграфии и СМИ
администрации Орловской области, Орел, ул. Ленина, 1.